Аугусто Сеспедес

МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА



Металл дьявола

Аугусто Сеспедес

Аннотация
Аугусто Сеспедес. МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА. РОМАН
«МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА» — ГОРЬКАЯ СТРАНИЦА БОЛИВИЙСКОЙ ИСТОРИИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

INFO

Аннотация

В основе романа современного прозаика Боливии Аугусто Сеспедеса лежит биография боливийского «оловянного короля» Симона Патиньо, выведенного в образе главного героя книги Сенона Омонте. Но роман «Металл дьявола» не просто беллетризованная биография. Это роман в полном смысле слова. Сенон Омонте, нищий метис, одержимый идеей найти богатое месторождение металла, клад, скрытый в горах Потоси, становится в конце концов миллионером, финансовым и промышленным магнатом, захватившим в свои руки мировую торговлю оловом. Его головокружительная карьера полна драматических перипетий.

Для книги Сеспедеса характерны широкий охват и разнообразие жизненного материала: Париж и Нью-Йорк, судьбы индейцев Боливии, величественные картины заоблачных Анд — все это соединяется в выразительную, впечатляющую картину.

На русский язык роман переводится впервые.



Аугусто Сеспедес
МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

*

AUGUSTO CÉSPEDES
METAL DEL DIABLO
La Habana, 1965

Перевод с испанского Р. ЛИНЦЕР и Г. СТЕПАНОВА

Предисловие С. МАМОНТОВА

Художник Т. КАФЬЯН

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.



«МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА» — ГОРЬКАЯ СТРАНИЦА БОЛИВИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Есть старая, широко известная американская сказка о том, как основатель одной из династий современных миллиардеров Генри Форд-старший на заре нашего века, появившись в большом городе с несколькими пенсами в кармане, благодаря своей бережливости и духу предпринимательства сумел за короткий срок стать одним из богатейших людей капиталистического мира. Жизнеописание Форда впечатляет, ибо факты единственной и неповторимой человеческой жизни, умело препарированные литературными прислужниками большого бизнеса, сочетаются в нем с утонченной и опасной демагогией о «расцвете» и «самоутверждении» личности в обществе «неограниченных возможностей». Неслучайно поэтому заметная часть массовой сублитературы Запада, следуя хрестоматийному примеру биографов Форда, обращается к теме «материального успеха», теме постепенного восхождения человека по ступеням буржуазного

обогащения с нехитрой целью — взять от жизни все, что она может дать.

Но история американского автомобильного короля меркнет по сравнению с невероятной и малоизвестной у нас историей боливийского оловянного магната Симона Патиньо Первого, в течение десятилетий державшего в своем кармане маленькую южноамериканскую республику. Форд, человек не бог весть с каким образованием, но, по крайней мере, элементарно грамотный, «сделал карьеру» в высоко развитой стране в момент ее бурного промышленного подъема, то есть в условиях, когда предприимчивые нувориши росли, как грибы, и их появление никому не казалось чем-то исключительным. Симон Патиньо Первый, невежественный погонщик, так и не научившийся до конца жизни написать без ошибок ни единой строчки и превзошедший по размаху международных финансовых операций не только Форда, но и еще более крупных представителей мирового капитала, стал одним из богатейших людей своего времени в условиях Боливии, экономически чуть ли не самой отсталой страны Латинской Америки.

Немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт, совершивший между 1799 и 1804 го-

дами большое путешествие по Южной Америке, назвал Андский массив, значительную часть которого занимает ныне Боливия, «серебряным столом, установленным на золотом постаменте». Сокровища, скрытые в недрах боливийских гор, стали источником многовековых бед и страданий коренного населения этой страны, наследников некогда процветавшей цивилизации древних инков.

Трагедия Боливии началась вскоре после появления в этих краях испанских конкистадоров, в 1545 году, когда, по свидетельству старинных хроник, были открыты залежи серебра в огромной горе Потоси, давшей впоследствии название одному из самых великолепных и пышных городов испанской колониальной империи в Америке. Рудники Потоси долгое время считались богатейшим серебряным месторождением на земном шаре. В наши дни гигантская гора, недра которой сплошь изъедены бесчисленными шахтами и забоями, представляет собой, как писал один боливийский автор, «пустую, никому не нужную скорлупу». А ведь именно в этой «скорлупе» лишь за время господства испанцев погибли миллионы индейцев, не говоря уже о том, сколько их погибло позднее, в эпоху капиталистического

«освоения» минеральных богатств не только, в Потоси, но и во всей Боливии.

В результате хищнической эксплуатации людских и природных ресурсов Верхнего Перу (так в последние годы колониального режима называлась территория нынешней Боливии) население этого района к моменту провозглашения независимости в 1825 году сократилось до одного миллиона человек, а знаменитые серебряные рудники почти не давали металла. Внутриполитическая жизнь новорожденной республики в течение многих десятилетий после ее создания характеризовалась крайней неустойчивостью, бесчисленными переворотами и восстаниями, отражавшими борьбу за власть между отдельными представителями феодально-помещичьей верхушки. Отсутствие экономической и политической организации, безответственность и авантюризм правителей, выдвигавшихся, как правило, из среды военных, привели к тому, что Боливия теряла одну часть своей территории за другой.

Особенно колоритной фигурой боливийской истории XIX века был генерал Мариано Мельгарехо, правивший между 1865 и 1870 годами и превративший президентский дворец в некое

подобие казармы и публичного дома. Символом веры этого типичного южноамериканского сатрапа, по словам одного из современников, были «женщины, вино, карты и обжорство». Но, пожалуй, самым худшим последствием хозяйничанья Мельгарехо явилась распродажа им национальных территорий. Стремясь пополнить казну, хронически пустовавшую в результате президентских оргий, Мельгарехо за крупные деньги уступил соседним Чили и Бразилии ряд пограничных боливийских земель. Заключительным аккордом так называемой «эпохи военных» (1825–1884), событием, пагубное влияние которого Боливия ощущает и по сей день, — стала Тихоокеанская война (1879–1884) против Чили в союзе с западным соседом — Перу. В результате войны разгромленная Боливия лишилась важного порта Арика, служившего ей единственным выходом к океану.

С последней четверти XIX века, несмотря на изолированное географическое положение, в Боливию началось усиленное проникновение иностранного, сначала английского, а позднее — североамериканского капитала, направлявшегося главным образом в добывающую промышленность. На территории Боливии появ-

ляется респектабельные, одетые по-европейски белокожие господа с чековыми книжками, начавшие новую, теперь уже империалистическую, конкисту этого района…

К концу столетия, по мере истощения рудников, добыча серебра в экономике Боливии отходит на задний план, и главным объектом империалистических вожделений на короткий период становится каучук, а со времен первой мировой войны — олово и нефть. Формируется беспринципная и продажная местная буржуазия, тесно связанная с иностранными монополиями и не желающая делить власть О дискредитировавшей себя военной кастой, У кормила правления вместо своенравных генералов и полковников все чаще и чаще появляются благообразные «доктора» и пронырливые адвокаты, за спиной которых всегда стоят крупные боливийские дельцы и соперничающие группировки большого международного бизнеса. Наступает так называемая «эпоха горнопромышленников».

Боливийская история этого периода, то есть периода, охватывающего конец XIX и первую половину XX века, настолько пестра и богата драматическими событиями, что напоминает приключенческий фильм. В условиях, когда ор-

ганизованная борьба сельского и шахтерского пролетариата нарастала сравнительно медленно (Компартия Боливии была создана лишь в 1950 году), к многочисленным дворцовым переворотам прошлого века прибавилось еще несколько десятков мятежей, многие из которых сопровождались зверскими расправами и «загадочными» убийствами видных политических деятелей. В первой половине нашего века Боливия успела проиграть две войны: одну — против Бразилии за богатую каучуком область Акре (1900); другую — против Парагвая за нефтеносный район Чако-Бореаль (1932–1935). Эти войны, особенно вторая, стоили стране огромных человеческих жертв и потери значительных территорий.

Не следует думать, однако, что затянувшаяся трагедия, которая вершилась на боливийской политической сцене, не имела скрытых сценаристов и режиссеров. Сценарии готовились в штаб-квартирах крупнейших монополий Нью-Йорка, Лондона и Парижа, а декорация и освещение обеспечивались на месте хорошо слаженной командой продажных политиканов, военных и журналистов. Были и местные режиссеры, о главном из которых и пойдет речь в предлагаемом сегодня советскому читателю

романе Аугусто Сеспедеса «Металл дьявола».

В начале нашего столетия в горнорудной промышленности Боливии, переориентированной на добычу важнейшего стратегического сырья — олова, сформировалась могущественная группа местных предпринимателей, фактически державших в руках всю страну. Фамилии этих людей — Патиньо, Арамайо и Хохшильда, — особенно первого из них, звучали на протяжении почти полувека куда более внушительно, чем фамилии бесчисленных, сменявшихся, как в калейдоскопе, президентов и министров. Народ выразительно называл их «оловянными баронами» или труднопереводимым словом «rosea», что примерно означает «команда игроков». Самым удачливым и безжалостным игроком в этой «команде», наживавшейся на рабском труде боливийских рудокопов, был Симон Патиньо, некогда полунищий метис, ставший хозяином несметных богатств. В 1940 году личное состояние Патиньо по приблизительным подсчетам составляло около миллиарда долларов, а после второй мировой войны достигло уже трех миллиардов, в несколько раз превысив годовой национальный доход его ограбленной родины.

Финансовое могущество Патиньо в условиях

Боливии — одной из беднейших стран Латинской Америки, средний доход населения которой составлял не более ста долларов в год (что почти в три раза ниже среднего дохода населения по континенту в целом), привело к сосредоточению в его руках, цепких руках прожженного дельца и закулисного манипулятора, всех нитей тогдашней боливийской политики. В тот период формально независимая республика превратилась в подлинный театр марионеток. Необходимое большинство депутатов конгресса, «нужные» министры и крупные чиновники оптом и в розницу покупались доверенными людьми «его величества» Симона Патиньо Первого и ежемесячно получали от него дифференцированную зарплату, намного превышавшую их государственные оклады. «Сколько нам будет стоить это правительство?» — спрашивает герой Сеспедеса — Сенон Омойте (его прототипом служит Патиньо) у циничного политикана доктора Давалоса. Следует конкретный ответ, и все дела Ассоциации горнопромышленников улаживаются в их пользу самым «законным» и «конституционным» образом.

В таких условиях борьба партий, политических групп, отдельных «независимых» деятелей,

создававшая иллюзию буржуазного парламентаризма, в конечном счете Подчинялась интересам «оловянных баронов» и главного из них — Симона Патиньо. «Хотя Патиньо и фигурировал иногда в качестве сторонника либералов, — пишет Аугусто Сеспедес, — ему было наплевать, кто одержит победу на выборах, ибо и либеральная и республиканская партии представляли собой не более чем выгодную для него фикцию, в том смысле, что их соперничество отвлекало внимание страны от происходившего разграбления ее природных богатств»[1].

Конец «эре Патиньо» и его младших собратьев по грабежу наступил в апрельские дни 1952 года, когда боливийский народ — рабочие-горняки, крестьяне-индейцы, прогрессивно настроенная интеллигенция, широкие слои мелкой буржуазии — с оружием в руках выступил против олигархии и в ходе победоносного восстания, наголову. разгромив армию и полицию, сверг проимпериалистическую диктатуру помещиков и крупных шахтовладельцев. Политическое руководство восстанием принадлежало прогрессивной в то время левобуржуазной партии

[1] Примечания: 1
Augusto Céspedes. El Dictador Suicida. Stgo, 1956, p, 43.

МНР — «Национально-революционное движение», которая после победы и оказалась у власти. Первыми мероприятиями нового правительства, выполнявшего требования вооруженных рабочих и крестьян, стали национализация собственности крупнейших оловянных компаний и аграрная реформа. Декретом от 31 октября 1952 года оловянные рудники, принадлежавшие компании Патиньо, а также компаниям Хохшильда и Арамайо, были конфискованы, и их собственность передана в ведение специально созданной государственной компании «Комибол». И хотя впоследствии, под сильнейшим нажимом правящих кругов США и Англии, боливийское правительство согласилось выплатить большую компенсацию бывшим владельцам рудников, народное восстание 1952 года в Боливии явилось одним из провозвестников того нового этапа национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки, который нашел свое наиболее яркое воплощение в кубинской революции.

Среди ведущих деятелей партии МНР находился уже тогда известный молодой писатель Аугусто Сеспедес, автор нашумевшего антиолигархического романа «Металл дьявола», изданного в 1946 году в Буэнос-Айресе и посвященного жизнеопи-

санию Симона Патиньо.

Аугусто Сеспедес родился 6 февраля 1904 года в городе Кочабамбе, важнейшем сельскохозяйственном и культурном центре Боливии. Там же он закончил один из лучших колледжей — «Сукре» и вскоре переехал в столицу страны Ла-Пас для продолжения учебы на юридическом факультете местного университета «Сан-Андрес». Отец будущего писателя — дон Пабло Сеспедес — был в то время довольно популярным журналистом либерального толка, и Аугусто с детских лет жил и воспитывался в атмосфере политического «вольнодумства» близких к семье людей, выступавших против бесчисленных, сменявшихся у власти политиканов, которые обманывали народ и служили антиболивийским, империалистическим интересам. Летом 1930 года, после окончания университета и получения степени доктора права, молодой Сеспедес, ставший к тому времени активным борцом за демократизацию страны, подвергается преследованиям очередного и недолговечного диктатора — генерала Бланко Галиндо.

В начале 30-х годов, в разгар мирового экономического кризиса — период, полный драматизма не только в истории Боливии, но и всей Латин-

ской Америки, — родина Сеспедеса оказывается втянутой в кровопролитную войну с соседним Парагваем. Война в Чако, начатая Боливией, фактически была развязана нефтяными монополиями США и Англии, стоявшими за спиной воюющих республик; эта война стала суровой школой жизни и политического прозрения Для многих честных представителей боливийской интеллигенции, среди которых находился и Сеспедес. Вскоре его призвали и отправили на фронт, где он, в чине младшего лейтенанта, храбро сражался до конца военных действий. Впоследствии писатель и его литературные сверстники, на себе испытавшие ужас бессмысленной бойни и горечь поражения, — Аугусто Гусман, Оскар Серруто, Луис Торо Рамальо, Хесус Лара и другие, — вошли в историю боливийской литературы под именем «поколения Чакской войны». Своими учителями они считали выдающихся мастеров антивоенной европейской прозы. — Барбюса и Ремарка и создали большое число реалистических произведений, в которых разоблачался «креольский милитаризм». Однако лучшей антивоенной книгой этого периода, по признанию латиноамериканской и национальной критики, стал сборник рассказов Аугусто Сеспедеса — «Кровь

метисов» (1936), выдвинувший его автора в число ведущих литераторов страны.

Сокрушительный разгром в Чакской войне ярким светом озарил для многих боливийцев скрытые причины этого национального позора. Кровь, пролитая на пустынных равнинах Чако-Бореаль, оказалась не напрасной. Не только бывшие фронтовики-ветераны, но и широкие слои трудящихся и интеллигенции стали понимать, что истинными виновниками недавней драмы были крупные иностранные компании, орудующие в Боливии, и их прислужники из числа местной помещичье-финансовой олигархии. В стране складывается мощное антиолигархическое и антиамериканское движение, одним из видных деятелей которого становится Аугусто Сеспедес. В рядах уже известной нам партии МНР, созданной в начале 40-х годов, Сеспедес, выбранный незадолго до этого (1938) депутатом Национального конвента от департамента Кочабамбы, со страниц популярной газеты «Ла Калье» («Улица»), которую он издавал в Ла-Пасе, ведет последовательную компанию за национализацию боливийских природных богатств. Ранее при его непосредственном участии создается «Союз защиты нефти», добившийся впервые в

латиноамериканской истории конфискации собственности рокфеллеровского треста «Стандард ойл» в Боливии (1937).

С головой окунувшись в политическую борьбу тех лет, Сеспедес способствовал приходу к власти двух боливийских президентов, которые безуспешно и с трагическим для них результатом пытались противостоять давлению североамериканских монополий: сначала — Германа Буша (1937–1939), затем — Гуальберто Вильярроэля (1943–1946). Буш, ровесник и непосредственный фронтовой начальник Сеспедеса, был одним из офицеров, наиболее отличившихся в Чакской войне. Придя к власти и используя диктаторские методы правления, он хотел установить государственный контроль над горнорудной промышленностью страны, сосредоточенной в руках «оловянных баронов», прислужников англо-американского капитала. Конец президента-полковника был загадочен и таил угрозу для тех, кто хотел бы последовать его примеру: Буш «покончил самоубийством» при весьма туманных обстоятельствах… В романе «Металл дьявола», описывая секретное заседание представителей крупных промышленных компаний, Сеспедес с большой художественной

силой восстанавливает гипотетическую картину вынесения смертного приговора «строптивому» боливийскому каудильо, в образе которого нетрудно угадать Германа Буша. Позднее историю жизни Буша и всей боливийской политики 20—30-х годов Сеспедес живо воспроизведет в разоблачительном романе-хронике «Диктатор-самоубийца» (1956).

Во время президентства Вильярроэля, поставленного у власти с помощью партии МНР, писатель некоторое время занимает высокий пост секретаря правительственной хунты, однако под давлением правых вскоре уходит в отставку. Свободный от государственных дел и связанный лишь журналистской работой в газете «Ла Кальe», Сеспедес приступает к написанию своего главного произведения — «Металл дьявола».

В поисках материала для романа, который с самого начала был задуман как книга резко разоблачительная и политически заостренная, будущий автор, поселившись среди рудокопов, «в прямом и переносном смысле спустился в сокровенные глубины земли и человеческого существования… Борьба против несправедливости, страданий и эксплуатации, которые он

увидел, стала делом его жизни»[2]. Повседневно общаясь с рудокопами, Сеспедес становится их профсоюзным руководителем. Искренность, умение подойти к рабочим завоевали ему неподдельные симпатии простых людей. Он был одним из организаторов Профсоюзной федерации трудящихся-горняков Боливии, а в 1944 году его избирают первым в истории боливийского парламентаризма рабочим депутатом от горнопромышленного округа Бустилъо.

Тем временем «оловянные бароны», напуганные «либерализмом» правительства Вильярроэля и его намерениями национализировать рудники и провести аграрную реформу, готовили очередной заговор. В июле 1946 года столица страны стала свидетельницей нового государственного переворота, в результате которого Вильярроэлъ был зверски убит толпой наемников, а его обезображенный труп в течение нескольких дней висел вниз головой на фонарном столбе под окнами президентского дворца. По всему городу начались поиски и физическое истребление сторонников свергнутого президента, среди которых одним из первых числился Сеспедес. К

[2] Примечания: 2

Augusto Céspedes. Metal del Diablo, Prólogo de Manuel Galich. La Habana, 1965, p. XI.

счастью, в это время он был уже далеко: его назначили послом в Парагвай, и писатель оказался политическим эмигрантом. Лишь через 20 лет, в 1966 году, Сеспедес расскажет об этих событиях в автобиографическом романе-хронике «Повешенный президент».

С 1946 по 1952 год Аугусто Сеспедес, как один из руководителей партии МНР, запрещенной в Боливии, находился на положении политэмигранта в Аргентине и много делал для развития подпольной борьбы у себя на родине. Несмотря на высокий престиж политического борца и создателя одной из популярнейших книг, способствовавшей буржуазно-демократической революции 1952 года, Сеспедес после победы своей партии не вышел на авансцену, по мере того как МНР утрачивала революционные позиции и постепенно шла на уступки империализму, Сеспедес стал отходить от активной политической деятельности, целиком отдавшись журналистике и литературе. В 50—60-х годах он был послом в ряде европейских стран, а в 1968 году закончил и опубликовал свой последний бытовой роман «Влюбленный тропик», действие которого развертывается в наиболее живописных городах Боливии — Кочабамбе и Санта-Крус.

В 1971 году по приглашению Союза советских писателей Аугусто Сеспедес впервые посетил СССР. В беседе с автором этих строк боливийский прозаик вспоминал историю создания своего наиболее популярного произведения «Металл дьявола» и поделился творческими планами. Дальнейшая судьба вырождающейся семьи Патиньо, одной из богатейших семей капиталистического мира, в течение полувека грабившей недра Боливии, по замыслу писателя, должна стать темой его будущей книги.

Роман «Металл дьявола», проблематика и образы которого до сих пор не утратили актуальности ни для Боливии, ни для других стран Латинской Америки, продолжающих оставаться объектом империалистического грабежа, — произведение сложное и многоплановое. Довольно трудно определить его конкретную жанровую разновидность: прежде всего, как уже отмечалось, это — роман биографический, то есть относящийся к распространенному теперь жанру «беллетризированной биографии». Внешняя канва жизни и головокружительной карьеры боливийского миллиардера воспроизведена его современником и идейным противником Сеспедесом с большой точностью и обстоятельностью, на основе лич-

ных впечатлений, документов и материалов прессы, публиковавшей в свое время не только статистические данные о добыче олова и подлинные тексты циркуляров компании Патиньо, но и сообщения телеграфных агенств о многочисленных эротических похождениях «оловянного короля» и его ближайших родственников вроде авантюриста герцога де Сальватьерра, его сестры Милагрос и детей магната — Туки и Арнольдо. Однако назвать «Металл дьявола» лишь «беллетризированной биографией» значило бы сказать очень мало, несмотря на то что некоторые латиноамериканские издания и имеют подзаголовок «Жизнеописание короля олова». Будучи «жизнеописанием» конкретного лица, этот роман является одновременно произведением историческим и политическим.

Историзм романа Сеспедеса заключается не только в том, что он связывает воедино драматическое настоящее Боливии с ее не менее драматическим прошлым, предпосылая многим главам в качестве эпиграфа отрывки из старинной хроники XVIII века «Анналы жизни Имперского города Потоси»; и не только в том, что книга в живых картинах, авторских отступлениях, косвенных упоминаниях документирует

действительные события боливийской истории первой половины XX века (либеральная «революция» Пандо, война в Чако, расстрел рудокопов в Оруро и Катави, заговор олигархии против президента Буша и т. д.); «Металл дьявола» глубоко историчен прежде всего потому, что в качестве основной силы, определяющей развитие сюжета и судьбы многочисленных действующих лиц, выступает хотя и «дьявольский», но с научной точки зрения вполне реальный фактор — фактор капиталистической заинтересованности в эксплуатации природных богатств Боливии. Это она — «августейшая Прибавочная Стоимость», жившая в воображении испанских конкистадоров как легендарная «торная богиня», с грудью из серебра, золотыми сосками, боками из меди и животом из олова, по ходу повествования формирует героев сеспедесского романа, как бы играет с ними и в конце концов безжалостно уничтожает.

Гибнут не только тысячи «маленьких людей», таких, как темный и забитый индеец Уачипондо, обман и ограбление которого положили начало сказочному богатству Омойте, но и такие «сильные» личности, как горный мастер Харашич, управляющий рудником Эстрада, не говоря уже о

многих конкурентах и политических противниках могущественного оловянного магната.

Очень важным моментом в творчестве Сеспедеса-историка, помимо правильного показа экономических пружин общественного развития, является то внимание, которое писатель уделяет рабочему классу Боливии, переживавшему в первой половине нашего века процесс организованного становления и еще не имевшему марксистско-ленинского руководства коммунистической партии.

Построенный в виде биографии, с широким привлечением исторических источников, роман Сеспедеса явился действенным оружием в борьбе левого буржуазного либерализма против сил олигархии и иностранного капитала. Важно и то, какие акценты расставляет автор, рисуя два противоположных мира — мир эксплуататоров и мир эксплуатируемых. Излюбленные приемы романиста, отражающие его демократическое кредо, — это сознательно подчеркнутый и проходящий через всю книгу показ социальных контрастов и сатирическое, доходящее до гротеска, изображение того замкнутого и зловещего универсума, центром которого является «человекообразная обезьяна в клетке газетных строк»

— всесильный Симон Патиньо Первый.

Вот как, используя принцип контрастов, описывает Сеспедес два бракосочетания: одно — дочери магната — Туки с потомком Мюрата маркизом Джованни Карло Стефаничи; другое — забойщика-индейца Кучальо с шахтерской вдовой Марией Ниной: «Омонте заплатил парижскому муниципалитету неустойку за временное прекращение движения перед его дворцом на авеню Фош, фасад которого был сплошь украшен белыми розами, доставленными по такому случаю из Италии… С мебели были сняты чехлы и демонтированы деревянные щиты, закрывавшие гобелены стоимостью в два миллиона франков. На витрине был выставлен свадебный подарок Омонте — чек на миллион франков и перевязанная шелковой ленточкой дарственная на замок в Руане. Мать подарила бриллиант «Рекс», некогда принадлежавший австрийской императрице». А вот начало семейной жизни Кучальо, одного из тех, кровью и потом которых оплачено богатство Омонте: «Кучальо… балкой спустился вниз, к группе каменных домишек… В этот момент из пещеры вышла женщина в черной накидке. Она держала на руках ребенка, второй цеплялся за юбку. — Боже мой, а куда же

я теперь денусь? — спросила она на кечуа… — Ее муж умер… в больнице, и комендант поселка приказал ей убираться… — Кучальо лукаво улыбнулся и, обращаясь к женщине… спросил: — А где я буду спать? Там, где спал покойный? — Рабочие растянули в улыбке свои землисто-черные рты. Кучальо подхватил узелок, пригнувшись, вошел в пещеру, постелил постель рядом с постелью женщины, улегся и закурил сигарету. Мария Нина присела рядом».

Если при изображении простых тружеников — Уачипондо, Хуана де Дьос, Тахуары, Кучальо и многих других, представляющих многоликую народную массу — Сеспедес остается на позициях объективного, реалистического письма, неизменно согретого симпатией и состраданием, то его художественная трактовка главного героя — Сенона Омонте и его ближайшего окружения явно несет карикатурно-иронический оттенок. При этом ирония автора, по мере восхождения Омонте по общественной лестнице, постепенно вырастает до обличительной сатиры. В первой половине романа он — ничем не выделяющийся, хотя уже тогда довольно беспринципный, расчетливый, нечистый на руку молодой человек. На закате жизни — до смешного мнительный, капризный,

патологически скупой старик, терзаемый бесчисленными родственниками и мимолетными «подругами» и уносимый в небытие когда-то захватившим его долларовым ураганом. Не менее отвратителен и физический облик доживающего свою жизнь магната: «…уши плотно прижаты к тяжелой, крупной голове с изрядно поредевшими седыми волосами; резко выступающие скулы, нависшие, лишенные ресниц веки, из-под которых выглядывают недовольные выпуклые, крохотные глазки неопределенного цвета, почти без белков; толстая, набухшая верхняя губа прикрывает широкий, жабий рот; кожа на щеках обвисла, образуя бычий, двойной подбородок».

Карикатурны, порой гротескны, члены семьи Омонте и его ближайшие приспешники. Здесь — и донья Антония, с веснушчатым лицом, орлиным носом и «непрерывно работающим языком», вознесенная на капиталистический Олимп и неумело строящая из себя светскую даму; и ее сыновья — Арнольдо, рябой пропойца-дипломат, глаза которого «на его маленькой мордочке казались еще двумя рябинами»; и Тино, вконец испорченный мальчишка, больной наследственным сифилисом, «как рахитичное привидение» «с обезьяньими ужимками» преследующий

молоденьких служанок. А вот — «интеллектуально-чиновное» окружение боливийского магната: специалист по юридическим вопросам, лично разносящий «нужным людям» взятки Омонте — «зябкий, с черной, как чашечка кофе, маленькой головой» доктор Лоса[3]; финансовый «эксперт» и крупный спекулянт, «напоминающий старую обезьяну», с глазами «цвета мутного болота» доктор Давалос; советник по парламентским делам, краснобай и демагог доктор Гуаман, пухлое лицо которого, украшенное «свиными глазками», «сливается с лысиной»; и, наконец, «представитель интеллигенции», «человек вне политики», «апостол нейтралитета», этакий боливийский Киса Воробьянинов — доктор Куэльяр, «с почтительно согбенной спиной и постоянно вытянутым по ветру «конусообразным носом».

Ненависть Сеспедеса к «оловянным баронам», страстность, с которой он стремится поставить свое перо на службу политической борьбе, желание быть предельно злободневным в рамках определенного исторического периода — все это придает роману «Металл дьявола» волную-

[3] Примечания: 3

Прототипами деятелей «мозгового треста» Омонте были реальные лица. В частности, доктор Лоса «срисован» с наместника Патиньо в Боливии — доктора Артуро Лойасы.

щую, почти мемуарную, достоверность, но в то же время приводит автора к некоторым, чисто художественным, просчетам. Ведь злободневность, столь характерная для творческой манеры Сеспедеса вообще, — далеко не всегда синоним художественности. Если гротеск, карикатурность, продиктованные ожесточением политической борьбы и личной неприязнью автора к изображаемым героям, — прием оправданный и вполне достаточный, когда речь идет о действительно ничтожном окружении Омонте, то фигура самого миллиардера— в реальной жизни гораздо более масштабная и зловещая — заслуживает иных красок и иного, более глубокого освещения. Это необходимо еще и потому, что образ Омонте — Патиньо является б романе центральным и властно господствует над другими, далеко не заурядными персонажами, представляющими мировой капиталистический бизнес.

Сеспедес, несомненно, увлекся эффектным, но во многом преувеличенным противопоставлением безграничного материального могущества и крайней духовной примитивности реально существовавшего исторического лица. Симон Патиньо был далеко не так прост и однозначен, каким его изображает маститый боливийский

прозаик. «Оловянный король» действительно был лишен каких-либо нравственных устоев, он действительно предавался сомнительным развлечениям, был анекдотически скуп и до смешного тщеславен. Но только ли это? Писатель почти не показывает нам своего героя под другим, более важным углом зрения, прежде всего — как сильную, хитрую и дальновидную личность, никогда не уклонявшуюся от борьбы и неизменно сокрушавшую всех своих соперников, часто обладавших и умом, и образованием, и большим общественным весом. Ведь в мире безжалостной капиталистической конкуренции Патиньо действительно стал победителем и осуществлял свое неоспоримое и деспотическое господство, стоя на самой вершине мировой финансовой пирамиды. Все, чем гордилась европейская и американская буржуазная элита, — ее огромные состояния, ее родственные связи со старинной аристократией, ее дорогие и недоступные женщины, ее влияние в международной политике, — все оказалось в подчинении невежественного метиса из бедной, затерянной в Андах латиноамериканской страны. Ему было суждено осуществить своеобразное «историческое возмездие» — купить для своего ничтожного сына Арнольдо одну из

знатнейших и элегантнейших женщин Европы — Милагрос Сальватьерра, родственницу испанского короля, предки которой некогда сдирали кожу с покоренных индейцев Верхнего Перу. «И теперь, — пишет Сеспедес, — племя рабов через одного из своих отпрысков породнилось с господами-поработителями. Старый, затонувший было испанский галеон всплыл на поверхность. Плебейское олово, выцарапанное из земных недр грязными, мозолистыми руками, очищенное от дьявольского блеска, приобрело форму и цвет августейшей женской плоти».

Особой яркостью и выразительностью отличается художественная палитра Сеспедеса, когда он рисует своеобразный национальный и исторический фон, на котором развертывается жизнь Сенона Омонте. Боливия первой половины XX века, ее суровые высокогорные пейзажи, ее напряженная политическая жизнь, каторжный труд рудокопов показаны осязаемо и зримо. То же можно сказать и о многих второстепенных героях сеспедесского романа. Весьма интересен и символичен образ управляющего рудником — Эстрады, верного слуги своего хозяина, человека незаурядного и по-своему честного, пришедшего к запоздалому прозрению и трагическому концу.

Однако любопытнее всего та необычная для латиноамериканской литературы манера, с которой боливийский прозаик изображает североамериканский инженерно-технический персонал, законтрактованный компанией «Омонте тин» для работы на оловянных рудниках. Американские специалисты— Бэкью, Рит, Мак-Ноган, — стараниями которых усиливалась эксплуатация шахтерского пролетариата Боливии, показаны без вполне объяснимой неприязни, а прежде всего с точки зрения их деловых и организаторских качеств, как люди весьма способные и образованные. Это нужно писателю для того, чтобы еще больше подчеркнуть контраст между ними и их боссом, легко покупающим американскую научно-техническую элиту за баснословные оклады и заставляющим ее покорно сносить дикие хозяйские выходки. В изображении Сеспедеса они — тоже рабы капитала, воплощенного в Омонте, хотя и рабы, гораздо более высокооплачиваемые. Очень рельефна и многозначительна в этом смысле фигура инженера Мак-Ногана, который, пережив семейную драму и стремясь найти забвение в труде, в конце концов открыто восстает против хамства и бесчеловечности Омонте.

Закрыта последняя страница книги... Чем обогатит она читателя? Многим: он познакомится с маленьким и своеобразным народом Боливии, с его жизнью и борьбой на одном из самых горьких этапов национальной истории; увидит величественную картину неповторимой андской природы; полюбит многих скромных тружеников, ставших жертвой корыстных капиталистических интересов; проникнет взглядом за кулисы боливийской и мировой политики первой половины XX века, а главное, познает истинную — не рекламную — цену материального «успеха» и «самоутверждения» личности в условиях господства денежного мешка.

С. Мамонтов





I

Это — нигде не виданное чудо, сокровище, обогатившее мир, взрыв, потрясший все народы.

1942 год. В шесть часов вечера затемнение обезглавило здания Нью-Йорка. Кровь медленно вытекает сквозь световые прорези в нижних этажах. Кровавыми каплями разбегаются красные огоньки автомобилей. А вверху — небоскребы, будто накрывшись гигантскими капюшонами,

не узнают друг друга и, усмехаясь, под плотной маской, прячутся в угольно-черном небе.

На Парк-авеню под гнетом густого мрака стелется по тротуарам свет, словно исходящий из глубины земли, и отражается на лицах прохожих и в стеклах вращающихся дверей отеля.

Тени витают вокруг «Уолдорфа». Израненный свет мечется по нижним этажам и замирает. Стопы его не достигают окон высокой башни с закрытыми жалюзи и спущенными шторами. Безмолвие царит в покоях миллионера. Особенно тихо в гостиной цвета беж с голубым (персидские ковры и шкуры викуньи), где сидит он у камина, освещенный золотистым светом высокого торшера, устремив в пространство невидящий взгляд, уронив руку с зажатой в ней газетой.

Он не читает и не говорит по-английски. Однако он не мог не увидеть на столбцах газеты свое собственное лицо, выглядывающее, словно из песчаной горы, из пышного воротника мехового пальто. А рядом портрет служанки, — две недели тому назад она оставила место после разразившегося скандала.

В подписи под обоими портретами сообщалось, что североамериканская служанка потребовала у южноамериканского миллионера в возмещение

убытков сто тысяч долларов, в каковую сумму она оценила полученные ею две пощечины[4].

Но он не знал, о чем там говорилось. Он взглянул на фотографию и тут же уронил газету. На газетных клише он всегда выглядел отталкивающе.

В смутном полумраке комнаты он кажется старше, чем на портрете: уши плотно прижаты к тяжелой, крупной голове с изрядно поредевшими седыми волосами; резко выступающие скулы, нависшие, лишенные ресниц веки, из-под которых выглядывают недовольные выпуклые, крохотные глазки неопределенного цвета, почти без белков; толстая, набухшая верхняя губа прикрывает широкий, жабий рот; кожа на щеках обвисла, образуя бычий, двойной подбородок. Не

---

[4] Примечания: 4

В высокоразвитых индустриальных странах принят определенный стандарт при требовании возмещения убытков от миллионеров. Так, например, дон И. Патиньо и его супруга донья Альбина Родригес, согласно подробному сообщению отдела хроники «Нью-Йорк геральд трибюн» от 16 января 1943 года, проиграли в верховном суде процесс, возбужденный против обоих Алисой Аппиато Мьюзич, служанкой миссис Патиньо. Аппиато заявила, что ранее работала у киноактрисы Марион Дэвис, у вдовы сэра Генри Детердинга, главы «Роял датч петролеум К^0», — леди Детердинг и у других богатейших женщин; но теперь не может работать постоянно, так как ссора с супругами Патиньо, происшедшая в мае 1941 года, расстроила ее здоровье и нервную систему.

Ссора в «Уолдорф-Астории», по словам миссис Аппиато, произошла в день, когда она заявила, что оставляет свое место по той причине,

что во время путешествия миллионеров в Панаму «миссис Патиньо давала мне всего лишь полтора доллара в день на еду, а этого мне не хватало, так как там все очень дорого». В упомянутый день, закончив уборку комнат, девушка вернулась к себе, в комнату для прислуги в апартаментах Патиньо, и застала там своих хозяев, которые рылись в ее вещах. В ответ на вопросы Аппиато миссис Патиньо обвинила ее в исчезновении каких-то часов и, схватив чемодан служанки, заявила, что забирает его себе. Аппиато сказала, что вызовет полицию, но мистер Патиньо заметил, что это ему безразлично, поскольку он пользуется правом неприкосновенности как боливийский дипломат (посол в Виши с резиденцией в Нью-Йорке). Тогда Аппиато заперла дверь и направилась к телефону, а супруги-миллионеры, желая помешать ей, набросились на нее, осыпая ругательствами, разорвали на ней платье и наконец, после грубой драки, отняли у нее ключ и открыли дверь, за которой тем временем собрались управляющий отелем и многие служащие.

С небольшими изменениями этот рассказ появился и в других нью-йоркских газетах. Чувствительная служанка добилась, что супругов Патиньо приговорили к уплате шести тысяч долларов в возмещение убытков. *(Прим. автора.)*

очень точные журналисты утверждают, будто он вовсе не такой темнокожий, как на фотографии, а скорее смуглый с фиолетовым оттенком, особенно заметным на пористом носу. Затылок у него густо зарос черной щетиной, — это характерно для раздобревших индейцев, обычно хилых и сухощавых. Кроме того, ему свойственно выражение своеволия и беспредельной наглости, — так выглядел бы медведь, который может купить себе много меховых шуб.

Когда в газетах появляются его портреты, европейская или североамериканская публика может предположить, что этот господин, должно быть, индийский магараджа, ежегодно взимающий со своих подданных гору золота весом с него самого, либо японский магнат из клана Митцуи, либо одетый по-европейски вождь индейского племени, либо смахивающий на бизона свирепый тиран из Южной или Центральной Америки. Он мог бы сойти за любого из них, но на самом деле он — боливиец.

Несмотря на его физическую непривлекательность и явные признаки «низшей расы», к нему с величайшей почтительностью относятся чистокровные английские тори, немецкие юнкеры, североамериканские магнаты и реакционные

боливийские государственные деятели. Не раз он заставлял их ждать у себя в приемной или передавал через секретаря, что никого не желает видеть.

Кроме того, редкую сердечность проявляют к нему представители французской и испанской знати. Одна герцогиня, ближайшая родственница короля Альфонса XIII, называет его «папи», и отнюдь не в шутку, а потому, что она действительно стала его невесткой. Зятем его был испанский маркиз. А потом французский граф, который всегда приветствовал его по-испански, ибо сверхчеловек, запечатленный на газетной фотографии, хотя и был в течение тридцати лет послом своей страны в Европе и Северной Америке, кроме испанского, знал только родной язык индейцев — кечуа, единственный, какой еще сохранился в Эквадоре, Перу и центральной Боливии.

Все дело в том, что он — король, хозяин целой страны, колонизатор беспредельной империи рудников, литейных заводов, банков, рудных месторождений и залежей, разбросанных по просторам Европы, Америки и Дальнего Востока. Зачем же ему говорить на языках разных стран его империи, если он всех заставит понимать

себя при помощи глухого и немого олова?

В 1942 году два боливийских министра, состоявших у него на жалованье, приехали в Нью-Йорк. Они были весьма польщены приглашением на банкет, устроенный в их честь великолепным соотечественником. Однако сам он, оплатив все расходы, на банкет не явился, а поручил одному из своих мажордомов принимать гостей и произносить положенные тосты.

Он имеет право обращаться подобным образом со своими слугами, ведь статистика отводит ему пятое или шестое место среди крупнейших миллионеров мира. Пятое или шестое, несколько миллионов больше или меньше, это не повод для споров. Зато по другим статистическим данным в шкале «богатые», «средние», «бедные» и «очень бедные», установленной для стран Индоамерики, Боливия занимает место «очень бедной». Но и тут не стоит спорить, не правильнее ли было бы определить ее просто как «бедную».

Во всяком случае, даже во время второй мировой войны изображения боливийского магната постоянно появляются на страницах североамериканской печати, раздвигая столбцы газет с сообщениями о высадке союзных войск. Моментальные снимки показывают человекообразную

обезьяну в клетке газетных строк рядом с банкирами, служанками и кинозвездами. Его портрет был также напечатан при сообщении о забастовке, вспыхнувшей на рудниках в Боливии, но вскоре успешно подавленной, причем под огнем пулеметов погибло триста рабочих — мужчин и женщин.

Неизвестно, какое впечатление произвел на магната этот инцидент, столь обычный в процессе капиталистического производства. Его пищеварение обеспечивает ему состояние полного блаженства, он благополучно усваивает на расстоянии десяти тысяч километров все питательные вещества, которые при помощи иностранной техники извлекают индейцы его страны из недр истерзанной земли. Преклонный возраст и богатство возвели его чуть ли не в сан живого Будды. Жрецы в пиджаках и полосатых брюках кормят его властью и могуществом, добывая их волшебными чарами, а он даже не проявляет признаков жизни, разве лишь издаст угрожающее рычание, если кто-нибудь из этих людишек, обманувшись его безмятежным видом, поддастся соблазну и протянет руку к запретным яствам.

И это все. Ведь метисский король не живет. Уже

невозможно ни разбудить в нем собственную жизнь, ни приобщить его к жизни народа, ни одушевить, ни даровать ему чувства и человечность. Возможно только одно: вывести его в романе.

Для этой почти кощунственной цели нам надо вернуться к земным делам, надо, пользуясь приемами кино, повернуть время вспять, вырваться из головокружительного темпа наших дней и, перелетев через небоскребы, океаны и горные цепи, приземлиться в сельской тиши Боливии 1890 года.

II

Климат долины

«Золотой мул свалился в реку».

Переливаясь блеском воды и золота, эта фраза канула однажды в подсознание подростка Сенона Омонте и, всплыв потом на поверхность, долгие годы звенела у него в ушах, как тайный зов.

«Золотой мул свалился в реку...» Он слышал этот зов особенно ясно в долгие послеполуденные часы сельского безделья, когда бродил вдоль реки, несущей свои воды между двумя цепями красно-бурых гор. По горному склону карабкается деревушка Караса; крытые соломой глинобитные хижины, словно птичьи гнезда, ютятся среди кустарника и терпентинных деревьев. Повыше, на маленькой площади, тянется к небу колокольня церкви. Деревенские улочки стремительно бегут вниз и, достигнув берега, круто обрываются над каменистым ложем реки. Зимой речная вода тихо струится, растекаясь по камням, и проезжая тропа пересекает русло реки без помехи. По выбеленному солнцем дну, едва замочив копыта, переходят на другой берег ослики и мулы, совсем

крохотные среди этого безмятежного царства песка и камней, распростертого между двумя рядами красных гор. Иной раз переедет реку и почтовая карета.

Но в период дождей вода поднимается и в своем грозном наступлении заполняет все русло. Бурлящая, желтая, с хриплым воем лижет она подошвы прибрежных холмов, неуклонно подбираясь к деревне. А порой не только вода мчится по ложу реки, но и грязная глинистая мешанина, вымытая из ущелий. Пласты земли перемещаются, как бы в замедленном землетрясении, и река несет на своем хребте, словно невесомые листочки, вырванные с корнем деревья и огромные каменные глыбы.

Караса лежит на середине дороги, соединяющей плоскогорье Оруро с долиной Кочабамбы, — чтобы попасть в Кочабамбу, надо пересечь реку. Но во время половодья приходится выбирать более долгий путь вдоль извилистой линии прибрежных гор.

Однажды в период дождей прибыл из Оруро караван. Мулы тащили во вьюках горные инструменты, мешки и ящик, набитый фунтами стерлингов, как объяснил сопровождавший караван дон Ригоберто Ренхель, служащий торгового

дома Боттгера. Торопясь в Кочабамбу, он решил не искать обходных путей, а перейти реку вброд, благо после первого разлива вода несколько спала. Погонщики, подвернув штаны и ведя мулов в поводу, вошли в реку. Они продвигались вперед, то погружаясь в воду, если проваливались в яму, то поднимаясь над ней, если удавалось ступить на донный камень. Грозный поток бил мулов короткими волнами.

Убедившись в надежности брода, в реку повели и мула, навьюченного деревянным ящиком с золотом. И вот, на беду, именно он оступился, поскользнулся и упал, бода сразу накрыла его и потащила за собой, завертев вместе с камнями в водоворотах. Погонщики, распластавшись на огромных валунах, словно жабы, увидели» как груз свалился со спины мула и исчез в стремительном потоке.

Служащий Боттгера, размахивая руками, взывал с берега, стараясь перекричать рев воды.

— Золотой мул! Это золотой мул! — вопил он, кидаясь одетый в реку.

Мул, освободившись от ноши, выплыл сам и, весь в грязи, выбрался на другой берег. Теперь, чтобы отыскать ящик, надо было ждать, пока спадет вода.

— Он слишком тяжелый, течением его не могло унести, — сказал Ренхель. — Да еще обит железными полосами, так что наверняка не разбился.

Через два дня приступили к поискам. Вся деревня высыпала на берег. Тата[5] Морато, приходский священник, приютил Ригоберто Ренхеля в своем доме. Он дал ему все необходимые советы и предоставил в его распоряжение своего племянника, парнишку Сенона Омонте, а тот привел еще нескольких индейцев. По команде Сенона индейцы бросились нагишом в реку и стали ощупывать руками и ногами каждый камень в мутном потоке.

Вода спала, на выглянувших из глубины камнях белела подсыхающая грязь. В два часа на второй день работы под палящими лучами солнца Сенон радостно закричал и'замахал руками. Все бросились к нему. Разбухший от воды ящик заклинило между двумя камнями, из водорослей и ила торчал только один угол. Ящик вытащили, он оказался цел и невредим.

Ренхель готов был плясать от радости. Он заплатил индейцам, а парнишке дал за находку особую награду. Затем он отправился дальше в

---

[5] Примечания: 5

Тата (тайта) — уважительное обращение к старшим, буквально — отец.

Кочабамбу.

С тех пор в жаркие послеполуденные часы, когда от зноя дрожал воздух над берегами, у Сенона в ушах звенела заветная фраза:

«Золотой мул свалился в реку».

«Тара-тара-тарита-тара…»

Над песком и камнями обрывистого берега возносят к небу свои кроны терпентинные деревья; когда река пересохнет, их корни повиснут в воздухе. Укрывшись в тени, Сенон с рогаткой в руках подстерегает птиц и насвистывает креольскую песенку.

Теплое дыхание покоя овевает широкое песчаное ложе реки. Струйки воды, искрясь на солнце, разбегаются меж камней. Тишину неподвижного дня порой нарушает хлопанье крыльев лесного голубя. С высоты безмятежно мирной деревни открывается величественная, уходящая в вечность перспектива: одна за другой теснятся горы на том берегу, крохотные ячменные поля разрывают единый красно-желтый покров, наброшенный на бесконечную вереницу вершин, тающую в далекой синеве.

Но вот созерцательное настроение Омонте сломалось, как речной лед в оттепель: на берегу появилась Тересита, дочь одного из арендаторов

доктора Гуамана — помещика и адвоката, живущего в деревне. Она пришла стирать белье в речке. Солнце раскаляло белый песок, Тересита яростно колотила белье о камень, и все вокруг вздрагивало при каждом ударе. Лицо Тереситы выглядывало из-под полей белой шляпы.

Омонте смотрел на нее во все глаза. Румяная, как спелое яблоко, девушка сбросила шаль и косынку и осталась в одной блузке, туго натянутой на крепкой груди и открывающей смуглые руки.

«Тара-тара-тарита-тара...".

Индианка делала вид, что не слышит. Сенон стал подбираться поближе, бросая камешки в воду, а потом и в девушку, но та, словно не замечая, даже бровью не повела. Только когда камешек попал в цель, она оглянулась и обругала его на кечуа.

— Дурак ты! С тобой никто не разговаривает, чего же ты камни бросаешь? Я тебе не овца, бездельник!

— А я не в тебя, я в воду.

— Места тебе, что ли, не хватает, бродяга? Не мешай стирать!

— Лучше выстирай мне штаны...

— Пошел ты к черту!

Тересита продолжала усердно стирать, ее пол-

ные руки с размокшими, красными от воды пальцами так и ходили ходуном. Омонте, подталкивая ногой камешки и насвистывая, подошел еще ближе и снова заговорил; девушка даже не подняла глаз от блестящей, как сталь, воды.

Но вот стирка закопчена. Не утерев лоснящееся, потное лицо, Тересита поспешно собрала белье, разложенное для сушки на камнях, и нагнулась, чтобы завернуть его в шаль. Омонте, воспользовавшись моментом, бросился к ней и протянул руку к ее груди. Тересита, защищаясь, скрестила руки и низко опустила голову, прижав к груди подбородок. Тень гор чертила огромные треугольники на песке и уже добиралась до церковной колокольни. Тересита быстрым шагом бросилась вверх по тропинке, вьющейся среди прибрежных деревьев. Но Омонте обхватил ее сзади за талию и сунул руку ей под блузку.

— Отстань, окаянный! Жена я тебе, что ли? Ай! Ай! Я закричу, разбойник! Белье! Черт тебя побери! Белье перепачкаешь! Сам будешь стирать, негодяй! Разбойник!

Тень от гор уже накрыла деревню и карабкалась вверх по другим горам. Дав индианке подножку, Сенон повалил ее на песок под терпентинным деревом. Вопли и брань Тереситы постепенно

затихали, переходя в стоны и вздохи.

У таты Морато не было золотого мула, но зато был обтянутый кожей ларчик с серебром. Сенон прознал об этом, увидав однажды, как дядя, приподняв сутану, вытащил из кармана штанов ключ от замочка, висевшего на железных кольцах кожаного сундучка, и, отомкнув его, сложил туда крупные и мелкие серебряные монеты, полученные во время праздников за требы и церковную службу по всему приходу, — а приход его раскинулся по полям, горам и долинам до самых далеких деревушек и хуторов, где индейцы терпеливо дожидались его апостольского пришествия.

Память о любовных похождениях и общительном нраве священника Морато сохранилась во многих деревнях. В дни молодости его веселый смех и занятные рассказы на кечуа принесли ему большую славу, а также и нескольких сыновей.

Но, достигнув преклонных лет, он довольствовался тем, что выпивал ежедневно несколько стаканов чичи[6] в компании своих односельчан, проводя с их земными душами время от половины третьего («часа первого глотка») до пяти, когда

---

[6] Примечания: 6

Чича — алкогольный напиток, приготовляемый из маиса или различных фруктов.

отправлялся обедать к себе в приходский дом.

В черной сутане, крепкий, сухощавый, с длинным зеленоватым лицом, с которого не сходила улыбка, он был похож на высокую бутылку из темного стекла, наполненную веселым церковным вином. Он усаживался за грубо сколоченный стол напротив Сенона и, наскоро перекрестясь, принимался за еду. Потом проверял уроки по чтению и письму, которые задал мальчику утром, и расспрашивал его о залетевших в деревню политических слухах.

К Сенону он испытывал нежную привязанность, но никогда не выражал ее в словах или лаской. Мальчик был незаконным сыном его брата и одной женщины из их деревни, которая умерла, когда Сенону исполнилось десять лет. Ребенок носил имя матери. В ожидании, пока отец заберет его, дядя-священник взял заботы о племяннике на себя. Но отец и не думал забирать его, он женился в Кочабамбе, и у него были другие дети.

Так Сенон остался жить у дяди-священника навсегда. Среди множества анекдотов, ходивших по деревне о тате Морато, рассказывали, что как-то при объезде епархии в доме священника остановился епископ Гранадо. Увидев мальчика,

он спросил:

— Ваш племяшка, сеньор священник?

На что тата Морато ответил:

— Нет, ваше преосвященство, это мой законный сын…

Племянник был ему помощником, товарищем, служкой и посыльным. Он возделывал скромный сад своего дяди, звонил в колокола на глинобитной колокольне и вел счет крестинам. За это священник кормил его и каждый год дарил одежду из чертовой кожи и грубые сыромятные башмаки. Удовлетворение остальных нужд он предоставлял его находчивости. Находчивость парнишки проявилась прежде всего в том, что он подделал ключ от сундучка и в отсутствие священника осторожно вытаскивал по реалу из каждого столбика по пятьдесят монет. Так вознаграждал он сам себя за труды, которые часто бывали для него лишь развлечением, — например, поездки в деревни и на фермы, где индейцы время от времени справляли праздники, приглашая священника для церковной службы.

Когда приближался такой праздник, они запирали храм и садились на мулов. Священник надевал соломенную шляпу, парусиновый пыльник и отправлялся в горы, — прямой, высокий,

загорелый, с длинным загнутым носом и крупными белыми зубами, подчеркивающими темный цвет его лица. Он взбирался вверх до самой пуны[7]. Спускался вниз в долину. За ним, на другом муле, следовал племянник. Его лицо, гладкое, безбровое, румяное, как яблоко, и маленькие, почти лишенные ресниц черные глазки говорили о примеси индейской крови.

Прибыв на место, они располагались в какой-нибудь хижине и на следующий день знаменовали праздник мессой, крестным ходом, поминовением мертвых, венчаниями и крестинами. Индейцы выполняли христианские обряды на свой языческий лад, и тата Морато в парадном облачении шел впереди этой необычной процессии, неся изображение святого, изукрашенное цветами и пестрыми бумажками.

Через несколько дней, получив мзду за свершение таинств, священник с мальчиком, уложив в переметные сумы связанные узелком яркие платки с серебряными монетами, садились на мулов и возвращались в Карасу.

Но вот в один ясный теплый день приходской дом огласился не громогласными речами доброго

---

[7] Примечания: 7
Пуна — высокогорное плато.

пастыря, а пронзительными воплями индианок. Рыдая, они шли вслед за индейцами, которые несли на одеяле тело таты Морато. Неподалеку от деревни его сбросил на землю мул и, лягнув копытом, раздробил ему череп. Теперь мул как ни в чем не бывало трусил позади своей жертвы. Длинные ноги священника, в грубых башмаках, без носков, свесившись с одеяла, покачивались на ходу.

Лицо таты Морато было неузнаваемым, распухшим, багровым. Из полуоткрытого рта с крупными сверкающими белизной зубами вырывались хриплые предсмертные стоны. Он скончался около трех часов, оплакиваемый всеми односельчанами.

Через неделю после похорон приехал из Кочабамбы старший брат священника, Никасио Морато, очень на него похожий. Он открыл опечатанную сельскими властями дверь дома и на глазах у Омонте, не сказав ему ни слова, взял себе сундучок с серебром. Через несколько дней, наскоро закончив все юридические формальности, нужные для введения в права наследства, Никасио навьючил мулов и повез сундучок и Сенона по старой дороге вдоль подножья гор в Кочабамбу.

Они спускались вниз, и ущелье раскрывалось все шире, горы расступались, земля наливалась зеленью, полнилась шумом листвы. Деревья и маисовые поля разбегались по равнине и снова взбирались вверх по пологим склонам, сливаясь с далекой синевой горных хребтов, широким кругом замыкающих долину Кочабамбы. Тень деревьев ласкала землю, а над деревьями раскинулась безоблачная синева небосвода.

Стоял февраль. Жаркий воздух был напоен ароматами. Эти запахи, как бы материализуясь, превращались на глазах у Сенона то в персики, выглядывающие из садов поверх низких оград, то в виноградные гроздья на старых лозах, вьющихся вокруг терпентинных деревьев, которые непрерывной зеленой вереницей скользили навстречу мерно шагавшему мулу.

Неожиданно на обочине дороги возникла глинобитная хижина, почти скрытая деревьями, над ней на высоченной бамбуковой палке развевался белый платок. Это был знак, что здесь торгуют чичей. Двое ребятишек, один в короткой рубашонке, другой почти голый, только в каком-то жилетике, кувыркались в пыли перед самой дверью.

— Остановимся тут на минутку, — сказал дон Никасио. — Уж очень жарко. Глоточек сейчас не

повредит.

Спешившись, он уселся на глиняной скамье, утер пот со лба и щей, хлебнул крепкой местной чичи и пустился в рассуждения.

— Ну и жара! Ты тоже, Сенон, глотни чичи, если пить хочешь. Воду пить, когда потеешь, опасно, — еще помрешь.

И невольно добавил:

— Говорят, твоя мать умерла от воспаления легких. Я не знал ее. А твой отец, бесстыдник, бросил тебя еще маленьким. Вот почему ты и носишь имя матери. А теперь вот умер и священник. Бедный мой брат! Я самый старый из них, но что поделаешь! Теперь будешь работать вместе со мной. Будешь помогать мне на ферме, да, на ферме.

Он расплатился и, поднявшись, приказал:

— А ну-ка, подтяни подпругу у мула.

— Хорошо, дон Никасио.

Когда они сели в седло и двинулись дальше, подгоняя третьего мула, который вез сундучок таты Морато, дон Никасио, почувствовав внезапный прилив нежности, смешанной с угрызениями совести, обернулся к Сенону и сказал:

— Не надо говорить мне «дон Никасио». Я ведь тебе не чужой. Называй меня дядей.

Долгие годы слышал Омонте гулкий отзвук, возникавший в коридоре, когда случайный прохожий ступал на разбитую плитку тротуара перед домом дона Никасио.

В Кочабамбе трава прорастала между камнями мостовой, а улицы были так пустынны, что казались широкими. Скаты крыш бросали волнистую тень на белые стены домов. Редко-редко продребезжит экипаж, а за ним промчится стайка ребятишек, или послышится резкий свист индейца, подгоняющего осликов, навьюченных снопами люцерны.

Дон Никасио Морато был человек обеспеченный. В свое время он промотал в Европе немалые деньги, но все же и теперь у него была одна ферма в провинции Кильяколько, другая — в Клисе и дом в городе.

Он занимался тем, что возделывал маис «уилькапару», из которого гонят чичу, с незапамятных времен ставшую национальным индейским напитком, и, подчиняясь тоже с незапамятных времен возникшему кочабамбскому обычаю, вел тяжбы с соседями из-за земельных границ или из-за воды, тяжбы, которые, в свою очередь, вызывали новые — из-за грабежей, ранений и даже покушений на убийство. Эти занятия вынуждали

его делить свое время между фермой и городом, между сельским хозяйством и юстицией.

Из скромного наследства священника Сенону не досталось ничего, ведь он не был законным членом семьи. Дон Никасио поделил все с отцом Сенона, молчаливым нелюдимом, который жил безвыездно на своей ферме в горах Тираке. Племяннику дон Никасио поручил сопровождать грузы на ярмарку в Кочабамбу, а также возить жалобы и уведомления в суд и обратно.

Пыль и солнце на дорогах; мухи в городском суде; жилье в просторном доме Морато — комнатушка в нижнем этаже с плиточным полом: ни мебели, ни утвари, ничего кроме койки, гвоздя в стене, чтобы вешать одежду из темной грубой ткани, да эмалированного умывального таза на продавленном стуле; вместо обоев на стенах прибитые гвоздиками газеты.

Много времени спустя после приезда в Кочабамбу, и то лишь благодаря случайной встрече, Сенон был представлен в один и тот же день обоим своим братьям. Однажды, стоя рядом с дядей Никасио в густой толпе индейцев и задыхаясь от пыли и жары, он торговал на рыночной площади привезенным картофелем. Мимо проезжал верхом на лошади какой-то молодой человек.

— Добрый день, дядя Никасио, — сказал он, остановив лошадь.

— Привет, привет, Хоакин, — отвечал дядя. — Есть ли у тебя вести от отца?

— Нет, дядя… Вы же знаете, он никуда из своей усадьбы не выезжает.

— А ты что поделываешь? Все законы изучаешь? Не прошла еще у отца эта блажь — сделать из тебя судейского крючкотвора?

— Да, видно, так оно и будет, дядя…

Тут вдруг сеньор Морато вспомнил об Омонте.

— А этого парня ты не знаешь? — спросил он у молодого человека. — Это же Сенон, твой брат.

Сверху вниз и снизу вверх метнулись и скрестились два взгляда. Сенон, грубо сколоченный, в подпоясанной бечевкой рубахе без галстука и воротничка, с красным лицом и жесткими сальными волосами, свисающими на лоб из-под соломенной шляпы, никак не выглядел братом, который мог бы польстить тщеславию студента юридического факультета.

— Да, да… Нет, нет… я не знаю его, — пробормотал тот.

Дон Никасио, ничуть не смущаясь, объявил:

— Ну, теперь, значит, ты его знаешь! Подайте друг другу руки. Братья — все равно братья, хоть

твой отец этого и не хочет.

Не сходя с коня, Хоакин протянул руку Сенону.

— Очень приятно… Ну, дядя, мне пора. До свиданья!

Он повернул коня и затерялся в гуще индейцев. Дон Никасио пробормотал:

— Гордость, черт побери, какая гордость! А ведь все мы из одного дерьма сделаны…

В тот же день Сенон познакомился со вторым своим братом.

Покинув картофельные ряды, Омонте перешел на хлебный рынок, — площадь без единого деревца, где в праздничной сутолоке перемешались белые сомбреро, яркие юбки и разноцветные пончо. Под ослепительным солнцем все люди были на одно лицо. Белые парусиновые навесы, натянутые на тростниковые опоры, казались стройными рядами парусов в солнечном океане, а под навесами бойкие торговцы продавали ситец, нитки, пуговицы, готовое платье, войлочные шляпы, рис, краски, земляные орехи, апельсины и пряники, покрытые белой глазурью.

Второй брат, Хосе-Пепе, постарше Хоакина, был более любезен с Сеноном. Они выпили вместе кувшин чичи в кабачке по соседству с рынком, и Хосе-Пепе сказал, что, если Сенону нужна

керосиновая лампа, он может продать ему по себестоимости в магазине Гердеса, где работает приказчиком.

Сенон почувствовал себя несколько уязвленным, но все же расстались они дружески. Сеньор Морато отправился завтракать в харчевню на улице Калама, а Омонте — проведать ослов и мулов, на которых привезли они товар с фермы.

Поблизости от хлебного рынка под эвкалиптами стояли прибывшие со всей округи мулы, отмахиваясь хвостами от роя мух, а рядом, примостившись на кучах гуано, сидели и лежали стерегущие их погонщики. На углу бродячие стряпухи зазывали покупателей, накладывая остро пахнувшую еду на глиняные тарелки. Омонте, а с ним бывший смотритель рынков и двое молодых барышников, Ариспе и Хордан, позавтракали у одного из лотков. Пачкая пальцы в красном соусе, они хватали руками куски цыпленка и картофеля. Их выкрашенные соусом губы казались распухшими. Из стоявшего в холодке кувшина торговка наливала им чичу в тыквенную посудину, и сотрапезники опорожняли ее одним махом.

Омонте, который нынешним утром заполучил свой собственный барыш, сверх того, что причиталось дяде, заплатил за четыре порции

цыпленка и чичу восемь реалов. Тогда Ариспе и Хордан предложили выпить еще по глоточку в одной отличной чичерии[8].

— Там чича что надо!

В чичерии, где непрерывно сменялись шумные посетители, они уселись на скамью и принялись опустошать стакан за стаканом, беседуя на кечуа вперемежку с испанским.

Оба барышника побывали в Оруро.

— Там черепицы и не увидишь!.. Все крыши железные. И деревьев нету. Пять дней карабкаешься в гору и приходишь в голую пампу. Ни деревца. А холод какой!

— Большой город Оруро?

— О, большой и красивый! Полно всяких гринго[9]. И еще железная дорога… Железная дорога… это, как бы вам объяснить… Похоже на длинную, длинную черную змею. Видали бы вы, как она мчится, выпуская то черный, то белый дым! А там, внутри полно людей, и все смотрят в окна.

Омонте и бывший смотритель слушали, раскрыв рты.

---

[8] Примечания: 8

Чичерия — таверна, где торгуют чичей.

[9] Примечания: 9

Гринго — презрительное прозвище иностранцев в Латинской Америке.

Ариспе решительно подтвердил:

— Да, так оно и есть. Двадцать, тридцать вагонов, и тащит их паровоз. А в вагонах, ну и ну! Сидят за столами гринго, угощаются не хуже чем в ресторане и сосут свои трубки. Едут все из Чили на рудники.

— На рудниках, — добавил Хордан, — в ходу одно золото. Ассигнации они просто рвут. А во время карнавала швыряют деньги пригоршнями на улицу.

— И только гринго могут ездить по железной дороге? — спросил смотритель.

— Не будь дураком, — откликнулся Омонте. — Есть у тебя деньги — поезжай, как любой другой.

— Правильно, — подтвердил Ариспе. — Покупаешь билет, а когда поезд уже тронулся, приходит контролер и проверяет билеты. Если не купил, тебя выбросят на ходу, им наплевать, что голову себе разобьешь.

Они спросили еще кувшин. Еду здесь давали бесплатно, платить нужно было только за выпивку. Потом смотритель, взяв гитару, стал наигрывать какую-то однообразную мелодию, и Омонте сам не заметил, как заснул.

Проснулся он от града сыпавшихся на него ударов и увидел над собой как бы спустившееся

с потолка лицо дяди Никасио. Дядя вытащил его за шиворот на улицу и, дав ему хорошего пинка, заорал:

— Пьяница проклятый! Мула украли! Ищи мула, так тебя и так!

Он порывался дать ему еще пинка, но Омонте, проснувшись окончательно, надвинул шляпу на самые брови и заявил:

— Хватит, дядя! Я вам не слуга. Обращайтесь со мной как следует.

Изрядно выпивший дон Никасио слегка опешил, но все же продолжал свои гневные обличения:

— Знаешь, что кругом вор на воре, и напиваешься!

На обезлюдевшей рыночной площади стояли только вьючные мулы сеньора Морато, но одного не хватало. Сеньор Морато, который уже отколотил индейца, сторожившего животных, снова отвесил ему две оплеухи. Омонте вскочил в седло и отправился на поиски. День склонялся к вечеру. По дорогам, поднимая клубы голубой пыли, разъезжались из города крестьяне и фермеры, кто на лошади, кто на муле, кто на осле, рассыпаясь, словно разноцветное конфетти, по огромной равнине.

Мула как не бывало. Дон Никасио пустил свою лошадь быстрой рысью по дороге к ферме. Омонте трусил вслед вместе с индейцем, подгонявшим ослов, как вдруг за поворотом дороги, среди пустынных полей с кое-где разбросанными деревьями, он заметил двух медленно бредущих расседланных мулов. Омонте велел индейцу подвести караван поближе к этим мулам, а потом, как бы невзначай, погнал их вместе со своими. Когда<они прибыли на ферму дона Никасио, у них оказалось не меньше одним мулом, а больше.

Поразмыслив, Омонте вручил одного из приблудных мулов дону Никасио взамен утерянного. Другого он укрыл в коррале у знакомого индейца и через две недели, уничтожив старое тавро и выкрасив мулу шерсть, продал его на ярмарке в Клисе, а деньги припрятал.

Жаркое дыхание чувственности разливалось вокруг, оно сгущалось, уплотнялось, неотвязное, прилипчивое, как мухи на стенах дома. А за окном воздух, напоенный запахом люцерны, дрожал от ржания молодых жеребцов. По ночам пьяные песни вдребезги разбивали хрупкое безмолвие улиц.

Весной и летом все исходили потом. Воды было мало, еле хватало для питья, эту воду индейские

ребятишки, молодые индианки и слуги-индейцы набирали в большие глиняные кувшины, окружая, словно пчелиный рой, еще не совсем иссякшие городские колонки на перекрестках. Там не умолкала разноголосая перебранка на кечуа и споры из-за очереди подставить кувшин под кран. То и дело вспыхивали драки; вода, проливаясь из кувшинов, из крана, лужами стояла на мостовой.

Но вот наступило время дождей.

— Пошли на реку, Сенон!

— Пошли на реку…

То был великий праздник. Река Роча, огибавшая город, несла свои бурные полые воды. Порой она выходила из берегов и затопляла город, а люди затопляли берег и плескались в больших грязных лужах. Райскими теплыми вечерами Омонте бродил вдоль реки. Под прибрежными ивами стояли нагие мужчины и, прикрывшись руками, не сводили глаз с женщин, входящих в воду под защитой простыни, которую потом подхватывали с берега подружки. Купальщики, взмахнув руками, тоже прыгали в поток, испещренный пятнами света и тени.

Полуголые мужчины, в рубашках чуть ниже пояса, бродили между деревьями в тенистых

местах, пытаясь хоть на мгновение увидеть обнаженные женские груди и бедра. Стайки подростков, возбужденные ласковыми прикосновениями теплого ветерка и зрелищем женских тел, мелькающих среди листвы и в воде, блуждали вокруг с ошалелым видом.

Среди зеленых кустов пестрели, словно цветы, зонтики креолок. Важно выступала под зонтиком, вся в черном, донья Клотильда Обандо, старая дева, сестра дона Клементе Обандо, ведя за собой его малышей, Хесуситу — квартеронку, со свежим, как спелый плод, личиком в рамке черных волос, приемыша семьи, — и целую ватагу прислуживающих индианок. Они расположились в укромном местечке на берегу, защищенном ивами и зарослями тростника. Старая дева руководила купаньем, в котором принимали участие все, кроме нее самой.

— Прикройся, бесстыдница!

Пока Хесусита раздевалась, порыв ветра высоко поднял ее рубашку. И Омонте, спрятавшись вместе с дружками в тростниках, увидел розовые ягодицы этой нимфы равнин.

Не одно жаркое лето прошло под навесами крыш, над зеленеющей на улицах травой. Прошли теплые зимы. Сенон вырос. Он теперь

доставлял сельскохозяйственные продукты торговым фирмам, которые перепродавали их в Оруро. Кроме того, он приобрел немалую судебную практику, следя за тяжбами вместо стареющего дяди Никасио.

Парусиновую блузу сменил костюм из черного кашемира, а вдобавок появилась соломенная шляпа и оранжевые ботинки, поскрипывающие при каждом шаге. Однажды Омонте встретил на углу возле клуба своего брата Хоакина, но тот притворился, будто не видит его, и оживленно заговорил с какими-то «приличными молодыми людьми».

А эти приличные молодые люди заводили ссоры с чоло[10] из-за какой-нибудь чолы в чичерии. В те времена больше других славилась чичерия Тустун-сики; эта чола в молодости была любовницей полковника Лосады, расстрелянного по приказу Мельгарехо[11].

Как-то Омонте пришел туда, а с ним его дружки: Тринидад Кирога, некий Немесио Кадима, у которого деньги водились не часто, Хуску-пунью да

---

[10] Примечания: 10

Чоло — сын белого и индианки, женский род — чола.

[11] Примечания: 11

Мельгарехо Мариано — военный диктатор, президент Боливии с 1865 по 1870 год.

еще Росон-сими, корый отрастил завлекательные усики, играл на гитаре и пел фальцетом.

Миновав покрытый лужами дворик, они вошли в небольшой зал. Вдоль стен выстроились деревянные скамьи, застланные плюшевыми одеялами, диван и пианино; с потолка свисали пропыленные цепи из разноцветной бумаги; главным украшением были литографии: боливийский герб, Боливар Освободитель и генерал Камачо[12]. Оба героя казались конопатыми, так их засидели мухи.

В чичерии собрались несколько кабальеро, они пили чичу. Один из них плясал куэку под звуки пианино, помахивая красным платком над головой Хосефы, а ее муаровые юбки вращались словно пестрый волчок. Прекрасную черноокую чолу завистницы прозвали «вшивой танцоркой».

— Она ужасная гордячка, — объяснил Кадима, — ведь она незаконная дочь доктора Устареса и его кухарки.

Хосефа и правда гордилась своим происхождением и поэтому «имела дело» только с кабальеро и презирала полукровок.

---

[12] Примечания: 12

Камачо Элиодоро — главнокомандующий боливийской армией во время войны с Чили 1879–1880 годов.

Кабальеро и пузатые ремесленники объединились, разгоряченные винными парами и зачарованные пением Росон-сими. Омонте подобрался поближе к красотке и обратился к ней с каким-то комплиментом, но в ответ получил лишь презрительную гримасу и дерзкие слова:

— Ха, дон Безродный! Что это вам вздумалось?

Дом семьи Обандо на улице Санто-Доминго был двухэтажный, с дверьми величественными, как ворота феодального замка. Перед подъездом стояла карета с опущенным дышлом, наглядно свидетельствуя о высоком положении своих владельцев.

Ближе к вечеру из задней двери барского дома быстрым шагом выходила Хесусита в наброшенной на голову черной шали, выставив туго обтянутую лифом грудь. В сопровождении служанки, которая несла за ней плетеную корзину, она пробегала полквартала и на углу сворачивала к пульперии[13], где покупала хлеб и керосин. Донья Клотильда следила за ней с балкона.

Но когда девушка скрывалась за углом, донья Клотильда уже не могла видеть, как поджидавший Хесуситу Омонте преграждал ей путь,

---

[13] Примечания: 13
Пульперия — мелочная лавка и кабачок.

а она, пытаясь ускользнуть от него, сходила с тротуара на мостовую. Пуская в ход и руки, и лукавые взгляды, и полуулыбки, Сенон старался удержать ее.

— Нет, нет… Оставьте меня. Могут сказать сеньору… А сеньора на балконе…

Иной раз Хесусита сопровождала слугу-индейца к колонке, чтобы защитить его право на очередь, которую, пользуясь его тупостью, у него частенько отнимали. Колонка была местом «девичьей погибели» — пока девушки стерегли очередь, местные сатиры осыпали их непристойными шуточками.

На уговоры Хесусита сдалась ровно через месяц. В девять часов вечера, блистая, как всегда, здоровьем, раскрасневшись от смущения, она стояла под спасительной сенью ворот, куда не. проникал с улицы свет городского фонаря, — встречая Омонте, который крался, как волк, прячась за великолепной каретой, мирно дремавшей перед домом.

Подталкивая Хесуситу, он проник через полуоткрытую боковую дверь в дом, и как бедняжка ни сопротивлялась, в конце концов она была побеждена. В коридоре, совсем темном из-за развесистого дерева, затенявшего окно, Хесу-

сита отбивалась, шепотом уговаривая Омонте и, наверно, еще ярче разгораясь стыдливым румянцем, но он ничего не видел, он только на ощупь мог ощутить жар, исходящий от кожи юной самочки.

На углу у дома Обандо Сенон заколебался. Ему надо было сегодня же вечером выполнить наказ дяди, вручившего ему двести боливиано[14] для уплаты долга. Но его беспокоило, что Хесусита, после нескольких месяцев пылкой любви, вдруг перестала выходить на свидания. Днем она тоже нигде не появлялась. Омонте в нерешительности помедлил и прошелся несколько раз перед домом. На верхнем балконе ему почудилась внушительная фигура почтенного кабальеро. Убоявшись, он обогнул квартал и притаился на углу. Все было спокойно, и он снова направился к дому.

И тут в дверях появилась Хесусита! Омонте в восторге бросился к ней, хотя девушка делала ему какие-то знаки. Он был уже совсем рядом, как вдруг Хесусита исчезла, и вместо нее чудом возник сам Обандо-отец, а за его спиной — Обандо, старший сын.

Омонте понял, что попал в засаду.

---

[14] Примечания: 14
Боливиано — серебряная монета, денежная единица Боливии.

Он круто повернул кругом и ускорил шаг, но оба кабальеро бросились вдогонку.

— Эй, чоло вонючий! Стой, сукин сын!

Омонте остановился и решил встретить опасность лицом к лицу. Сеньор Обандо, с ощетинившимися от ярости усами, грозил ему палкой. Их немедленно окружила кольцом толпа индейцев. Схватив Омонте за лацкан пиджака, старый Обандо кричал:

— А, пащенок! Я научу тебя, как оскорблять мой дом! Да я тебя ногами затопчу!

Он не затоптал его ногами, но раза два стукнул палкой. Отвечать тем же такому знатному сеньору было невозможно, и Омонте, растолкав индейцев, пустился наутек, преследуемый Обандо-сыном, который награждал его пинками в зад и громко кричал:

— Хватайте его! Хватайте!..

Крики и топот становились все громче… К счастью, преследователь, оступившись, упал в яму. Омонте свернул за угол и убежал, оставив на поле битвы шляпу, которую отец и сын Обандо унесли в качестве военного трофея.

Весь в поту, едва отдышавшись, Омонте отправился уплатить долг дона Никасио, как вдруг на пустынной улочке, озаренной бледным све-

том, лившимся из окоп чичерии Тустун-сики, он столкнулся с Хуску-пунью и Кадимой, беспечно наигрывающими один на гитаре, другой на чаранго[15]. Дружки затащили его в чичерию. Несколько веселых чол, среди которых выделялась красавица Хосефа, праздновали день рождения ее брата. В углу компания пьяных пыталась успокоить какого-то здоровенного кривого сапожника, а тот орал во все горло, рассуждая на отвлеченные темы.

Кадима запел, аккомпанируя себе на гитаре:

Я почти в тебя влюбился,
и почти влюбилась ты,
на тебе почти женился,
слава богу, лишь почти.

Омонте все больше возбуждался и от выпитой чичи, и от мыслей о полученной трепке. Вдруг он вспомнил о двух сотнях боливиано дяди Никасио. Он вытащил из кармана двадцать.

— Два кувшина чичи, — сказал он громко, чтобы его услыхала Хосефа, и расплатился.

Кадима тут же воспользовался случаем и по-

---

[15] Примечания: 15

Чаранго — маленькая индейская гитара, сделанная из панциря броненосца.

просил у Омонте двадцать боливиано в долг. Делать было нечего, пришлось дать.

Кривой сапожник хриплым голосом выкрикивал здравицы в честь Алонсо[16], но, не встречая поддержки, полез с кулаками на Кадиму, продолжая орать:

— Да здравствует Алонсо, говорят тебе! Да здравствует Алонсо, черт побери!

Однако Кадима был либералом и тоже не ударил лицом в грязь.

— Да здравствует Пандо[17], так-перетак! — крикнул он.

Ударом кулака сапожник уложил пандиста на скамью. Чолы с визгом заметались по комнате, их юбки кружились разноцветным вихрем. Сапожник, в свою очередь, рухнул под кулаком Омонте, но был настолько пьян, что тут же заснул подле своего кувшина.

Захмелевшая Хосефа вступилась за свалившегося на пол сапожника, внезапно почувствовав ненависть к Сенону. Из ее прелестного ротика

---

[16] Примечания: 16

Алонсо Фернандес Северо — президент Боливии с 1896 по 1899 год; консерватор.

[17] Примечания: 17

Пандо Хосе Мануэль — вождь либеральной партии, президент Боливии с 1899 по 1904 год.

вырывались пронзительные вопли:

— Вот всегда так! Всегда лезет не в свое дело этот нахал чумазый!

Сенон возмутился, уловив отвращение в глазах красавицы, и крикнул:

— Эй, ты! Заткнись, вшивая красотка!

Вся вспыхнув, Хосефа так и затряслась от гнева, даже подвески зазвенели у нее в ушах.

— Что ты сказал? Что вы сказали?

Сдвинув набекрень шляпу, уперев одну руку в бок, а другой схватив стакан с чичей, она выступила вперед и, подойдя к Сенону, — бац! — выплеснула ему всю чичу в лицо.

В тот же миг вскочил брат Хосефы, грозя кулаками и крича во всю глотку:

— Это кто здесь вшивый, сукин ты сын! Кто?

Не дожидаясь ответа, он ударил Омонте ногой в живот, а потом пустил в ход и кулаки. Захваченный врасплох, Омонте попятился в дальний угол. Из общего шума вырывались пронзительные вопли женщин.

Омонте утер нос тыльной стороной руки и подошел к обидчику.

— Эй, ты, ублюдок, это был предательский удар. Выходи на улицу, если ты мужчина!

— Вот и выйду!

Толкаясь и крича, все высыпали на улицу, едва освещенную падавшим из окон светом. Противники встали лицом к лицу, и завязалась драка. Они то колотили друг друга ногами, то, хрипя и задыхаясь, сплетались в один клубок, то, расцепившись, снова дрались ногами. Но вот Омонте оступился и упал на землю под зарешеченным окном. Его противник изо всех сил ударил его два раза ногой в бок.

— Не бей лежачего, свинья!

Омонте увидел над собой Кадиму — он отбивался от чол, грозивших ему зажатыми в кулаках камнями. Омонте удалось встать. Цепляясь рукой за решетку, он нанес своему врагу страшный удар ногой в пах.

Чоло захрипел и свалился как подкошенный.

Из чичерии притащили свечу. В лучах бледного света желтое лицо чоло стало страшно.

— Видать, кончился! Помогите!

— Иисус, Мария и святой Иосиф! Помогите!

Хосефа вцепилась в куртку Сенона, она охрипла от крика и могла только шептать:

— Убийца, убийца…

Кадима отшвырнул ее в сторону.

— Беги, беги!.. — крикнул он Сенону. — Скорее, туда…

Уже слышались свистки полицейских и топот копыт конного патруля.

— Сюда, сюда, братец… Удружил ты красавчику. Ему больница, а тебе тюрьма, дело верное.

Омонте, обливаясь потом и кровью, в перепачканной рубашке и изодранной куртке, помчался по улице, свернул на другую и вскоре очутился в доме дона Никасио.

Он зажег свечу и произвел учет своего личного имущества и своих потерь. Жалко было порванной одежды, потерянной шляпы и растраченных сорока боливиано из дядиных денег. Однако он быстро сообразил: «Тюрьма — что за сорок, что за двести. А потом, сам-то он хорош, сундучок с серебром зацапал…»

Кочабамба — чистая, яснoокая женщина на ложе из зеленой люцерны. Безмятежная, неизменная и ласковая, как мать.

Оруро влечет к себе, как разукрашенная порочная девка… Оруро… Оруро…

Сенон Омонте купил в магазине Гердеса кожаные гетры, переметные сумы, несколько коробок сардин, шарф, шляпу, непромокаемое пончо, перочинный нож (все это его брат Хосе-Пепе уступил ему по своей цене) и на третий день после происшествия, ранним утром уселся на мула и с

погонщиками каравана, везущего резину, отправился в Оруро.

Взошло солнце, и Тунари, голубая гора с белой шапкой на вершине, увидела, как он едет вдоль ее склонов, а вокруг волнуется море зеленой листвы и распевают январские птицы.

III

Горная богиня

В этом году (1575), исследуя богатейшую жилу рудника «Сентено» и углубляя одну из его шахт, в ста сорока эстадо [18] от поверхности земли нашли статую ростом в одну и три четверти вары [19], отлитую из различных металлов. Лицо ее было прекрасно, хотя глаза почти не выделялись, и сделано оно было из серебряного блеска; тело до пояса — из светлой красной руды; руки — из разных сплавов; ног у нее не было, и, начиная от пояса, она становилась все уже, заканчиваясь острым зубцом; эта часть вся была из черного серебра.

На Боливийском нагорье земля раскинулась широко, словно небо. Вдали от океана, вдали от всего мира начинаются они, и небо и земля, — на высоте четырех тысяч метров над уровнем мо-

---

[18] Примечания: 18

Эстадо — мера длины, примерно равная среднему человеческому росту.

[19] Примечания: 19

Вара — мера длины, равная 83,5 см.

ря и идут дальше, за линию горизонта, теряясь в безграничном пространстве, где волнистая пампа переходит в нескончаемое нагромождение вершин и сливается с необъятным голубым простором.

Земля, поднимаясь к небу бесчисленными ступенями, вздымается, низвергается, снова идет вверх, проваливается, собирается в складки, создает стада гор, — и все не может достичь горизонта. А там, по всему боливийскому Западу, раскинулись в дикой геологической наготе Кордильеры, словно земля другой планеты, соединенная с нагорьем силой притяжения, дождями и ветром, но хранящая в своих космических громадах безмолвное воспоминание о далеких породивших ее звездах.

В недрах этого застывшего океана, под островерхими волнами горных цепей, затаилась Богиня металлов. Богиня или колдунья?.. Что хранит она: серебро, золото, медь или олово?

Это непостижимое существо растет из самого сердца планеты. Его некогда однородная материя претерпела немало изменений, пробиваясь сквозь трещины в скалах, где были заперты неистовые атомы, рвущиеся на свободу из каменной темницы, подобно слепой подземной

туманности, которая стремится выйти вновь на потерянную орбиту.

В бездонной глубине злая колдунья обдирала свое огромное тело, проползая между порфировыми колоннами, по базальтовым переходам подземелья, срываясь с крутых выступов, падая на сланцы и песчаник, карабкаясь по гранитным плитам туда, туда — к самой поверхности земли, чтобы подстеречь искателя руды, живого человека, который бродит среди мертвой неподвижности окаменевшего мира.

К ее владениям ведут невидимые пути по твердой земле нагорья, по жесткой траве, исцарапавшей ноги холодному ветру. Бескрайняя пустыня, бесплодная горная степь и сфинксы вершин стерегут в каменном кругу нерушимое безлюдье царства колдуньи.

На поверхности земли правит добрая богиня Пача-мама — разливая волны прозрачного воздуха, она одевает горы зеленью и багрянцем. А в глубине таится зловещая богиня горного мира, коварная и лицемерная. Она ненавидит солнце и губит души людей. Она питается кровью. Она не знает любви, но владеет тайной сочетания атомов и творит металлы.

Грудь ее сделана из серебра, соски из светлой

руды цвета топаза. Однажды в начале 1545 года индеец Уанка разбудил ее в недрах холодной горы Потоси, и целых три века серебро в его природных формах: роговое, черное, светлая красная руда, серебряный блеск, самородки; серебро, превращенное потом в монеты, драгоценности, фигурки, церковную утварь, алтари, — целых три века это серебро било ключом из груди богини и, поднимаясь по пяти тысячам шахт горы Потоси, шло на потребу Испанской империи в обмен на кровь восьми миллионов индейцев, принесенных в жертву Жаждущей богине.

Голова ее — из золота. Огненно-рыжие волосы разметались среди вулканических гор, ниспадая косами на зеленое ложе долины, извиваясь в реках, омывающих тропические леса Боливии. С незапамятных времен инки вырывали у богини ее золотые волосы и воздвигали алтари богу Солнца, своим поклонением. платя выкуп за подземный золотой огонь. Но испанские конкистадоры возродили другой, не менее древний, роковой культ; они воздвигли своим богам алтари из сплава золота и крови, а золотое солнце храма Инти[20] разыграли в кости.

---

[20] Примечания: 20
Инти — у инков храм бога Солнца.

Сыны Солнца выгнали испанских пришельцев. Колдунья уснула, забытая всеми, и тысячи шахт зияли, как раны, в вечном камне. Но вот и метисы познали злые чары израненных темных глубин, где спят неистощимые богатства чародейки, где скрыты ее золотые глаза, ее руки из сурьмы, ее бока из меди и живот из олова. Белый дьявол нового поколения метисов ринулся на поиски сокровищ и, подчиняясь адской власти, принес в жертву богине индейцев, ибо коварной нужны человеческая кровь и плоть, чтобы поставлять металл промышленности, а души — сатане.

Жадные люди надеются покорить ее, усыпив заклинаниями.

Они наделяют ее поэтическими эпитетами: «Желанная», «Сулящая надежду», «Вожделенная», «Вновь обретенная», «Приносящая счастье», «Чудесная».

Расточают ей хвалы: «Сказочная», «Посланница судьбы», «Прекрасная», «Спасительница».

Дают ей имена великих женщин и святых: «Мария Пресветлая», «Принцесса Кристина», «Бланка», «Святая Роса», «Пресвятая Мария Златохранительница».

А иной раз и оскорбляют, желая отомстить: «Шлюха», «Вонючка».

Мрачная горная богиня — таинственная, лишенная измерения и формы, жадная и тоскующая — пускает в ход силы своей подземной власти, стремясь погубить человека, это странное, непонятное ей существо. Разметавшись в глубине, она разрушает штольни и убивает рудокопов или отравляет их своим ядовитым дыханием, несущим чахотку и силикоз.

Скованная беспросветной тьмой, она живет во мраке, призывая себе на помощь честолюбие, капитал и болезни.

Что же хранит она — золото, серебро, олово?..

Так это и есть Оруро? Ни деревца, ни травинки. Холодная обрывистая гора, подобно идолу, высится над домами. Дома по большей части одноэтажные, крытые соломой, с дверьми, похожими на беззубый рот, и выпяченными застекленными балкончиками, так называемыми «фонарями». Встречаются и крыши из оцинкованного железа, ветер скользит по ним, завывая, и от этого воя сердце леденеет, как холодное железо.

Закутанные люди с красными от ветра глазами; навьюченные ламы, обросшие густой шерстью и гордо несущие на длинной шее маленькую головку с глазищами из черного алмаза; грязные отели, забитые белыми и метисами в сапогах, в

грубых кожаных и шерстяных куртках или вигоневых пончо; а на пустой, выложенной холодным камнем площади — бар со стеклянной дверью, сквозь которую Омонте рассмотрел блестящие столики, отраженные в зеркалах, и краснорожих гринго, с видом победителей распивающих какие-то странные напитки.

На следующий день он увидел и поезд, прибывший из Антофагасты. Толпы людей, посиневших, с красными носами, кутаясь в шарфы или пончо, встречали его, как никогда не увядающую новость. Гринго, приехавшие на поезде, курили трубки и с презрением белокурых конкистадоров смотрели из окон на этот пораженный удивлением меднокожий сброд. Омонте, дрожа от холода, засунув руки в карманы и приподняв плечи, во все глаза смотрел, как выходят гринго из поезда и в сопровождении слуг, несущих за ними чемоданы, идут сквозь толпу индейцев, а паровоз шумно выбрасывает плотные клубы дыма.

— Сенон, поедешь с нами?

На постоялом дворе для погонщиков и крестьян Сенон занимал одну комнату с Тринидадом Кирогой и Хуанчо Каламой.

— Нет, хочу наняться, в какую-нибудь торговую фирму.

За дверью в коридоре громоздились мешки с зерном и разная упряжь.

— А вы куда завтра?

— Везем грузы на Алантанью, в Поопо!

— Это что, рудник?

— Нет, не рудник, только обогатительная фабрика.

— Обогатительная фабрика?

— Понимаешь, — объяснил Хуанчо Калама, — руду, которую добывают здесь, в ближних рудниках, везут туда, чтобы там ее сделали получше. Разные есть рудники. В нашей стороне «Мариэта», «Канделярия» и «Уануни». А в сторону Чальпаты будет «Унсйя», а еще дальше — «Лья-льягуа». По железной дороге можно доехать до Уйюни, а оттуда в Уанчаку, это самое богатое место. Там добывают серебро. Пеоны прячут серебро, как могут, даже засовывают его в себя сзади. А тогда знаешь, что делают хозяева? Ха-ха! У выхода на шахты, вот на такой высоте, установлен горизонтальный брус, и каждого поодиночке заставляют подтянуться на руках и подогнуть ноги. Человек слабеет и… бац! Серебро падает на землю.

Хуанчо и Тринидад отправились в путь. Потом вернулись. Потом снова уехали. Сенон

снял комнату в приземистом домишке с соломенной крышей и просторным патио. В доме жили две нарядные чолы; они щеголяли в ярких шелковых юбках, и к ним приходили богатые горнопромышленники выпить и повеселиться, укрывшись от ночного холода, посеребрившего камни, мостовой.

Однажды ночью, томясь в одиночестве, Омонте прислушивался к звону гитары и голосам, доносившимся из комнаты чол. Когда дверь открывалась, он успевал увидеть мужчин в высоких сапогах и женщин, которые пили и танцевали в клубах табачного дыма. Вдруг поднялся шум, веселье прервалось, и какой-то тип выскочил из комнаты, за ним другой, а обе чолы подняли отчаянный крик:

— Он убьет его! Убьет!

Омонте бросился в патио и обхватил преследователя сзади обеими руками, другой тем временем выбежал на улицу.

— Пусти меня! Пусти!

— Сейчас отпущу… сейчас отпущу…

Омонте отпустил его. Их окружили чолы и другие мужчины.

— Ну, ничего, ничего. Пойдем обратно. Вы тоже заходите, сеньор. Выпейте с нами стаканчик.

Извините, что не дали вам поспать.

Все вернулись в комнату, и пошла прежняя веселая кутерьма при тусклом свете керосиновой лампы.

За столом спокойно сидел, так и не сдвинувшись с места, широкоплечий белокурый мужчина. Разноцветные кружочки конфетти, прилипшие к усам и запутавшиеся в волосах, несколько смягчали суровое выражение его лица.

— Видели? Видели? Он разбил мне губу!

Белокурый мужчина отмахнулся:

— Пустяки. Ну и задира тот парень. Дайте-ка стакан писко[21]. Это лечится каплей писко снаружи, — намочив платок, он приложил его к ране своего собеседника, — и другой каплей — внутрь. — И, поднеся ему стакан к губам, он заставил выпить его содержимое залпом.

Одна из чол примирительно сказала:

— Его уже здесь нет, он уже далеко. Да и вы все тоже его задирали. Ведь мы у себя не принимаем кого попало… А теперь — ваше здоровье, приятель, и жить вам сто лет.

Другая чола подошла к Омонте.

---

[21] Примечания: 21

Писко — виноградная водка, которую изготовляют в городе Писко.

— Мы вас побеспокоили, молодой человек! Ну вы и силач! Уж вы нас извините. Все мы перехватили немножко, пили за здоровье дона Риго. Выпейте и вы с нами.

Она поднесла ему кружку с пивом. Омонте выпил. Он все время приглядывался к белокурому кабальеро. Не тот ли это, у кого в Карасе свалился в реку золотой мул? Он, он самый! Немного поседел, а усы, как прежде, огненно-рыжие, только отросли подлиннее. Омонте не сводил с него глаз, пока тот не обернулся. Поглаживая рукой усы, он приветливо сказал:

— Угощайтесь, молодой человек. Угощайтесь.

— Благодарствуйте, дон Риго.

Но дон Риго не обратил внимания на попытку Омонте напомнить о себе. Тогда осторожными расспросами Омонте все-таки дознался, что это дон Ригоберто Ренхель (он самый!), скупщик руды. Он праздновал в отеле свой день рождения, вдали от семьи, которая жила в Сукре, потом друзья уговорили его нагрянуть к этим веселым девушкам.

Пьяное веселье возобновилось, кто-то из гостей взял гитару, одна из чол пела, другая — плясала куэку, сначала с доном Риго, потом с Омонте. Обсыпанный конфетти стол ломился от бутылок

с вином, писко и пивом.

Проплясав куэку, Омонте подсел к дону Риго.

— Вы, верно, не узнали меня? Нет? Помните Карасу? Дон Риго теребил усы, напрягая память.

— Караса, Караса, да, да… Вы из Карасы? Напомните-ка мне… Я стал немного забывчив…

Омонте, улыбаясь, спросил:

— А помните золотого мула? И тату Морато?

Тут лицо дона Риго просияло, и он с удивлением воскликнул:

— О! Вот оно что! Тот самый паренек, что помог мне выловить ящик. Ну, брат, обними меня. Кто бы мог подумать! Ведь прошло, погоди-ка, прошло не меньше десяти лет. Давайте выпьем за моего старого друга, который стал мужчиной. И даже с усами!

Воспоминания о случае на реке Карасе привели к новым возлияниям. Усевшись с Омонте в уголке, под портретом императора Франца-Иосифа, дон Риго стал рассказывать ему о своей жизни, о своем положении, предлагая работу в Уйюни, но Омонте уже ничего не соображал и только тупо глазел на портрет императора.

Мужчины и женщины то и дело выбегали по нужде во двор. Омонте тоже вышел и почувствовал на лице холодное дыхание ночи. Он увидел

женщину, присевшую на корточки; когда она встала, над каменными плитами поднялось облачко пара и растаяло в кристальном воздухе, пронизанном лунным светом. Это зрелище поразило его.

Дон Риго, уже совершенно пьяный, бахвалясь своим положением, хотел послать кого-нибудь со своей визитной карточкой в отель за шампанским, но друзья отговорили его и увели спать.

Омонте пошел вместе с ними и удостоился чести поддерживать пьяного дона Риго под руку.

— До завтра, сеньор.

Голоса на улице постепенно замерли, и в доме наступила тишина. Омонте, тоже изрядно пьяный, побрел к себе в комнату, собираясь лечь спать, но передумал и вернулся к чолам. Открыв дверь и впустив с собой луч лунного света, он увидел, что обе женщины, захмелев, уснули. Пробравшись ощупью через комнату, он попытался разбудить одну из них. Женщина замотала головой по подушке. Он попробовал растолкать ее, потом засунул руки под теплые юбки. Чола не сопротивлялась, она только глухо что-то пробормотала, когда Омонте прижал ее к себе. Потом он вернулся в свою комнату и лег спать.

Погружаясь в тяжелый сон, он слышал отзвуки

странных незнакомых слов: «...Алантанья, медный колчедан, обогатительная фабрика, Уйюни, серебряный самородок» — и видел лица Франца-Иосифа и дока Риго, мелькавшие в облаках конфетти.

Омонте нанялся по рекомендации дона Риго Ренхеля на службу в торговый дом Боттгера. Хозяин — дон Арнольдо Боттгер — был долговязый, сухопарый австриец, причесанный на прямой пробор, с двумя аккуратными завитками по обе его стороны. На носу у него сидели очки, прикрепленные черным шелковым шнурком к лацкану черного сюртука. Приехав в Боливию в 1870 году, он стал одним из первых служащих «Рудной компании Колкечаки», но потом занялся исключительно коммерческой деятельностью в районе рудников и основал торговый дом в Оруро с филиалом в Уйюни.

Омонте дали комнату при складе; обедал он в харчевне, которую содержала чола из Кочабамбы. Он поднимался в пять часов утра и приступал к отправке грузов, выполняя распоряжения дона Непомусено Рамоса, сурового пожилого человека с воспаленными глазами и пышными усами.

От холодного ветра Оруро еще ярче разгорались румянцем щеки Омонте, топорщились короткие

нечесаные волосы, слезились лишенные ресниц глаза. Он торопился до восхода солнца распределить грузы и выписать накладные: «Колкечака, хозяину пульперии… ящик свечей, двадцать пакетов крахмала, ящик банок с сардинами, двадцать кинталов[22] муки».

— Грузи, грузи…

Индейцы в коротких черных пончо, в штанах до колен, наподобие испанской одежды колониальных времен, навьючивали лам и ослов, выходили в пампу и расползались, как муравьи, под огромным голубым куполом неба, направляясь в таинственные, скрытые в далеких горах местности, которые назывались рудниками.

А Омонте все выводил, держа перо в красных распухших пальцах: «Уанчака, хозяину магазина: четыре ящика динамита, двадцать кайл, четыре бура, десять штук холста» двадцать мер крепежного леса». Лес пойдет в повозках…

Выходит солнце и разливается по нагорью. Повозки с грузами отправляются на станцию, к поезду. Взамен этих грузов поезда и караваны вьючных животных привозят в Оруро мешки с рудой. Если мешки доставляют на своих ламах

---

[22] Примечания: 22
Кинтал — мера веса, равная 46 кг.

индейцы, их сгружают в амбаре при складах Боттгера — большом помещении с кирпичными стенами и железной крышей. Стоя за оцинкованным прилавком, Омонте распоряжается приемкой маленьких тяжелых мешков» складывает и пересчитывает их. Иногда мешки развязывают:

— Велико ли содержание металла?

Дон Непомусено скребет затылок, растирает между пальцами щепотку черного песка.

— Процентов пятьдесят пять… Серебра, должно быть, два процента…

Вот так, на глаз и на ощупь, определяется качество руды, и вся она потом идет по железной дороге в Антофагасту, в морской порт… В обмен на черный песок приходят денежные переводы и векселя на имя сеньора Боттгера. Он обменивает их на фунты стерлингов и под ревнивым взглядом Омонте прячет деньги в железный ящик в конторе, где с ним вместе работают еще один француз и один чилиец.

Торговый дом Боттгера это — продажа оборудования для рудников; склад взрывчатки; магазин предметов первой необходимости; скупка и хранение руды; банкирская контора, ссужающая горнопромышленников деньгами для ведения работ.

— Дома сеньор Боттгер?

В дверях стоял какой-то красноносый, заросший щетиной человек в драном шарфе, засаленной шляпе и грязной рубахе.

— Нечего. Уехал в Уйюни.

— Что ж, там его и найду. Я тоже завтра отправлюсь. Заполучил кого надо.

— Кого? — спросил Рамос.

— Да этого индейца, великого изыскателя.

— Того индейца?

— Того самого. Выслеживает жилу лучше любого инженера.

— Образцы у вас есть?

Пыжась от гордости, пришелец выложил на ладонь отливающий металлом кусок руды. В ответ Рамос только презрительно фыркнул.

— Если хотите видеть настоящую руду…

И он, открыв ящик, вытащил какой-то камень и показал, самодовольно улыбаясь.

— Вот это стоящее дело. Чистый касситерит…

— Где его нашли?

— Ха-ха!.. Так я вам и сказал! Этот секрет миллионы стоит…

Немного позже в магазине появился заморыш Удаэта, выходец из Потоси. Раньше у него водились деньги, но он их потерял, когда ушла

найденная им жила. На ее поиски он тратил все, что зарабатывал как писец в конторе рудника.

Омонте почуял исходящий от него винный запах.

— У меня теперь работают два пеона в шахте. Прошли уже пятнадцать вар. Еще десять, и я перережу жилу.

— Что ж, бог в помощь, — иронически откликнулся Рамос.

Удаэта продолжал, обращаясь к Омонте:

— Но лучше бы перерезать ее повыше. Слушай, что ты тут даром киснешь за прилавком. Вытяни ссуду из старика.

— Из старика?

— Ага, из Боттгера. Мы с тобой войдем в компанию. Он, если захочет, тоже станет компаньоном. И через год… клянусь тебе, поедем в Европу.

— Сеньор Боттгер слышать больше не хочет о рудниках.

— А если увидит вот это?..

Удаэта расстегнул рваное пальто и вытащил из кармана куртки образец.

— По крайней мере, две тысячи марок[23]. Олово там тоже есть.

---

[23] Примечания: 23

Марка — мера веса для золота и серебра, равная 230 г.

— Но олово ничего не стоит, — заметил Омонте. — Отбросы.

— Кое-что все-таки стоит. Тут платят десять песо за кинтал. В Антофагасте — фунт стерлингов. Хотел бы я, чтобы Боттгер посмотрел этот рудник. Замечательный рудник! Найти жилу — и через год миллион в кармане.

Рамос грубо перебил его:

— Эй, заморыш, лучше бы подумал о жене и детях. Своими сказками их не накормишь.

— Это ты сказки рассказываешь… Не твое дело, сукин сын…

— Что? Сукин сын?..

Омонте вмешался и положил конец ссоре. Удаэта медленно вышел из магазина, и тогда Рамос рассказал, что жена и дети Удаэты голодают. Жена печет пирожки и тайком посылает служанку продавать их на улицах и на железнодорожной станции. А муж утешает ее, суля в недалеком будущем миллионы. Все надеются разбогатеть за один день и в этой надежде всю жизнь остаются нищими.

Когда французский инженер Гувен прибыл в Боливию, о нем шла слава, что на парижской всемирной выставке в 1889 году он получил премию за какое-то изобретение. Теперь это был старик

с неопрятной седой бородой, в рваной одежде. Он, как индеец, жевал листья коки, нюхал табак, шатался по кабакам, напиваясь за счет друзей и незнакомых, но все время твердил одно и то же:

— Недаром мой рудник называется «Сюрприз». Для начала нужно одно — тысяча боливиано, и через месяц… готово!

Искатели руды ловили удачу, пуская в ход фантазию и сомнительные воспоминания, предлагая участие в баснословных барышах, но неизменно под ссуду деньгами или товарами.

Удача с рудником «Гальофа» была одним из тех невероятных случаев, что снова и снова возрождали надежду на богатство в душах нищих горнопромышленников.

Вдова Рендон торговала в жалкой лавчонке хлебом и кокой, а по утрам продавала индейцам маисовую кашу. После смерти мужа ей достались акции компании, которую он основал с какими-то югославами для эксплуатации «Гальофы». И вдруг в руднике открылась мощная жила. Вдова сразу разбогатела. Она купила двухэтажный дом. В день своего рождения убрала фасад нового жилища яркими полотнищами с серебряными украшениями и устроила роскошный прием. Вечером она вышла на балкон и, наполнив це-

лый таз серебряными монетами, высыпала их на улицу в толпу индейцев и чоло.

— И мне монетку! И мне! — орали мальчишки, ползая по земле.

И, подняв толстые, унизанные браслетами руки, вдова вылила на толпу еще один серебряный поток.

Изо дня в день слушал Омонте и в магазине, и на продуваемых ветром улицах, и в кабачках, и в харчевнях рассказы честолюбцев и мечтателей о будущих миллионах, — ведь для этого нужен лишь ничтожный первоначальный капитал, а затем он, как по волшебству, умножится в недрах земли. К поискам этого капитала они стремились привлечь всех.

Живущие в Оруро адвокаты, сидя в своих выстуженных конторах, среди холодных, как лед, бумаг, направляли и воодушевляли все эти маневры.

Доктор Сенобио Лоса, черный высохший человечек с провалившимся беззубым ртом, писал просьбы о предоставлении отвода, давал советы, а порой, опьяненный всеобщим безумием, вступал в компанию с просителями, вел дела даром, составлял фантастические нотариальные акты, в которые вносил пункты о ликвидном имуще-

стве, свободных акциях и тому подобном. В этих актах фигурировали как компаньоны владелец ничтожного капитала, работающий в руднике горнопромышленник и сам адвокат.

А там, в горных далях, бродил искатель руды. Он уже получил отвод и вошел в компанию. Затерянный в горах, в диком безлюдном краю, сидит он, скорчившись рядом с проводником-индейцем под нависшей скалой и, стуча зубами от холода, пережидает ливень, чтобы снова продолжить путь к сокровищам недоступной богини.

Искатели руды — это особая порода одиноких особен, разбросанных по огромной зоне Оруро, Порко, Чаяиты, Уануни и Липеса. Они блуждают пр горам боливийского края, словно колония расчлененных атомов, между которыми все же существует какая-то таинственная связь, порожденная стремлением к одной и тон же цели. Десятки лиг отделяют одну деревушку от другой, один рудник от другого. Бесплодная земля простирается вокруг, словно вечная пустыня, изъеденная неведомыми насекомыми.

Повсюду, где давние легенды или реальные приметы сулят присутствие металла, бродят одержимые, полубезумные люди, карабкаясь по горным кручам, а кругом, кроме них самих, нет

ни признака жизни.

Однажды дождливым вечером сеньор Боттгер вызвал Омонте в контору и отослал его с каким-то поручением. Когда Омонте вернулся, он застал на месте только Рамоса; тот беседовал с двумя незнакомцами в шерстяных пончо и рваных сапогах, из которых торчали наружу голые пальцы. Сквозь шум дождя, барабанившего по железной крыше, Омонте только и слышал: «Опорто… Саенс… Льяльягуа…»

— Приходите на следующей неделе, я поговорю с сеньором Боттгером, — сказал Рамос, прощаясь с таинственными посетителями.

Когда они ушли, Рамос пригладил усы, пристально взглянул на Омонте и тихо сказал:

— Так я и говорил. Именно там. Поди-ка сюда.

Он открыл ящик и вытащил образец руды.

— Помнишь эту штуку? Говорил я тогда, что эта тайна стоит миллионы?

— Да…

— Так вот, эта руда найдена там, откуда пришли эти типы. Между владениями Саенсов и Опорто, в Льяльягуа. А теперь… Вот что… Хочешь войти в компанию? Я мог бы сговориться с каким-нибудь миллионером, но он, пожалуй, сожрет меня.

Омонте в сомнении потер руки, но возбужде-

ние Рамоса придало ему решимости:

— Ноу меня ведь нет денег…

— Попроси аванс у Боттгера, только не говори для чего. Я уже подал заявку. Надо оплатить патент и приступить к изысканиям. И уже через год… через год… я…

Ему не хватило слов для определения своего будущего величия.

Омонте получил в долг у Боттгера нужную сумму и стал компаньоном Непомусено Рамоса при разработке участка «Монтекристо» площадью в сто гектаров, расположенного в рудном районе Чанянта над горами Льяльягуа. Рамос отправился на рудник. Омонте остался на складе Боттгера.

Все главные серебряные рудники закрывались. Началась погоня за другими металлами. Шел слух, что где-то далеко на северо-западе бразильцы воюют с боливийцами за каучук. Омонте так и не двинулся из Оруро, пока два человека — испанец дон Хосе Сентено, клиент их торгового дома, и индеец Северино Уачипондо, погонщик лам, возивший грузы в Чайянту, — один своим красноречием, а другой мягкой настойчивостью, — не соблазнили его ступить на таинственную тропу, ведущую в сказочное царство скрытой в горах богини. Недаром звучал ее зов в порывах вет-

ра, бичующего Оруро колкой металлической пылью.

К Северино Уачипондо удача пришла только на одну ночь. Это был обыкновенный индеец-аймара, который закончил бы свою жизнь так же, как начал ее, обрабатывая землю в своей общине, в Сикасике, или нанимаясь в услужение, если бы однажды в его сельский покой не ворвалась с топотом конских копыт буря «федеральной революции»[24] поднятой Пандо.

По зову метиса с белой кожей и черной бородой индейцы покинули свои хижины и поля. Словно повинуясь центростремительной силе, они собрались беспорядочной ордой со всех концов огромного плато и бросились в бой с войсками правительства аристократов.

После сражения под Крусерос, недалеко от Оруро, уцелевшие солдаты разбежались по нагорью, преследуемые индейцами. Иные из них скакали верхом по обширной равнине, где со всех сторон подстерегали их враги, дети этой земли, разорвавшие свои путы, индейцы, которые, не подчиняясь больше партии Пандо, видели в рево-

[24] Примечания: 24

«Федеральная революция». — Имеется в виду восстание 1898 года, возглавленное либеральной «революционной хунтой»; в результате восстания к власти пришел Пандо.

люции лишь возможность убивать белых. Другие уходили пешком в открытое беспредельное пространство. Чудесная ясность нагорья поражала беглецов, как проклятье. Вокруг не было ничего, кроме небесной, почти нематериальной прозрачности разреженного воздуха. Ни укрытия, ни холмика, ни деревца на голой плоской земле. И безоружный, погибающий от жажды беглец направлял путь в горы, терпеливо стоящие под ударами ветра.

Он шел и шел, его несло как песчинку, затерянную в безбрежном времени. Но обернувшись назад, он видел вдали черные точки: это были индейцы, они возникали, подобно дневным звездам, в серой дали горизонта.

А впереди, на горных склонах, разноцветными пятнами появлялись другие индейцы. Они постепенно вырастали, приближаясь как медленная смерть, и беглец видел яркие пончо, слышал пронзительные вопли, различал медные лица, и вот уже совсем рядом сверкала в их огромных глазах разбуженная ярость порабощенной земли.

Водоворот красок, криков, ударов захлестывал белого. В последней безнадежной попытке он еще раз устремлялся вперед под равнодушным взглядом огромного ясного неба и падал, сражен-

ный копьями и камнями, вдавленный в землю вместе с жесткой горной травой.

Труп оставался лежать посреди нагорья. Безлюдные просторы меняли окраску, точно озеро, и теперь уже орда победителей наблюдала, удаляясь, как постепенно исчезает, словно погружаясь в утробу земли, эта маленькая обнаженная звезда — растерзанное тело белого человека.

Вскоре после битвы под Крусерос индейцу Уачипондо надоело бесплатно служить в революционных войсках, и он вернулся на свою делянку. Другие индейцы еще не возвращались, и в редких хижинах, разбросанных по всей пампе, не слышно было даже лая голодных псов.

Однажды вечером лучи раскаленного, как жар, заходящего солнца заглянули в хижину. Когда небо угасло и пепельно-серый холод спустился на нагорье, Уачипондо собрал сухие стебли яреты, разжег костер и, усевшись перед огнем, стал жевать коку, ни о чем не думая, только двигая челюстями.

Так он жевал жвачку, сидя под звездным небом. Но вдруг какая-то тень заслонила звезды. Он поднял голову и увидел словно свалившегося с неба человека — белого человека без шляпы, который дрожал от холода и страха. Где-то далеко

раздался свист, — должно быть, его преследовали. Уачипондо посмотрел на беглеца. Впервые он почувствовал себя сильнее белого человека. Он встал.

Белый, усиленно жестикулируя, пытался что-то втолковать ему:

— Тата, меня убьют! Не кричи! Ты один? Я дам тебе денег. Вот они, деньги!

Он вытащил из-за пазухи пачку ассигнаций. Потом сунул голову в дверь и оглядел темную хижину.

— Пойдем туда, тата, — сказал он.

Свет костра проникал в хижину.

— Тысячу боливиано! Тысячу боливиано тебе! Понимаешь? Ты должен отвести меня в Оруро так, чтобы никто не видел. Ты — в Оруро, я — дам деньги. Понимаешь?

Наконец Уачипондо заговорил:

— Оруро? Да, я отвести тебя.

Белый присел на заменяющие табурет кирпичи.

— Поесть, поесть, — сказал он. — Я дам деньги. Бери.

И он сунул ему в руку пачку ассигнаций.

— Потом я дам тебе еще. Да?

Индеец развернул грязную тряпку и достал

несколько яиц. Он вскипятил воду, сварил яйца и подал белому. Тот жадно набросился на еду.

— Ты дашь мне пончо и шляпу, и мы с тобой пойдем в Оруро. Да?

Уачипондо подвязал тряпками свои сандалии, нашел старое пончо, белый завернулся в него, и они отправились в путь. Их шаги гулко звучали в тишине, а кругом далеко, до самого звездного неба расстилалась черная однообразная земля. Они шли несколько часов, пока перед ними не выросла какая-то темная хижина, заслонив сиявшие впереди звезды. Залаял пес, они остановились. Уачипондо вошел в хижину и заговорил с индейцами.

Белый хотел было бежать, но черное пространство ослепило его. Вдруг он различил рядом с собой какую-то тень.

— Пойдем? — спросил он робко.

Но это был не Уачипондо, а другой индеец. Он ничего не ответил. Возникла еще одна тень.

— О, я дам вам денег! Оруро! Оруро! Боже мой!..

Яростная схватка, скользящие шаги, вопль, похожий на вой раненого зверя, потом слова на языке аймара, отрывистая, взволнованная речь индейцев… А на горизонте, над по-прежнему черной землей небо становилось нежно-зеле-

ным, розовым и, наконец, алым, таким же алым, как кровь белого человека, убитого ножом и камнями.

Вот так удалось Северино Уачипондо заполучить небольшое состояние. Разделив деньги с товарищами, он спрятал свою долю под рубахой, и если раньше он менял ее каждый год, то теперь не снимал, даже когда женился. Он купил себе участок в окрестностях Айоайо и сеял ячмень и оку.

Но через два года, при правительстве, которому сами же индейцы помогли прийти к власти, белые и метисы стали преследовать индейцев, замешанных в убийствах, и отправлять в их селения карательные экспедиции. Конные отряды разоряли деревни, жгли дома, уничтожали посевы.

Индейцы разбежались. Солдаты хватали как заложников женщин и детей, среди них были жена и сын Уачипондо. С дальней горы Уачипондо видел дым, поднимавшийся над его хижиной, которую подожгли солдаты-индейцы, по приказу метисов, хотя и метисы два года назад убивали белых. Тогда все нагорье бушевало, словно море в бурную погоду. Потом буря улеглась, и снова лежало оно спокойное, ровное, неизменное,

переливаясь неуловимыми оттенками серого и желтого.

Уачипондо ушел в горы провинции Инкисиви и осел в рудной зоне Оруро. У него еще оставалось немного денег, на них он купил себе вьючных лам. Он стал погонщиком и, доставляя йа рудники сельскохозяйственные продукты, а оттуда — мешки с рудой, исходил вдоль и поперек металлоносные земли между Колкечакой, Чаянтой, Унсией и-Оруро.

Во время переездов случалось, что ламы отдыхали и паслись по нескольку дней на одном месте, подкрепляясь ячменем или травой. Уачипондо оставлял их на попечение помощника, а сам отправлялся в горы на поиски рудников, заброшенных еще с колониальных времен и известных индейцам по преданиям, или же разбивал лежащие на поверхности обломки, в погоне за сверкающими камешками, которые приворожили к себе белых людей.

Омонте, словно зачарованный, слушал рассказы испанского коммерсанта Хосе Сентено. Грубый расчет и корысть, которые вели горнопромышленников в их жажде мгновенного обогащения, превращались в его фантастических историях в бескорыстную волшебную мечту.

Сентено переселился в Оруро из Пулакайо. Омонте часто встречал его в баре «Барселона», где пили коктейли. Это был маленький лысый человечек с седыми висками и выпяченной верхней губой, — она так выделялась вперед, что казалось, будто рот у него открывается под подбородком. В Омонте он сразу обрел покорного, неискушенного слушателя и ученика.

Он рассказал ему, как приехал в Боливию в 1875 году и вместе с доном Грегорио Пачеко основал компанию «Гуадалупе». «Крупная компания, но один из директоров оказался интриганом, он стал меня шантажировать, и, чтобы не надавать ему пощечин, пришлось уйти из дела; впрочем, с доном Грегорио я остался в наилучших отношениях».

С тех пор Сентено занялся торговлей, законной и незаконной, в районе рудников.

— Дела идут час от часу хуже, — жаловался он Омонте. — Контрабандой серебра нечего и заниматься. Раньше это было прибыльное дело. За фунт коки рудокоп давал десять унций серебра. Но теперь рудное управление с них глаз не спускает. В Пулакайо у меня хотели отобрать серебряный самородок, заявив, что я украл его! А я, видит бог, купил его у рудокопа! Теперь я

предпочитаю покупать у пеонов товары, которые они воруют в лавке, и перепродавать их, а взамен привозить спирт и агуардьенте[25]. Надо как-то жить. У меня, знаете ли, жена и племянница жены, а она нам все равно что дочь.

Тут подошли заморыш Удаэта и доктор Сенобио Лоса. В баре было холодно.

— Чаю с агуардьенте. Погорячее!

— Мне тоже.

— А мне чистого агуардьенте…

— Возвращаетесь в Пулакайо, дон Хосе?

— Нет, дружище, нет. Там теперь все вымирает, как в Потоси.

— Один английский инженер написал статью, говорит, надо разрушить всю гору Потоси, потому что ее основание состоит из чистого серебра.

— Скажите, какая новость! — усмехнулся Сентено. — Но сейчас руда есть только в Уанчаке, это точно. Я обошел всю Боливию и знаю рудники как свои пять пальцев. Колкечака исчерпана. А Уанчака — это второе месторождение в мире. По добыче его превосходит только Брукен-Хилл, в Австралии.

— Его открыл Аргандонья, да? — спросил док-

---

[25] Примечания: 25
Агуардьенте — виноградная водка.

тор Лоса.

— Нет, дон Анисето Арсе, — ответил Удаэта.

— Стоп, стоп, — прервал его Сентено. — Открытие этого месторождения теряется во тьме времен. Вы, должно быть, слышали, что индейцы давно знали о залежах металлов, которые испанцы потом «открыли» второй раз. Об Уаичаке известно, что в XVIII веке там началась выработка жилы «Тахо» и продолжалась вплоть до Войны за независимость, когда работы приостановились. Говорят, будто потом, при маршале Санта-Крусе[26], снова пытались приступить к добыче. Может быть, — чего не знаю, того не знаю. Много лет спустя некий искатель руды, метис Аргандонья, оказал услугу одному индейцу. А тот из благодарности открыл ему тайну, которую бесчисленные поколения индейцев передавали от отца к сыну. Через страшные голые степи Порко он повел его к месту, где хранилось сокровище… Но это не был клад, спрятанный людьми. Это были сокровища, приготовленные для Аргандоньи самим господом богом. Подумайте только! За тринадцать лет оттуда извлекли четыре тысячи пятьсот двадцать тонн серебра! Есть сигарета?

---

[26] Примечания: 26

Санта-Крус Андрес — президент Боливии с 1831 по 1839 год.

Слушатели поторопились дать ему сигарету и поднести огонь.

— В этом деле так ясно было вмешательство провидения, — продолжал испанец, — что Аргандонья, простой крестьянин, отправился в Ватикан. Оттуда он вернулся с титулом князя. Князь де ла Глориэта!

— А дон Анисето Арсе? — спросил Лоса.

— Э, да что там дон Анисето! Это совсем другое дело. Аргандонья не мог работать один и вступил в компанию с доном Анисето. Что говорить! Тот-то был настоящий горнопромьнпленник, с могучим здоровьем и хорошей головой. Так вот, Анисето учредил в 1873 году компанию «Уанчака». Тогда меня еще тут не было. Я узнал его позже. Он стал президентом республики[27] и построил железную дорогу до Антофагасты. У него были челюсти дога, а глаза серые, будто гранитные, и густые бакенбарды. Видали бы вы, какого страху он на всех нагнал! А ведь был совсем коротышка, вот такого росточка.

И он слегка приподнял руку над столом.

— Нам бы такую удачу, как Аргандонье, — вздохнул Удаэта. И еще раз спросил чаю с агуар-

---

[27] Примечания: 27
Анисето Арсе был президентом Боливии с 1888 по 1892 год.

дьенте для всех.

Как-то в воскресенье Сентено пригласил Омонте к себе. Тут же, при доме, находился и магазин; войти в дверь можно было, лишь низко пригнув голову. На выбеленных стенах дым и мухи оставили черные следы. Сентено представил Омонте своей супруге, дородной, весьма почтенной чоле. Позвал и племянницу.

— Антоньита, поди-ка сюда, познакомься с моим другом Омонте.

Из другой комнаты вышла девушка в черном платье, с длинными косами. При свете, проникавшем с улицы, Омонте рассмотрел бледное, чуть тронутое легкими веснушками лицо с узким лбом и круглыми щеками. Маленькие, близко посаженные черные глазки были прорезаны наискось к вискам; пухлая нижняя губа придавала ее рту чувственную прелесть. На остром носике лежал слой пудры.

— Антония Сентено, очень приятно, — произнесла она высокомерно и вскоре повернулась к Омонте спиной.

Пообедали все вместе. Потом Антоньита с теткой ушли к себе, Омонте остался с Сентено. Маленькая гостиная была обставлена старыми креслами, на угловом столике красовалось изоб-

ражение младенца Иисуса.

— Это отличное вино из Синти, — сказал испанец, откупоривая бутылку. И тут же пустился в обычные свои россказни.

— Знаете, виноделие в Синти зародилось, когда открыли руду в Потоси. Испанцы не могли ждать, пока им привезут вино из Испании, вот они и решили спуститься с ледяных гор в равнины и заняться этим делом здесь. Испанцы — это только так говорится. Ведь все делали индейцы. В рудниках, например. В этой стране нет новых рудников. Куда ни пойдешь, всюду увидите следы инков. Встречаются иногда каналы для промывки золота длиной в двадцать лиг, их проложили инки. А вертикальные шахты, прорытые сверху вниз? Они разбросаны повсюду, эти узкие, очень узкие и, глубокие колодцы для добычи золота. Только золота. Возьмите сигарету.

Омонте закурил.

— А потом, — продолжал Сентёно, — пришли испанцы, пропади они пропадом! И с ними иезуиты, деятельные и предприимчивые, как муравьи. Их повели индейцы, и они нашли руду, прорыли горизонтальные штольни, а оттуда уже пробуравили гору «к самому солнцу», снизу вверх, искромсав ее изнутри и оставив раны на

поверхности. Я видел такие горы, просверленные насквозь, вдоль и поперек. Но не всегда удавалось спокойно добывать золото и класть его в карман. Порой индейцы были покорны, а порой и бунтовали. В Вилаке вы можете найти в реке свинцовые пули, которыми стреляли испанцы в индейцев. И еще найдете вы в расщелинах склады ртути для сплавов. А перед шахтой, на рудничном дворе— каменная виселица, символ нашего господства. Там эти дьяволы вешали индейцев.

Испанец, опьяненный собственным красноречием, витал мыслью в сказочных временах и краях.

— Разумеется, не всех вешали! Ведь без индейцев не добыть ни золота, ни серебра из боливийской земли. Я сам испанец, слава богу, и знаю, что говорю. Пик Потоси открыл индеец. Видели вы его?

— Индейца? Никогда…

— Да нет, дружище, пик! Индеец этот помер триста лет назад. Это красно-бурая гора безупречно конической формы. Из своих пяти тысяч шахт она выдавала столько серебра, что на каждого из восьмидесяти тысяч жителей приходилось — представьте только себе, Омонте, — от трехсот до

четырехсот тысяч песо… Король Испании с 1545 года, когда была открыта жила «Сентено», — да, она называлась «Сентено», так же, как я, — до 1661 года получил в счет королевского кинто[28] три тысячи двести сорок миллионов песо. Это была пятая часть сокровищ, полученных из рудников Потоси, не считая тайного вывоза и того серебра, что шло на изготовление посуды, церковной утвари, статуй святых, — все это можно увидеть и теперь в старинных домах и храмах Потоси, Чукисаки и вообще по всей Боливии. Разворованное серебро тоже, разумеется, в. счет не идет. Я вам не сказки рассказываю: из серебра, добытого в Потоси, можно было построить мост шириной в вару, который соединил бы наши Индии с Испанией.

— Какие Индии?

— Сенон, все эти земли назывались Индиями… Да, серебряный мост, но рядом можно было бы воздвигнуть другой, — из костей индейцев, погибших на работе в рудниках. Ваше здоровье!

Они выпили по глотку ароматного вина.

— Индейцам не нравилась эта работа, — продолжал Сентено, — они справедливо считали ее

[28] Примечания: 28

Кинто — пятая часть всех доходов, получаемых колонистами в завоеванных странах, которая по закону шла королю.

проклятием. Инки добывали золото и украшали свои алтари либо делали из него драгоценности, но никогда не чеканили монеты, как белые. А белые мечом и крестом принуждали индейцев буравить горы. Знаете ли, как это делалось? Сейчас я расскажу вам, что учинили однажды иезуиты.

Он сунул под свою выпяченную верхнюю губу крошечный окурок, затянулся и продолжал:

— Несколько лет назад я был в Инкисиви. В тех местах находятся рудники, принадлежавшие иезуитам, и там спрятан знаменитый клад Сакамбайи, неподалеку от рудника, который носит то же имя. Иезуиты, когда их изгоняли, не могли взять с собой накопленные сокровища и зарыли их в землю. А потом, чтобы не осталось свидетелей, хладнокровно перебили всех индейцев, которые им помогали.

Потрясенный Омонте не сводил глаз с испанца. А тот в увлечении продолжал рассказ:

— В 1666 году на другом легендарном руднике, в той же области— индейцы называли его «Чукикаркамири», а испанцы — «Сан-Хуан-Баутиста», — местные индейцы, не выдержав рабства, восстали, перерезали и перебили всех испанцев и стерли с лица земли всякий след рудника. А потом покинули эти места. И вот уже три века

никто не смеет туда проникнуть — нет ни индейцев, которые могли быть проводниками, ни путей, ни дорог. И сказочные золотые рудники утеряны навсегда…

— Хорошо бы найти их, правда?

— Глупости, фантазии… Да и зачем думать о золоте? Зачем думать о серебре? Теперь, говорят, следует заниматься оловом.

Из соседней комнаты послышался голос супруги Сентено:

— Хосесито, до каких пор можно разговаривать? Уже, наверно, двенадцать часов. Дону Омонте завтра утром работать…

— Ай, дон Сенон! На этот раз я нашел его…

Омонте жадно разглядывал куски породы, которые принес Уачипондо.

— Где?

— Там, где сказал тебе, в заброшенной шахте на горе Сан-Хуан.

— А рудник Рамоса где? Наш рудник?

— Там же, думаю, совсем рядышком.

Омонте опять взял в руки кусок руды.

— И что ты собираешься теперь делать со своим рудником?

— Да вот пришел платить за патент на шесть'месяцев.

Омонте почесал затылок.

— Так, значит, рядом с нашим рудником, да? Ты копал там?

— Нет, только собрал обломки.

— Ас какой стороны?

Уачипондо неопределенно повел рукой:

— Там, ты же знаешь. Я хочу поговорить с сеньором Боттгером.

— Э, он и внимания не обратит!

— Да ведь это чистое серебро…

Но это было не серебро. Годы практики не прошли для Омонте даром, у него был наметанный глаз. Опытные эксперты по сверкающим переливам металла различают светлую красную руду, серебряный блеск, роговое и бурое серебро. И распознают олово в соединении с другими примесями по его кристаллической форме и разнообразной окраске: касситерит желтого оттенка, руду черно-бурую, цвета красного дерева и алмазно-белую. Этот образец был цвета темного красного дерева.

— Ай, дон Сенон, на этот раз я нашел его…

— Для себя одного? На этот раз пойдем вместе, индейский разбойник!

Так Омонте бросил свою службу и отправился вслед за Уачипондо на поиски богини…

IV

Слепые мулы

Дважды побывал здесь святой отец. Первый раз он увидел; как танцуют и веселятся толпы индейцев, а в одном кругу с ними, под видом индейцев, пляшут-черти. Во второй раз увидел он, как эти адские духи в пьяном сне валяются у дверей кабаков.

В те времена, когда Омонте жил в Оруро, работали в Пулакайо два человека, которым суждено было сыграть немалую роль в его жизни: Лоренсо Эстрада и Франсиско Тахуара, которого все звали уменьшительным именем Сиско.

Они принадлежали к разным общественным классам: Эстраде случалось быть и надсмотрщиком, и полицейским агентом рудничного управления, и вербовщиком; Тахуара был просто индейцем-рудокопом. Эстраду он узнал при весьма неприятных обстоятельствах.

Пулакайо — индейская деревушка, выросшая на высоте четырех тысяч двухсот метров, рядом с рудниками, о которых рассказывал Сентено. Меж-

ду двух ущелий поднимались трубы рудничного поселка, а по склонам лепились скособоченные лачуги, словно сползшие с вершины горы и чудом остановленные в своем падении. Перепутанные улочки неожиданно проваливались под землю, а все селение выглядело так, будто некогда его потрясли какие-то неведомые катаклизмы.

На крышах лаяли псы. Расположенные одна над другой жалкие хибарки сообщались между собой посредством каменных и глинобитных ступеней или деревянных лестниц, соединявших кривые петляющие переулки. Двери домов напоминали пустые глазницы черепа или беззубый рот. На выбеленных известкой стенах дожди оставили желтые подтеки и пятна сырости, проедающей дома насквозь. Полусгнившие стены сливались с землей, а соломенные крыши казались выросшей из нее колючей горной травой. Эту пыльную серую деревушку словно выкопали из могилы, после того как она прошла все стадии разложения, и теперь просушивали на ветру ее кости, ее седые волосы и зловещие беззубые рты ее домов.

Зимой шел снег, летом сухая земля завивалась воронками, распространяя ядовитые химические запахи, серные пары прорывались сквозь землю из глубин рудника. Ветер гнал на деревню дым

фабричных труб и газ обжиговых печей.

Люди дышали зловонным, сернистым воздухом, и им казалось, будто в печах обогатительной фабрики сжигают трупы. И деревня и поселок были могилами. В Пулакайо только холод вызывал ощущение жизни. А вокруг — и вверху и внизу — одни лишь колодцы, ямы, пещеры. Дома, подобные мрачному входу в шахту, входы в шахту, подобные домам из дурного сна. Ветер свистел над могилами, от его дыхания люди старились, коченели, покрывались темным налетом металлической пыли.

Против поселка находился собственно рудник, а перед ним — рудничный двор и обогатительная фабрика. Там, занятые на разных работах, суетились мужчины, женщины и дети. Гора изрыгала через шахты серые, бурые и черные куски руды, добытые в ее недрах. Руда накапливалась на верхних горизонтах, а затем поступала в обработку, проходя через целую систему деревянных, железных, а то и каменных приспособлений, расположенных уступами на одном из склонов горы между отвалами пустой породы.

Уклон горного ската определял последовательность процессов, которые проходила руда, следуя за потоком воды. Желтоватая, бурлящая вода,

эта чудодейственная стихия, проникая сквозь частицы раздробленной руды, сортировала и промывала их, а руки человека сообщали воде нужную скорость и направление.

Каждый день, выйдя из шахты, Тахуара встречал на рудничном дворе, где прямо на земле громоздились горы добытой породы, индианку в черном сомбреро и пунцовой накидке. Это была Долорес, жена Мариано Колке, невысокая женщина со смуглым скуластым лицом и монгольскими глазами. Низко нагнувшись, она вместе с другими женщинами сортировала руду. Одни дробили крупные обломки молотком, другие отделяли кремнезем и риолиты, выбирая куски, которые, судя по цвету и весу, содержали металл. Пустую породу индианки оттаскивали в сторону и сваливали в ближний овраг, а руду несли к обогатительной фабрике, упирая груженую корзину в бедро. Иные женщины тащили руду в руках, а за спиной у них сидел подвязанный шалью малыш.

Работа на рудничном дворе заключалась в дроблении и отборе руды. На фабрике руда снова дробилась и измельчалась в толчеях, просеивалась через огромные, ритмично вздрагивающие грохоты, а потом промывалась водой в вашгер-

дах. В следующем отделении фабрики индианки, сидя вдоль желоба, по которому шла струя воды, особой щеточкой отбирали частицы металла.

После воды вступал в действие огонь. Металл, еще не свободный от примесей серы, обжигался в печах, изрыгающих через высокие трубы, словно вколоченные в гору, днем дым, а ночью— огонь. Мариано Колке и другие пеоны, работающие у дровяных печей, плясали, как черти, в облаках серных паров. Пары ядовитой слюной оседали на коже, оставляя на ней страшные язвы. Жар от пылающих дров и раскаленного металла обжигал людей, и язвы на черном теле Колке казались тусклыми искрами на куске угля.

Эстрада ценил Тахуару как искусного бурильщика. Индеец обладал той «тригонометрической интуицией», что помогает бурильщику по одному видимому углу и строению скального грунта почти безошибочно рассчитать неизвестные углы и объем каменной массы, которая взлетит на воздух в результате взрыва. Тахуара, определяя направление шпуров, которые бурил в продольных и поперечных слоях, добивался наилучшего использования взрывной силы динамита: на глазок он производил настоящий геометрический анализ.

Он работал в глубине старого рудника. Кровь многих поколений струилась в теле горы, сама прокладывая себе путь и создавая артерии. Тысячелетиями шел в недрах земли вулканический процесс, и в толще гранита и порфира появлялись металлические жилы, среди риолитов и грауваков. Теперь в подземное царство вторгся человек, пробивая сложный лабиринт туннелей. Чтобы проникнуть к месту работы, Тахуаре приходилось спускаться зигзагами в головокружительную глубину, передвигаясь по деревянным лесенкам, которые опирались на уступы, высеченные в каменных боках колодца через каждые десять метров.

Лестница кончалась, но шахта шла дальше вниз. Становилось все жарче и жарче. Рабочие раздевались чуть ли не догола. В подземной пещере они оставляли одежду и в большой бадье, подвешенной на тросе к блоку, спускались еще ниже.

Обнаженные люди стремительно летели вниз, словно вонзаясь в темную пропасть, в глубине которой яростно клокотали серные воды.

— У-у-у-у— поднимался снизу глухой рев.

— А-а-а-а… — обрушивалось в ответ сверху.

В шахте собирались проложить спроектирован-

ную инженерами галерею для стока воды, — вода проступала повсюду. На глубине трехсот метров она доходила почти до колен.

Здесь было еще жарче, пар оседал на лицах горячими каплями. Борясь с дурнотой, рудокопы утирали руками мокрый лоб, они задыхались, чувствуя себя словно в паровом котле под высоким давлением; кругом разливалась адская жара. Вынести температуру этой геологической пучины было бы невозможно, если б в этой же бадье не доставляли холодную воду, Проведенную по трубам с поверхности земли. Люди обливались водой и снова окунались в клубы слепящего, обжигающего пара.

Пар шарил бесформенными руками по руднику Пу-лакайо, хват. ал Тахуару за горло, крался вдоль каменных стен, словно выползшее из тайника подземное чудище, разбуженное этими обнаженными гномами, которые в ужасе пытались загнать его обратно.

Эстрада был высок ростом, на орлином носу у него сидели желтые очки. Рудокопы считали его нечувствительным и к собственным и к чужим бедам. Говорили, будто в Туписе он убил человека. Здесь он руководил работами как подрядчик и со всеми был холоден и груб.

Тахуара познакомился с ним не в добрый час. Как-то вечером он вышел из шахты последним и, запоздав, не успел получить заработанные деньги. Он спросил их у Эстрады, а тот. сказал, что скоро вернется, и велел подождать у дверей конторы. Но Эстрада не вернулся. Был праздничный день, и Тахуаре не терпелось поскорее выпить. Он был в грязной куртке, с шарфом на шее, в грубых самодельных башмаках из бычьей кожи. Его лачуга стояла далеко в горах, над оврагами, а он хотел переодеться, прежде чем пойти на праздник. Потеряв терпение, он спустился с горы вдоль канавы с грязной серной водой, перепрыгнул через нее и, спотыкаясь о камни, направился в поселок к дому Эстрады. Раз, другой постучался в дверь.

— Войдите, — раздалось в ответ.

Открыв дверь, он увидел лежавшего на кровати Эстраду.

— Чего тебе?

— Это я, ты сказал, что заплатишь мне…

— И ради этого ты разбудил меня? Получай же!

И Эстрада, вскочив одним прыжком с постели, схватил стоявший на полу тяжелый глиняный кувшин. Увидев летящий ему в голову кувшин, Тахуара понял, что сейчас будет убит. Он при-

гнулся, и кувшин, ударившись о косяк, разлетелся на мелкие черепки. Тахуара бросился бежать со всех ног.

Однако Тахуара не сомневался в своей правоте. Ему необходимо было выпить, — вот уже две недели он не пил ни капли. Работал он по двенадцать часов, так же как женщины и дети, так же как все, работал и под землей, и на рудничном дворе, а иногда, чтобы зашибить побольше, не выходил из шахты по двадцать четыре часа без перерыва.

Ему необходимо было выпить и побыть рядом с Долорес Колке, которая наверняка сидит сейчас, принарядившись, в какой-нибудь чичерии возле железнодорожной станции вместе со своим мужем Мариано.

В конце концов Тахуара разрешил свои экономические проблемы, заложив в магазине поселка заборную книжку из рудничной лавки в обмен на две бутылки спирта.

На руднике и обогатительной фабрике было пусто. А в деревне кипело веселье. Черепные коробки домов ожили. Казалось, будто сотни пьяных червей вылезают из пустых глазниц, расползаются по улочкам, извиваясь, спускаются вниз по тропинкам. Куда ни глянь, повсюду толь-

ко пьяные пеоны.

У порогов домов и в песчаных оврагах валялись спящие индейцы с бутылкой в руках. Под палящим солнцем пуны высыхала слюна, стекающая у них изо рта.

Шел второй день пьяной гульбы. Звон гитар и крики женщин перемежались ритмичным уханьем насоса, доносившимся из глубин Пулакайо.

Вверх и вниз по горным склонам, по улицам деревни неустанно сновали пестрые толпы индейцев. В чичерии на улице Президента Арсе сидела в дым пьяная компания рудокопов в расшитых куртках и женщин в ярких юбках. Тахуара, еле ворочая, языком, пытался что-то втолковать Долорес Колке, неподвижной, как идол. Они пили разведенный водой спирт.

Мариано Колке ударил свою жену, Сиско Тахуара хотел ударить за это Колке, но тот уже свалился сам и, забившись в угол, захрапел на залитом чичей полу. Кругом отплясывали какой-то мрачный танец индейцы. Долорес плакала.

Прошли долгие часы. Издали доносился шум насоса. Уже стемнело, когда все трое, пройдя через деревню, стали карабкаться вверх по тропинке к своим лачугам. Мариано Колке качался из стороны в сторону, налетал на стены домов, а

выйдя из деревни, — на каменистые откосы горы, пока снова не свалился и не заснул.

Долорес нашарила его в темноте и принялась трясти. Она пыталась поставить его на ноги, тащила за волосы, но индеец только рычал в ответ. Сиско поднял упавшее на землю сомбреро индианки и, подтолкнув ее, сказал:

— Брось его. Пошли…

Он ухватил ее за накидку и потащил за собой вверх по тропинке, едва заметной на крутом склоне. Горы тонули во мраке, и пьяный Тахуара не видел ничего, кроме дьявола вожделения в образе Долорес.

Он снова потянул ее за накидку и прижал к себе. Но индианка яростно отбивалась.

— Нет, нет!

Вдруг она крикнула:

— Потом!.. Убей его раньше! Убей!

Теперь уж она схватила Тахуару за куртку и потащила за собой вниз. Тахуара сопротивлялся, они боролись, почти не видя друг друга. Долорес вырвалась и, нащупав на земле камень, бросилась туда, где остался ее муж. Тахуара побежал за ней, споткнулся и упал. Он услышал шум обвалившейся земли, чей-то крик — и заснул, словно окаменел.

На следующее утро из ущелья извлекли труп индианки Долорес. Наверху, рядом с тропинкой, спал Мариано Колке, а чуть подальше — Сиско Тахуара. На похоронах они перепились, обоих доставили в полицию, но через две недели выпустили. Один вернулся к своим печам, а другой — в рудник, на работу под началом Эстрады.

Перед тем как снова спуститься в шахту, Тахуара осенил себя крестом, остановившись перед часовней. Это была пещера в одной из штолен, неподалеку от устья шахты. Там, освещенная светом свечей, разукрашенная бумажными цветами, стояла небольшая статуя святого и принимала поклонение двух слепых, которые молились, сидя на пятках и жуя коку. Они жевали коку в честь святого, так же как по установленному обычаю рудокопы ели и пили вместо святого, который не мог это сделать сам. Рядом со слепцами стоял на коленях Мариано Колке, он просил простить душу его жены — ведь, по его мнению, в пропасть ее толкнул сам дьявол.

Тахуара прошел дальше, в глубь штольни. Рудник снова подчинял его себе, затягивал в свои недра, давил тьмой, словно вся тяжесть горы сосредоточилась в этом тесном пространстве, под сводами туннеля.

Тахуара спустился вместе с Эстрадой и двумя крепильщиками в наклонную штольню, от которой через каждые тридцать метров отходили в стороны боковые штреки. Плотный воздух еще больше сгущался в глубине забоев, и рудокопы задыхались, словно в ночном кошмаре.

В этом мертвом сне земли, безмолвно сжимавшейся при каждом шаге, масляные лампочки казались последним воспоминанием о жизни на вольном воздухе.

— Ну и жара, — произнес Эстрада, чувствуя, что задыхается.

Глубокая штольня тянулась более двух километров, местами сужаясь и чуть не расплющивая рудокопов, местами поднимая свои своды повыше. Люди пробирались ползком по нескончаемой галерее. Навстречу им попался полуголый человек, тоже продвигавшийся ползком.

— Слава деве Марии…

— Без греха зачавшей, — привычно откликнулся Эстрада.

Свет лампочек озарял воспаленные внутренности горы. Люди ползли вперед под брюхом огромного безголового чудовища, задыхаясь в его зловещей тени. Где-то впереди мелькали тусклые огоньки, словно в преддверии далекой

затерянной страны.

Там копошились странные существа, казалось, не выходившие из подземелья с незапамятных времен. Хрупкие, обтянутые кожей скелеты бесстрашно проскальзывали внутрь исполинских нагромождений желтого порфира, на которых покоилась земля. В этом фантастическом, скрытом от всех мире меднокожие мертвецы обретали вторую жизнь, отступая в беспросветную окаменевшую тьму, которую они сверлили, припав к шершавой стене. Рудокопы прощупывали израненную толщу огромного горного мира и мерно били обушком, погружаясь с каждым ударом все глубже, как будто обратный путь был им заказан, как будто единственный выход из недр земли лежал через этот дикий каменный лес с переплетенными ветвями, с перекрученной, отвердевшей за миллионы лет листвой, в которой умирали человеческие голоса.

Обнаженные мертвецы спускались в этот потайной склеп тысячи лет. Свет масляных ламп вырывал их из вечной тьмы, и под неверным мерцающим лучом необычными казались цвет, облик, движения этих людей. Зловонный чад горящего масла кралcя по штольне, а она скалила щербатую пасть, истекая черной кровью металла

и желтой кровью серы.

— Ну и жара, — повторил Эстрада.

Так Тахуара проработал бурильщиком целых полгода. Под землей трудно было дышать. Тайные силы теснили рудокопов. Придавленные страхом, заживо погребенные люди двигались медленно, как во сне. Безмолвные, покорные, словно позабыв о прошлой жизни, глядя перед собой невидящими глазами, они мерными ударами пробивали каменную грудь горы. Другие собирали вырубленную породу в мешки и оттаскивали прочь. Долгие часы, дни и годы вырубали они и оттаскивали миллионы тонн земли, под которой были погребены навеки.

Вокруг рта, на землистых лицах этих двуногих кротов расползались зеленые пятна, они жевали коку. Кока — сонное зелье земли для усыпленных подземельем.

У этих наемных мертвецов были сыновья, — они становились подручными. Дети толкали тележки с рудой или перетаскивали на новое место инструменты. Они, как меднокожие эльфы, летали в бадье по стволу шахты, рисовали рожицы на деревянных креплениях, кувыркались среди куч пустой породы.

Часто ребятишки лепили из глины фигурки и

ставили их, словно часовых, у входа в заброшенный забой. Фигурки с рогами изображали Тиу, вездесущего подземного злого духа. Тиу шалил в штольнях, вырубая в сводах острые выступы, о которые разбивали головы рудокопы, устраивал обвалы, скрывал жилы, раскачивал тросы, царапался по стенам, высекал на камнях страшные рожи, а главное — похищал души у спящих рудокопов и уносил их в свое темное царство.

В каменных пещерах Таху аре слышался зов злого духа. Темнота обступала индейца со всех сторон. Свет лампочки скользил по мокрому от пота лицу, по обмотанной тряпками голове. Под ногами скрежетали осколки камня.

Вдруг из глубины штрека донесся хруст камней под чьей-то чужой ногой. Тяжелые размеренные шаги звучали все громче, все ближе. Тахуара поднял лампу над головой и увидел огромную черную волосатую морду с длинными ушами. Закричав не своим голосом, он бросился к стволу шахты, ушибаясь то головой, то коленями о каменные выступы.

— Тиу! Тиу!

Услыхав эти вопли, рудокопы впали в панический страх. Все бросились к стволу, крича, чтобы спустили клеть. Прибежали горный мастер с

инженером и направились в глубь штольни. Но тут появился кто-то из мальчишек и совершенно спокойно объяснил:

— Да это же слепой мул…

Люди отправились на поиски. Действительно, это оказался мул, возивший вагонетки с рудой. Мулы теряли зрение в постоянной тьме и работали, пока не подыхали тут же в руднике.

— Наверно, прошел по какому-нибудь выработанному ходу…

Но Тахуара не захотел больше оставаться в руднике Пулакайо.

— Как мог спуститься слепой мул сюда в штольню? Не иначе это была душа Долорес.

Тахуара вышел из рудника. Сияло солнце, безоблачное, синее небо смотрело сверху на грязь и мерзость развороченной горы, обогатительной фабрики и деревни. На рудничном дворе, с малышами за спиной, трудились замученные горной болезнью и чахоткой индианки в развевающихся по ветру лохмотьях.

V

Мертвец стоит на страже

«О, господи! — воскликнул он. — Сколько же испанцев послали вы в ад!»

— Сеньор Боттгер, вот я опять пришел…

Старый австриец поднял голову, словно привязанную к лацкану пиджака черным шнурком пенсне. Омонте, заросший бородой, с обветренными скулами и носом, в пончо и сапогах, выглядел заправским рудоискателем.

— А, Сенон, отлично… Я получил твое письмо. Садись, садись. Давненько не виделись! Где же это ты шатался?

— Обошел всю зону Чаянты и вернулся через Унсию.

— И как обстоит дело?

— Руды много… Но нужны деньги.

— Деньги, о да, деньги. А как жена? Как сын?

— Давно их не видел, сеньор…

— Нет, нет, не сеньор. Кум. Забыл разве, что я крестил твоего малыша? Ладно, будешь работать на прежнем месте, у меня.

— Да, дон Арнольдо… кум… спасибо.

Омонте устроился в двух комнатушках вместе со своей женой Антонией Сентено, племянницей дона Диего, и снова приступил к работе в торговом доме Боттгера. Холодными ночами рядом с ним была подруга, она согревала его своим теплом, а он лежал с открытыми глазами, вспоминая и обдумывая свои поиски в горном районе Льяльягуа и особенно на горе Сан-Хуан-дель-Йермо. Там Уачипондо показал ему заброшенную шахту, над которой поднималось жаркое дыхание земли.

В глубокой темноте ночи, вытянувшись на спине, прислушиваясь к вою ветра за окном, он мысленно подсчитывал свои затраты и убытки. Он купил ворованную руду и продал ее по хорошей цене, но… триста боливиано были взяты в долг на покупку рудника в Амайяпампе в компании с подрядчиком Тумири. Неудачное дело. Все пошло прахом.

Двести боливиано истрачены на получение отвода и установление границ участка «Провидение», расположенного между «Монтекристо» и участком Уачипондо; ему не хватило денег, чтобы начать работы, и теперь, если истечет срок, его права на «Провидение» будут объявлены

недействительными. Нужны деньги! Семья, сын, служба… Если бы выгорело дело с подрядчиком Тумири… Во тьме бессонной ночи, словно озаренное внезапной вспышкой, перед ним возникло смуглое лицо Тумири с приставшими к губе табачными крошками. Тумири считал полученные от него деньги. Потом внезапно лицо исчезло, и вместо него Омонте увидел кровавое месиво. А вокруг чьи-то беззвучные голоса повторяли: «Мерзлый динамит! Мерзлый динамит!» Триста боливиано погибли, потому что сделка с Тумири была заключена без всяких документов, и когда тот подорвался на мерзлом динамите, все получила вдова: и растерзанный труп, и деньги.

Еще сто боливиано пропали, когда он ходатайствовал об отводе в компании с Рамосом. Как могло случиться, что какой-то Артече, как сообщили ему из Потоси, предъявил более ранние права на этот затерянный в пустыне клочок земли? Зато четыре гектара Уачипондо были вне всяких посягательств. Как только удалось этому индейцу заполучить их именно в том месте, которое сразу приворожило Омонте?

Порывы ветра, проникая под крышу, колебали ситцевый полог. В глубокой темноте Омонте чудились странные очертания двугорбой горы,

издали — фиолетовой, вблизи — темно-бронзовой, окруженной вертикальными скалами, над которыми поднимались две ее вершины, два каменных полушария, округлых, как женская грудь. На сто пятьдесят метров ниже вершины среди нагромождения голых скал разверзлась шахта, подобная забытой могиле. Тут был участок Уачипондо: четыре гектара, расположенные вверх от шахты. Рядом с ним и просил Омонте свои пятьдесят гектаров.

Жена повернулась на другой бок и тихо застонала во сне.

Вот все, что он приобрел, с тех пор как ушел из Кочабамбы: жена, ожидавшая второго ребенка, прилавок у сеньора Боттгера, погрузка и выгрузка товаров… Начать работу в руднике… Омонте видел, как взбирается он в гору со своими мулами-и своими индейцами. Видел, как начинают рыть шахту… Но нет… Следовало бы откупить права у Уачипондо и продолжить проходку из той же шахты дальше на север… И постепенно в сумятице вялых, неясных мыслей начало проступать это намерение, как будто подводное течение понесло его в нужном направлении, как будто мысль его была твердой горной породой и он нащупал в ней металлоносную жилу. Да, из шахты Уачипондо,

с юга на север…

Он вскочил и отправился на склад.

В заброшенной шахте, на участке Уачипондо… До каких же пор будет терзать его это наваждение, притягивая, словно магнитом, к тем землям, где бродят одержимые рудоискатели?

На складе Боттгера Омонте чувствовал себя как в тюрьме. Он взвешивал и перевешивал руду, воображая, будто она принадлежит ему. Он неустанно вел тяжбу в Потоси за «Провидение» и каждый день заставлял доктора Сенобио Лосу писать жалобы и добиваться получения отвода. Участок могли перехватить, и тогда ему остались бы только четыре гектара Уачипондо.

Об индейце не было ни слуху ни духу.

В душе Омонте какая-то таинственная сила заглушала все голоса, кроме голоса Уачипондо. Жалкая жизнь этого индейца, словно слабый огонек рудничной лампы, была окутана чадным облаком надежд, отравляющих сны Омонте. Он возненавидел свою работу у Боттгера и, колотя кулаком по оцинкованному прилавку, обдумывал один план за другим.

У него было только двести боливиано, вложенные в компанию с Рамосом… Двести… Пятьсот можно одолжить у Боттгера. Если он не получит

участка… В самом деле, единственное, что сулит верный успех, — это рудник Уачипондо. Необходимо войти в компанию с индейцем, ведь он только на то и годится, чтобы искать руду. Но куда запропастился этот проклятый индеец?

«Я найму пеонов, раздобуду динамит, продовольствие, деньги. И из шахты мы поведем проходку на север…» Он остановился и поднял голову, чтобы взглянуть на вершину горы, но гора была не здесь, она была далеко, там, за Унсией. Ветер врывался в дверь, неся с собой песчинки, а может быть, и частицы металла. «Куда же запропастился проклятый индеец?»

И в этот момент Северино Уачипондо вместе с другим индейцем появился в дверях склада.

Они сняли войлочные шляпы, оставив на голове лишь повязки, закрывающие уши. Уачипондо был уже стар, его смуглое лицо, безбородое, как у всех индейцев, было иссечено трещинами и морщинами.

— Добрый день, дон Сенон.

— Когда приехал Северино?

— Сейчас только. Всю ночь были в пути.

— Привез руду?

— Вез я ее, да оставил по дороге. Хочу поговорить с доном Арнольдо.

— Его нет. Садись. Почему же ты оставил руду?

Индеец присел на мешок с картошкой. Сенон, выйдя из-за прилавка, уселся на другом мешке. В темных углах просторного склада громоздились горы товаров.

— Трех лам молнией убило, — сказал индеец. — Везли руду, совсем серебряные стали.

— Серебряные? Как так?..

— Молния руду расплавила, — одна лама блестит, как чистое серебро…

— Гм… А на руднике побывал?

— Ай, тата. Побывал!

— Нашел что-нибудь?

— Вот, только это.

Он вытащил из-под пончо шерстяной мешочек и вытряхнул его содержимое на пол. Из мешка выпало несколько камней. Омонте, присев на корточки, оценил их опытным взглядом. Тяжелые камни таинственно поблескивали, словно осколки далекой золотистой звезды.

— Это олово, — сказал Омонте. — Ты нашел?

— Я, с ним вот…

Омонте взглянул на индейца.

— Как тебя зовут?

— Сиско Тахуара, сеньор.

— Ты искал жилу?

— Нет, это все из обломков, там, в шахте. Жилу искать теперь не будем.

— Почему?

— Я раскапывал обломки, зажег лампу, а там мертвец.

— Мертвец, Северино?

— Мертвец. Теперь хочу продать рудник дону Арнольдо. Этот мертвец — сам нечистый. Нечистый дух стережет рудник.

— Не будь дураком! Говорил ты уже с доном Арнольдо?

— Вот хочу говорить. Двести песо я ему должен. Пусть берет рудник. Мертвец наслал молнию на моих лам.

Рамоса не было. Ветер, пригоршнями швыряя песок, барабанил по железной крыше. Омонте, дрожа от волнения, взглянул на индейца, провел языком по пересохшим губам и после долгого молчания произнес другим тоном:

— Простынешь ты. Пойдем пропустим по стаканчику.

Он кликнул одного из служащих, велел ему присмотреть за магазином и вышел вместе с Уачипондо и Тахуарой на унылую, насквозь продуваемую ветром улицу. Какой-то пьяный гринго выкрикивал непонятные речи и мочился

против ветра, стоя посреди широкой мостовой. Они зашли в ближайшую пульперию. Хозяйка радостно приветствовала Омонте:

— Где это ты запропал, дон Сенон? Как поживает Антония?

— Помаленьку. Подай-ка нам агуардьенте.

Они устроились в углу, усевшись перед низким столиком на скамье, накрытой плюшевым покрывалом.

— Ваше здоровье, — начал Омонте. — Так сколько ты должен сеньору Боттгеру?

— Двести песо.

— И расплатиться не можешь?

— Вот хочу рудником расплатиться.

— Ладно, выпей еще глоточек, — холодно. Знаешь ли?.. Дону Арнольдо не нужны рудники. Продай его мне. Ты говоришь двести? Я дам двести двадцать. Идет? Он все равно потребует с тебя деньги. Да еще может в тюрьму посадить.

Индеец промолчал.

— Выпей-ка. Твое здоровье. Я тебе дам двадцать боливиано, а двести выплачу дону Арнольдо: вот и будет двести двадцать. А если ты продашь ему за двести, у тебя ничего не останется. Понял? Ну-ка, покажи мне свои бумаги.

Индеец извлек из-под пончо грязный сверток,

увязанный в тряпку. Бумаги были в порядке.

— Выпей еще стаканчик. Сейчас мы пойдем, я возьму дома двадцать боливиано и дам тебе. Хорошо? На что тебе этот рудник с мертвецом? Пей, пей!

— Ладно, только дай мне тридцать.

Когда Уачипондо и Тахуара вышли с Омонте на улицу, оба индейца были пьяны. Борясь с ведром, они добрались до дома адвоката. Тот сидел в своей конторе за письменным столом, лицом к двери, выходившей прямо на улицу.

— Доктор Лоса, составьте-ка быстренько купчую, а то индейцу завтра утром нужно отправляться дальше.

Они подписали акт о передаче прав. Надо было еще забежать к нотариусу, в другую лачугу. Омонте торопливо шагал, без умолку разговаривая с Уачипондо, который едва поспевал за ним.

— Теперь все в порядке. Когда я начну работы, будешь помогать мне со своими ламами. Тахуару я возьму с собой. Ничего не говори дону Арнольдо. Я ему уплачу. Рамосу тоже ни слова. Я хочу устроить ему сюрприз, — соединю оба рудника. Рудник с мертвецом в шахте! Ах ты, продувной индеец.

Пришлось дать пять песо нотариусу и два — писцу.

— Теперь распишись здесь. Умеешь расписываться?

— Да, умею. А деньги?

— Вот, держи. Здесь двадцать песо. Я обязался уплатить долг в двести песо сеньору Боттгеру. Все будет сделано…

Северино Уачипондо пересчитал монеты по реалу и увязал их в грязный платок. Он вернулся к своим ламам и снова погнал их через красновато-серую пампу, поросшую жесткой травой. Крохотный караван затерялся в беспредельном пространстве, на пути к далеким горам, поднимающим крутые вершины к самому небу. Так шагал Уачипондо за своими ламами из Унспи в Уйюни, из Уйюнн в Потоси, где через несколько лет умер в больнице.

Под подушкой у него нашли мешочек с темными камешками, отливающими звездным блеском.

Земля стремилась к небу, вздымая одну над другой горные вершины, лиловые и округлые издали, а вблизи — красноватые и обрывистые. Горы поглотили равнину; повсюду, куда ни глянь, возникали новые красно-желтые хребты геологических напластований. Плавными волнами разбегались однообразные, сглаженные ветром

косогоры, и вдруг среди мягких осадочных пород грозно поднимался из самых глубин земли скалистый утес. Ломая гибкую линию холодных спокойных гор, острые скалы в своем головокружительном взлете вонзались в черные тучи.

Земля и небо спали вечным каменным сном, а невидимый неустанный ветер свистел над домами Унсии, налетал на гору Сан-Хуан-дель-Иермо.

Омонте прибыл сюда с пятью пеонами. Один из них был Сиско Тахуара; двое пришли с женами. Часть поклажи они тащили за спиной: динамит, рудничные лампы, запальные шнуры, запас вяленого мяса, соли, крахмала, муки, спирта, сигарет и спичек. Кроме того, на лам были навьючены котлы, кайлы, буры, топливо и четыре длинных шеста. Вместо постелей — овечьи шкуры. Все — и Омонте и пеоны — были в одинаковых пончо.

— Динамит хранить на брюхе, — приказал Омонте.

Но индейцы и сами знали, что, если хочешь избежать взрыва от малейшего удара, следует держать динамит в тепле, между рубахой и животом.

— Теперь надо отрыть в горе место для лагеря, — продолжал он.

Но индейцы уже сами принялись копать пря-

моугольную пещеру рядом с входом в шахту и пристраивать к ней стену, укладывая камень к камню. Крышу смастерили из деревянных жердей, покрыв их соломой.

Они выстроили два жилья: в одном на овечьих шкурах спали трое индейцев и две женщины, в другом, тоже на овечьих шкурах, Омонте и еще двое индейцев. Всех их заедали вши.

Заброшенная с незапамятных времен штольня шла более двадцати метров горизонтально. Индейцы не хотели приступать к работе, пока не вытащили позеленевшие кости мертвеца и не похоронили их в сторонке. Затем они освятили шахту, произведя эту церемонию без участия Омонте. Он наблюдал издали, как они принесли к шахте глиняное блюдо, а на нем — разведенный водой спирт, конфеты, сало и хлеб и оставили на ночь, чтобы накормить и задобрить рудничного духа.

На следующий день началась работа по расчистке штольни от обломков. Индейцы вытаскивали их на поверхность, а Омонте исследовал на вид и на ощупь. Попадались куски породы с десятипроцентным содержанием олова. Лежа на спине в глубине туннеля, индейцы изучали строение горы и искали жилу. Они бурили скальный

грунт, подрывали его динамитом, но получали лишь такую же бедную руду.

— Здесь искали серебро, — подумал Омонте, — и не нашли. Но оловяные жилы тут должны быть.

Он решил размолоть и промыть полученные обломки, чтобы обогатить руду и добиться, по крайней мере, пятидесяти процентов содержания олова. Необходимо было установить толчею и провести канаву от ближайшего ручья для промывки руды. Пеоны скатили с вершины горы подходящий камень, и каменотес придал ему нужную форму. В другом, круглом камне буром просверлили по бокам два отверстия, и машина каменного века была готова. Держась за деревянные ручки, вставленные в отверстия, индейцы вращали один камень внутри другого и размалывали руду. Потом ее промывали и просеивали в деревянную посудину. Несколько кинталов обогащенной таким образом руды Омонте отвез в Уануни. Там он познакомился с Лоренсо Эстрадой, который уже покинул Пулакайо.

— Все это ничего не стоит, — сказал ему Эстрада.

— Почему? Ведь здесь добывают-руду с пятнадцатью процентами олова!

— Да, но тут есть обогатительная фабрика, где его доводят до шестидесяти процентов. Единственное, что остается, приятель, это продать свою руду на фабрику.

Эстрада, которому надо было выполнять контракт, легко устроил эту сделку, но выручка за руду едва покрыла расходы. Омонте решил рыть новую шахту на участке, которым владел в компании с Рамосом, а рудник Уачипондо пока оставить.

Пришла пора дождей, потоки воды сбегали по склонам гор, образуя ручьи и водопады. Омытые вершины отсвечивали металлическим блеском, когда луч солнца пробивался сквозь черную пелену туч. А чаще они едва выглядывали из тумана, который сползал с откосов и закрывал горизонт плотной белой завесой.

Дождливые дни мелькали один за другим, как страницы печальной книги. Начали рыть новую шахту. Двое пеонов отправились в Чаянту за крепежным лесом и деревом для крыши над толчеей. Один индеец лежал больной у себя в хижине, а Тахуара работал в шахте. Омонте тоже забился в хижину. Над входом вместо притолоки нависала низкая крыша. Он сидел на камне и смотрел, как идет дождь. Смотрел час за часом,

затерянный среди безлюдной дикой природы, на одной высоте с тучами. Следил за прихотливой пляской капель по черному сланцу, по круглым камням, по горной траве, похожей на вставшие дыбом жесткие волосы. Ручейки растекались прозрачной сеткой по каменистому склону и, сбегая вниз, терялись в озерах тумана, стоявших в глубоких провалах и ущельях. Ни деревца. Ни живого существа.

В одиночестве, насквозь пронизанном холодными водяными нитями, он смотрел, как льет дождь, покуривая сигарету и жуя коку. Больше не было ничего: Сенон Омонте, зияющий вход в шахту и дождь в горах.

Прошло время, и опять на ясном синем небе четко вырисовывались контуры гор. Новая шахта на протяжении двадцати метров не дала ничего, и каменная громада по-прежнему молчала. Чрево горы оставалось нечувствительным к взрывам динамита; грохот рвался из шахты, словно пушечный выстрел.

Омонте решил продолжить работы в старой шахте, где на этот раз, после двух взрывов, в породе заблестела тонкая нить. Она дала руду несколько лучшего качества, чем скальные обломки. Руду из тонкой жилы и из обломков

раздробили в толчее, промыли и отвезли в Оруро на продажу.

Расходы росли. Надо было помогать жене, которая родила в Оруро второго ребенка. Она писала Омонте, не жалуясь на свои беды, и он в коротких ответах давал ей наказы, как вести дело против посягательств на рудник «Провидение».

Право на участок, купленный у Уачипондо, не оспаривал никто, но когда Омонте обмеривал пятьдесят гектаров смежного участка, явился какой-то чоло в черном сомбреро и шерстяном пончо, должно быть, управляющий, и, представив соответствующие бумаги, предъявил более ранние права от имени некоего сеньора Артече. Тогда Омонте застолбил бывшие владения Уачипондо, а относительно остальной площади решил добиваться постановления судебных властей.

В вулканической горной пустыне назревали события. Однажды утром на вершине горы появились несколько человек. Сиско Тахуара был в шахте, двое других индейцев дробили руду. Омонте наблюдал за пришельцами, пока те не скрылись из вида.

После полудня он взял палку с железным наконечником и взобрался на гору осмотреть границы своих владений. Межевой знак, сложенный из

камней и глины, был разрушен. Опустившись на колени, он принялся собирать камни и ставить их на место, но тут рядом с ним на землю легли чьи-то тени. Он поднял голову и увидел, что сверху спускаются двое, в сапогах, кожаных куртках и жокейских картузах, — один из них был с бородой; за поясом торчали пистолеты. Они подошли ближе, не сводя глаз с Омонте.

Вытирая пот, он поднялся на ноги и сказал:

— Добрый вечер. Здесь стоял межевой знак…

— Да, мы его сломали. Пусть так все и остается.

По произношению Омонте признал в этом человеке чилийца.

— То есть как это так?

— Ваш знак ничего не стоит. Вы разве не знаете, что начато судебное дело?

— Знаю, насчет другого участка, но только не этого.

Он нагнулся и взял камень, чтобы положить его на старое место. Один из пришельцев смотрел на него, широко расставив ноги и уперев руки в бока, другой положил ему руку на плечо и сказал:

— Убирайтесь отсюда! Здесь вам делать нечего! И предупреждаю: прекратите работы в нижней шахте. Пора вам уходить отсюда:

— Мне? Почему это?

— Потому что пришли мы, понятно? Не прикидывайтесь дурачком.

Они снова замолчали. Омонте поднял камень обеими руками и, глядя прямо на них, оказал:

— Не хочу ссориться, но я не уйду. Это мой участок.

В тот же миг он очутился на земле и скатился на несколько шагов вниз. Второй человек, тот, что молчал, ударил его кулаком в ухо.

— Черт тебя подери, франт дерьмовый! Дерись, как мужчина! — заорал Омонте. Он вскочил и бросился на бородатого, но камешки осыпались у него под ногами, и он упал на руки. Лежа на земле, он увидел высоко над собой людей на фоне синего неба, они били его ногами в бока. Он опять покатился вниз, но на этот раз вскочил и взял в руки лом. Тогда незнакомцы бросились бегом вверх и, выхватив пистолеты, выстрелили несколько раз в его сторону. Он отступил назад, держа лом в руке.

— Подойди, попробуй, метисская свинья, мать твою так!

Чувствуя себя под защитой оружия, они пнули ногой межевой знак и выпустили еще несколько пуль в воздух рядом с Омонте. Он ушел, держась за распухшее ухо, сердце у него бешено колотилось.

Истерзанные тучи медленно истекают кровью, превращаясь в свинцово-серые призраки, и бесконечно печальные сумерки, спускаясь над нагорьем, прокрадываются в дома грязного и мрачного города Оруро. Неторопливо вползают они в дверь, сгущаются по углам, стелются по полу, заволакивают потолок, оставляя на виду лишь жалкую койку, где прикорнула женщина рядом с больным ребенком. Вот женщина встала, скользнула как тень в угол, чиркнула спичкой и поставила зажженную свечу перед стеклянным колпаком, где среди искусственных цветов улыбался младенец Христос.

Пламя свечи превратило неверные сумерки в глубокую ночь — еще одну ночь у постели старшего сына, болевшего черной оспой. Глядя на мерцающий огонек, донья Антония решилась наконец написать мужу.

«Арнольдо заболел оспой. Он уже поправляется, но было время, когда я не надеялась спасти его. У бедняжки все лицо в струпьях, ведь это была черная оспа. Слава богу, Тино не заразился, сеньора Рамос взяла его к себе. Но я так беспокоюсь за Арнольдо. Неужели он останется рябым? Мальчик похудел, похож на мышонка и все волдыри расчесал. Я молюсь святой деве рудничной,

чтобы поскорее прошли эти страшные дни, и еще я очень беспокоюсь о тебе. Как ты там живешь, один на этом проклятом руднике? Мне пришлось продать кое-что из вещей и заложить серьги, выручила двести песо, и все они до последнего сентаво ушли на лекарства. Вот я и подумала, не вернешься ли ты сюда на место смотрителя рынков, оно сейчас свободно. Сеньор Боттгер проверил твою сделку с Уачипондо и говорит, что ты его обманул».

Через несколько дней она получила ответ:

«Скажи дону Рамосу, чтобы в счет тридцати кинталов руды, которые я ему посылаю, он дал тебе двести боливиано и что дела в руднике идут на лад. Эти двести боливиано употреби на покупку динамита, масла и коки по прилагаемому списку. Купи также ружье».

Как только Арнольдо поправился, Антония купила у бывшего бойца «федеральной революции» старый «ремингтон», запаслась всем необходимым и в повозке отправилась до Мачакамарки.

Там ее встретил Омонте. Женщина была истощена, обсыпана веснушками, но ее пухлая нижняя губка выглядела, как всегда, соблазнительно. Она уселась на мула, ребятишек устроили на ослике в притороченных к седлу корзинах, на

второго мула сел Омонте, ружье, тюфяк и припасы навьючили на ослов, и все семейство двинулось из Мачакамарки к руднику. Еще не оправившийся после болезни мальчик с обостренной, как у всех выздоравливающих, восприимчивостью озирался вокруг, пораженный зрелищем скалистых громад, одна за другой возникавших перед ним, пока ослик неторопливо карабкался вверх по горному склону. Путники чувствовали себя песчинками, затерянными в первозданном хаосе среди фантастических каменных уступов. Но вот наконец далеко вверху показалась горсточка соломенных крыш.

— Вот там, смотри! Вон там наша шахта. Видишь?

Почти сразу за тем выступом — маленькая дырочка. Видишь?

За поворотом открывался вид на деревню Лья-льягуа, словно вбитую в горный откос. Издали она казалась ничтожным наростом, творением природы, а не человеческих рук; вблизи ее крытые соломой лачуги походили на табунок лохматых осликов.

Кружа среди гор, дорога шла на Унсию, а оттуда уже поднималась вверх, до самого лагеря.

Прежде всего пришлось расширить каменную

хижину. Очаг Антония устроила под открытым небом и готовила там еду для мужа и сына. Распределение продуктов и коки между рабочими она также взяла на себя. Старший сын, не чувствуя холода, бегал босиком из хижины в шахту и обратно, а младший еще не умел ходить и сидел, на индейский лад, за спиной у матери или мирно спал между мешком с мукой и ящиком с динамитом. В хижине всем приходилось гнуться в три погибели — каменная кладка без раствора не позволяет возводить высокие стены.

Работы на руднике продолжались, но проходку вели только горизонтально. Вести шахту вглубь оказалось слишком трудно, не хватало воротов, чтобы выбрасывать наверх землю. Бурильщик, пробурив шпур в скальном грунте, давал знак подрывнику и Омонте. Омонте, спустившись в штольню, вручал им нужное количество взрывчатки. Потом все спешили наверх и замирали в ожидании чуда.

Глухо гремел взрыв, и Омонте бросался в глубь штольни. Ползая на четвереньках, он собирал в мешковину куски породы, тащил их на свет и разглядывал один за другим.

— Вот еще, тата, — говорил Тахуара, показывая другие обломки.

Омонте вертел их в руках, разбивал молотком, прикидывал на вес, вглядывался в блестки металла.

— Все то же. Самое большое — десять процентов.

Уныние снова овладевало им, он то метался по горным склонам, то, спустившись в старую шахту, исследовал с рудничной лампой в руке немые недра горы, и они заражали его безмолвным отчаянием. Его жесткие волосы стояли торчком, словно колючие нити сланца, редкая бородка походила на горную траву, покрасневший нос и обветренные скулы стали шершавыми, как песчаник.

Все обитатели лагеря ходили в отрепьях, коченели от холода в тени, покрывались ожогами на солнце. *У* Арнольдо отшелушилась воспаленная после оспы кожа, он поздоровел и загорел на горном воздухе. Тино кашлял, мать растирала ему грудь салом и, вместо всяких лекарств, поила настоем коки.

Главное — бур и динамит. На последние заказы продовольствия и взрывчатки ушли все деньги. Металлическая пить жилы вилась в глубине штольни, из которой по очереди выходили измученные, мрачные пеоны.

— Как дела, Сиско? Стала получше жила?

— Нет, тата. Мертвец прячет ее…

— Может, начать проходку из другой шахты…

— Нет, тата. Жила тут.

День угасал, заливая мертвенным серым светом безрадостный горный пейзаж.

«Двое пеонов сбежали. Осталось всего три динамитных заряда. А потом что? На вершине горы опять видели тех злодеев… Но теперь все по-другому. Со мной жена, дети и ружье. Что приключилось с малышом? Не берет грудь и все время плачет…»

Сидя на камне у входа в хижину, Омонте смотрел на тени гор, тающие в вечернем сумраке. Солнце скрылось, и сразу же вырвалась на простор стая ледяных ветров. Свистя и завывая, вползали они в шахту, разбегались по горным склонам. Жена легла спать. Ночной мрак сгущался, сдвинув горы в единую плотную массу, и в черной тьме с воем носился ветер, заглушая плач охрипшего от крика ребенка.

К двум часам дня непокорные тени забились в глубь ущелий среди скалистых утесов, озаренных голубовато-стальным солнечным светом. И только вдали одна-единственная вершина, накрытая тенью черной тучи, отливала темно-фиолетовы-

ми тонами, резко отличаясь от желто-красных склонов, как будто бездонное небо окрасило ее своей синевой.

Тахуара с самого утра работал в глубине штольни. Он. просверлил в скальном грунте два шпура, соединявшиеся в одной точке, и поднялся на поверхность спросить у Омонте разрешения на закладку динамита: взрывчатка теперь расходовалась с величайшей экономией. Но Омонте был внизу, метров на двести ниже, и занимался промывкой руды на берегу ручья. Стоя на тропинке у подножья горы, рядом с входом в шахту, Тахуара кричал и махал руками, но ни Омонте, ни помогавший ему индеец даже не подняли головы.

Тахуара отошел в сторонку и уселся было на солнцепеке, но, передумав, вернулся в шахту и, пройдя немного вглубь, прилег отдохнуть. Растянувшись на спине, он скользил взглядом по искореженным сводам штольни. Проникавший снаружи свет разбегался, спотыкаясь и прыгая по неровной поверхности, выделяя каждый выступ, каждую впадину. В одной точке, вправо по ходу жилы, цвет породы казался более насыщенным. Как в солнечном спектре, темный оттенок сгущался в одной определенной полосе. Тахуара проходил мимо этого места каждый день, но

сейчас его привычные к темноте глаза заметили ранее ускользавшую от него особенность. Рядом стояла рудничная лампа. Он зажег ее и поднес поближе к своду, напряженно всматриваясь, словно хирург, изучающий рану. Опустившись на колени, он постучал молотком по камню, и после каждого удара какая-то неуловимая волна пробегала по его руке до самого мозга. Он ударил сильнее, но скала не поддавалась. Тогда он взял бур и, приставив его под острым углом к плоскости забоя, принялся бурить, сам, не сознавая, что делает. Внутри породы оказалось полое пространство, и это облегчило ему задачу. Об Омонте он и не вспомнил. Пошарив под рубахой, он достал хранившийся на животе динамит, схватил патрон, вставил в него запальный шнур, прикусив для верности гильзу зубами, и воткнул патрон в динамит. Он торопился. Вот динамитный заряд уже в скважине. Палкой он засунул его поглубже. Потом плотно забил отверстие камешками. Шнур висел, словно корень из земляного среза. Завернув в пончо молоток и лампу, Тахуара вынес все вместе с буром на поверхность. Потом вернулся, поджег шнур и, пригнувшись, бросился из шахты бегом.

Солнце на мгновение ослепило его. Постепенно

он разглядел внизу два темных пятна, это были Омонте с индейцем, вокруг них кучами лежала земля. Видно было, как поблескивают на солнце два куска породы. Тахуара прислонился к откосу неподалеку от входа в шахту и стал ждать.

Прошло несколько секунд. И вдруг из глубин земли вырвался яростный хриплый рев и, прокатившись по безмятежно спокойным склонам, обрушился на Омонте, который в испуге поднял голову.

«Несчастный случай» — промелькнула у него тревожная мысль. Взрыв был неожиданностью.

Цепляясь руками и ногами за выступы, он стал торопливо карабкаться вверх. Индеец следовал за ним.

— Что случилось? — крикнул Омонте, добравшись до тропинки.

Тахуара, не отвечая, бросился в шахту. Появился еще какой-то пеон, из хижины вышли жена и дети. Омонте ничего не мог понять.

— Что случилось? — повторил он.

Наконец он подбежал к шахте, подождал, пока осела пыль, и нырнул в темноту. При свете лампы Тахуара собирал куски руды, выброшенные динамитом.

— Жила, тата, жила, — бормотал он.

Не произнеся ни слова, Омонте схватил несколько обломков и вынес их на дневной свет. Черные, блестящие, они так и сверкали на солнце. Дрожа от волнения, он вытащил еще несколько кусков. Рот его растянулся не то в улыбке, не то в судороге, дыхание прерывалось. Все, все тяжелые куски породы, мерцая темными отсветами, переливаясь звездным блеском, сияя, словно метеоры, излучали и дарили Сенону Омонте весть ослепительную, как озарение: индеец Сиско Тахуара открыл богатейшее в мире месторождение олова.

VI

Жила

1546 год. В этом году продолжалась закладка города и добыча драгоценных металлов из большой горы… слава о ней распространялась по всему королевству Перу… и это чудо богатства стало обогащать людей.

Из чего же сделана статуя горной богини? Из золота, серебра или олова?

Она — из породы, в которой семьдесят пять процентов составляет олово.

Омонте показал рудник Эстраде. Нагнувшись, он поднял кусок породы, которую выносили пеоны из шахты.

— Вот в этой — сорок процентов. Но дальше по ходу жилы содержание олова достигает семидесяти пяти. Там руду можно просто укладывать в мешки. А остальную — дробить, и даже без промывки получим от сорока до шестидесяти процентов.

— Невероятно!

— Все образцы, которые я доставил в Оруро,

показали такое содержание металла.

— А мощность жилы?

— Мощность? Ха-ха… Вара с четвертью! Сами увидите.

Они спустились в шахту. При свете фонаря Эстрада разглядывал сквозь желтые очки обнаженную породу.

— Видите? И это не гнездо. Она идет все дальше и дальше. Мы двигались почти параллельно, по ходу той паршивой жилы.

Они вышли из шахты, продолжая беседу.

— Новость уже разнеслась повсюду. Теперь необходимо организовать вывоз и выиграть тяжбу. Ясней ясного, что Артече не захочет выпускать из рук жилу мощностью в вару с лишним. Будем бороться за жилу. Я — в Оруро, вы — здесь.

— Здесь без оружия не обойтись.

— Разумеется. Для этого Сентено и рекомендовал мне вас. Надо быть начеку. Завтра мне доставят шесть армейских ружей.

— Почем?

— Дорогонько… По пятьдесят песо.

— У меня есть еще «ремингтон».

Эстрада остался на руднике управляющим. Антония с сыновьями переселилась в Унсию, а Омонте отправился в Оруро. В Чаянте Эстрада

вербовал бурильщиков и рудокопов, суля им крупные заработки, заставляя правдой и неправдой соглашаться на свои условия.

Кругом строились новые хижины; в одной из них, самой просторной, расположилась пульперия: весы, мешки с мукой и рисом, бутылки с агуардьенте, крахмал, маис, банки сардин, кока, динамит и сигареты.

Невиданно богатую металлом руду действительно оставалось только укладывать в мешки у самой шахты. Породу победнее дробили в толчее, работавшей круглые сутки, и тоже немедленно ссыпали в мешки. Грозила нехватка мешков, но слава о великом открытии настолько подняла кредит Омонте в Оруро, что ему удалось раздобыть все необходимое.

На руднике требовалось все больше воды, и пеоны работали на прокладке нового канала. Однажды они прибежали в лагерь избитые.

— Гринго поколотили нас, тата, там наверху.

С тех пор Эстрада, вооружась ружьем, стал наблюдать за работами. Взобравшись как-то на одну из вершин, он увидел, что на западном склоне горы раскинулся еще один лагерь, и там тоже шла оживленная работа.

Но вот, когда Эстрада сидел за выпивкой у зна-

комой чолы в Унсии, прибежал какой-то индеец и сообщил ему новость:

— Они захватили старую шахту.

Целый час добирался Эстрада до старой шахты, где Омонте прекратил работы несколько месяцев назад. Незнакомые люди стояли у входа. Он направился прямо к ним.

— Что тут происходит?

В это время появился бородатый чилиец и плечистый гринго с висящим на поясе револьвером в кобуре.

Это шахта компании «Прогресс».

— С кем тут следует разговаривать? — спросил Эстрада. — С этим, — он ткнул пальцем в бородатого, — или с вами?

— Со мной, — отвечал гринго.

— Ладно, с вами так с вами. Вытащите-ка свой револьвер и разрядите, не то я сам его вытащу. Раз, два, три!

Гринго и не прикоснулся к револьверу. Тогда Эстрада подошел, к нему вплотную, в руке его появился кольт, и этот кольт он приставил гринго ко лбу.

— Послушайте, — сказал Эстрада, — я не хочу драки между пеонами. Если желаете решить дело, как мужчины, договаривайтесь только со

мной. Идет?..

Он растолкал индейцев пинками, а в это время на тропинке показались пеоны из рудника «Провидение», вооруженные ружьями, ломами и кайлами, и посланцам «Прогресса» пришлось убраться.

Через несколько дней по дороге в город произошло нападение на караван с рудой. Какие-то незнакомцы разогнали индейцев-погонщиков.

— Это ворованная руда, рудник принадлежит сеньору Артече, — заявили они погонщикам в свое оправдание.

Омонте вернулся на рудник вместе с двумя весьма сомнительными типами из Кочабамбы, отсидевшими в Клисе в тюрьме за убийство. Их нанял Сентено в Пулакайо и, рекомендуя, произнес следующее краткое похвальное слово:

— Они храбрецы, указательный палец у них так и чешется нажать гашетку. Впрочем, у них все пальцы чешутся… ухватить чужое добро.

После похищения руды Омонте пришлось снова отправиться в Оруро и заявить властям, что подстрекателем всех бесчинств является Артече. В Оруро весть об открытии новой жилы дошла с совершенно фантастическими подробностями, и Артече еще яростнее стал бороться за восстанов-

ление своих прав на пятьдесят гектаров рудника «Провидение». Вдобавок он еще предъявил требование на четыре гектара Уачипондо, неправильно показав расположение обоих участков.

Артече был белый и пользовался известным влиянием в правящих кругах. Он добился решения суда о передаче рудника доверенному посреднику. Альгвасил отыскал Омонте в баре, где тот выпивал со своими приятелями, и при свидетелях вручил ему уведомление. Омонте отказался подписать его.

— Это подлость, будь они все прокляты! Этот Артече подкупил судей. Но мы еще посмотрим.

Тут же в баре его предупредили:

— Будьте начеку. Он похваляется, что захватит рудник силой. Говорит, будто вся ваша добыча принадлежит ему.

— Принадлежит ему? Я всю гору насквозь прогрыз, а теперь, когда я напал на жилу, она принадлежит допу Артече? Пусть убирается ко всем чертям, пока жив!

Омонте бушевал, ярясь на своих собеседников, словно они-то и собирались отнять у него рудник, и, все больше распаляясь с каждым выпитым стаканом, выкрикивал угрозы и проклятия.

Около трех часов утра, в леденящий холод,

Артече, получив на руки решение суда, выступил в поход из Унсии. Вместе с ним отправились назначенный в отсутствие Омонте посредник, ходатай по делам, четверо полицейских в форме и тридцать человек, нанятых в Чаянте и Унсии. Все верхом на мулах. У подножия горы Сан-Хуан-дель-Йермо мулы были оставлены на попечение пеонов, и едва взошло солнце, вооруженные люди стали карабкаться вверх, медленно приближаясь к руднику.

— Идут! Идут!

На руднике все были настороже. Эстрада приказал своим подручным из Клисы:

— Возьмите двух пеонов. Как только те свернут на тропинку, стреляйте!

Другая группа расположилась на вершине. Эстрада и Омонте остались в лагере, укрывшись за скалами; отсюда просматривался весь склон горы. Они ожидали нападения, но на тропинке показались всего четыре человека: судебный пристав, ходатай и двое полицейских. Робея, они заявили:

— Мы пришли выполнить решение суда.

Омонте взял бумаги. Он был очень бледен, веки его нервно подергивались.

— Дело приостановлено, мой адвокат подал

апелляцию в префектуру Потоси. Это просто незаконное нападение.

— Погодите-ка, — вмешался Эстрада. — А где посредник? И тот негодяй, что им командует? Пусть сами явятся.

— Ставлю вас в известность, — произнес судейский, — что есть приказ выполнить решение, применив силу.

— Отлично, — сказал Эстрада, — передайте этому Артече, чтобы явился сам, а не посылал своих прихвостней.

Четверка удалилась. Вскоре раздались воинственные крики. Враги ринулись на приступ, все они были совершенно пьяны. Защитники были пьяны не меньше и, не долго думая, подняли стрельбу. Выстрелы рвали воздух, словно натянутую струну, пули щелкали о скалы. Вдруг в лагере громыхнул взрыв динамита.

— Это они из пращи запустили, — заметил Эстрада. — Пора прикончить кого-нибудь. Пусть увидят, что с ними не в игрушки играют.

С ружьем на ремне он пробежал по склону горы к скалистому утесу и стал карабкаться на вершину. За ним полезли трое пеонов, не расставаясь ни с ружьем, ни с бутылкой. На плоской вершине утеса Эстрада лег ничком и указал пеонам место

рядом с собой.

Взглянув вниз, они увидели на расстоянии двухсот метров нескольких противников, которые пробирались среди скал, подавая друг другу знаки.

— Целиться точно, — приказал Эстрада. — Раз, два, огонь!

Три выстрела прозвучали один за другим, три человека упали. Эстрада вскочил и, взмахнув рукой, крикнул:

— Все за мной! Огонь! Огонь!

Отчаянные ребята из Клисы с двумя пеонами тоже ринулись вниз по тропинке, стреляя кто с колена, кто на бегу. Враги бросились бежать, словно стадо коз, вспугнутое молнией. Пустив в ход приклады и кулаки, защитники рудника захватили нескольких пленных.

Омонте яростно стрелял вслед бегущим врагам, а те постепенно терялись на дальних склонах, по ту сторону ущелья.

— Теперь увидел, с кем он имеет дело! Думал, мы сразу сдадимся!

Из уха у Омонте текла кровь.

— Пустяки! — сказал он, вытирая кровь рукой. — Это осколок угодил, — пулей от скалы отбило.

Один из нападающих лежал убитый в ущелье. Раненых подобрали, и еще один умер ночью.

Ни Омонте, ни Эстрада некоторое время в Оруро не показывались: Артече возбудил против них уголовное дело по обвинению в умышленном убийстве пеонов, сопротивлении судейским властям и захвате чужого рудника. Ему удалось добиться приказа об аресте Омонте. Однако через два месяца поток семидесятипроцентного олова, хлынувший словно из перерезанной в теле гор аорты, изменил все. Приказ об аресте и судебное решение были отменены, и Омонте не только утвердился во владениях Артече, но, в свою очередь, возбудил дело о похищении руды и вооруженном нападении.

Эстраду, стоявшего на гребне скалистой горы, еще издали можно было узнать по его орлиному профилю и желтым очкам. Он наблюдал за пеонами, которые устанавливали новую дробилку. Два каменных, обитых железом валика, соединенные горизонтальной осью, прокатывались по большому плоскому камню, — их вращали мулы, шагавшие вокруг камня. Это сооружение именовалось «чилийская мельница».

У входа в шахту, там, где раньше стояла первая хижина Омонте, вырос трехкомнатный дом из

необожженного кирпича, носивший пышное название «Дом администрации». Тут жил Эстрада и, приезжая из Оруро, останавливался Омойте.

Пониже, на первом уступе, раскинулись глинобитные хижины с соломенными крышами. Там находилась пульперия и жили несколько сот пеонов.

В руднике по ходу жилы добывали семидесятипроцентную руду. Остальная руда, более низкого качества, поступала на обогатительную фабрику. Пять дробилок под соломенными навесами, расположенные уступами на склоне горы, приводились в действие вручную. Дробленую руду просеивали, швыряя лопатами в большие, наклонно поставленные грохоты. После просеивания руда поступала в систему чанов; там оседали более тяжелые куски, а остальная порода шла по- желобу с водой для сортировки на круглые вращающиеся столы, где она распределялась от центра к краям, согласно своей концентрации и весу. Отходы снова промывались водой в желобах, а работницы-индианки специальными щеточками отделяли землю от металлической пыли.

Вся эта деятельность проходила под руководством приехавших из Потоси знатоков-индейцев,

которые на опыте изучили способы обогащения руды. Они на глаз определяли содержание и качество металла. На руднике система сдельной работы, на которую, по обычаю, опирались все расчеты, постепенно превращалась в смешанную систему, в нечто среднее между сдельной и поденной работой, между оплатой деньгами и оплатой натурой.

Бурильщики, забойщики, откатчики и женщины получали свою плату через пульперию, зарабатывая от двадцати сентаво до одного песо в день.

Обогащенную руду увязывали в мешки и на ламах везли к железной дороге.

Персонал управления стал разрастаться. Из Оруро приехал швейцарский инженер. Вместе с Эстрадой он исследовал жилы, произвел замеры и запроектировал как дальнейшую вертикальную проходку старой шахты, так и продолжение старой штольни еще на сто метров, со штреками по обе стороны.

Над дверью большого дома в Оруро красовалась написанная маслом на холсте и вставленная в деревянную раму вывеска: «Рудник Омонте». Тут помещались контора и склад. В конторе вербовали рабочих и вели судебные дела: против Артече,

из-за пятидесяти гектаров, и еще одно — против Рамоса, который потребовал своей доли в прибылях рудника. Омонте всячески уклонялся от ответа, пока Рамос не подал в суд.

Рудник Омонте, начав с того, что продавал свое олово перекупщикам (причем с двадцати боливиано за кинтал шестидесятипроцентной руды цена поднялась до сорока боливиано), теперь вел дела непосредственно с торговыми домами Антофагасты, куда ежемесячно поставлял до восьми тысяч кинталов руды. Из них четыре тысячи не требовали ни малейшего обогащения, так как это была руда, прямо из жилы поступавшая с шестидесятипроцентным содержанием металла.

Цены на олово шли вверх. Инженер-швейцарец сообщил, что за десять лет стоимость олова с шестидесяти трех фунтов стерлингов поднялась до двухсот фунтов. Цена эта установилась именно в 1906 году, в год открытия жилы.

Теперь Омонте был тщательно одет: котелок, темный пиджак, крахмальный воротничок, брюки английского сукна и лакированные башмаки. Когда он, аккуратно выписывая каждую букву, ставил свою подпись на векселе, чтобы обменять его на золото, видно было, как поблескивают на крахмальных манжетах его сорочки две золотые

монеты в виде запонок.

Для чего нужно было олово? Инженер говорил, что его покупают гринго из Англии и Германии. Чтобы делать из него военные каски? Чтобы строить машины? Может быть, оно входит в состав стали, меди или железа, из которых сделаны машины, прибывающие сюда по железной дороге?

В обмен на несколько кинталов олова, как сказал инженер, из Европы должны прислать однокабельный подъемник. Однокабельный? Из чего же он будет, из железа? Из олова?

Все это пустое… У Омонте другие заботы… Надо установить плиту на могиле испанца Сентено, закрепив ее серебряными гвоздями… Пора крестить третьего ребенка, на этот раз девочку… В крестные отцы можно бы пригласить президента республики. А почему бы и нет? На крестинах шампанское будет литься рекой и, если надо, пригоршнями полетят в толпу серебряные монеты.

На другом склоне горы Сан-Хуан-дель-Йермо, на участке Саенса под названием «Прогресс», приступило к работам Англо-чилийское акционерное общество.

Новая компания наняла сотню пеонов, они выстроили себе хижины, среди которых выделялся дом под железной крышей, где жили инженеры.

Блеск оцинкованного железа, как ножом рассекавший волны прозрачного голубого воздуха, был виден из рудника «Провидение», с самой вершины горы. Вскоре на новом руднике приступили к бурению, и один за другим на горном склоне появились навесы обогатительной фабрики.

Между рудниками завязалась вражда, вербовщики старались переманить к себе чужих пеонов. Стремясь удержать рабочих, администрация выдавала им через пульперию авансы. Но задолжавшие пеоны, обманывая свое предприятие, только и делали, что перебегали с одного рудника на другой.

Позже стало известно о стычках на дорогах при перевозке руды в Оруро. Англо-чилийская компания покупала мешки с рудой у пеонов Омонте, тем самым подстрекая их к воровству. Началось воровство и на руднике, куда подсылали бродячих перекупщиков. То и дело вспыхивали драки и даже перестрелки, в которых не одна лама погибла под пулями.

Мало того, администрация «Прогресса» открыла на своей территории, неподалеку от скрещения дорог, ведущих к обоим рудникам, пульперию, сдав ее в аренду бывшему французскому каторжнику. Он сбывал спирт по дешевке,

завлекая рабочих Омонте, а те воровали крепежный лес и чуть ли не срывали стропила и железо с крыш поселка, чтобы продать их французу.

Эстрада, приехав в Оруро, рассказал Омонте обо всех событиях.

— Мы предупредили его, но он поклялся, что с места не сдвинется, хоть бы ему динамит подложили.

— И хоть бы взорвали его?.. Великолепная идея! А этот тип выходит когда-нибудь из своей пульперии?

— Не знаю. Велю последить за ним.

Втянув голову в плечи и выпятив нижнюю губу, Омонте задумался.

— Нет, — сказал он. — Надо послать за ним индейца, как будто его вызывают гринго. А когда он уйдет, заложить динамит в пульперии.

Замысел привели в исполнение. Но француз учуял ловушку и не поверил вызову. Эстрада, бродивший поблизости с двумя надсмотрщиками, бывшими уголовниками из Клисы, не стал долго ждать. Он ворвался в пульперию и напал на пьянствующих там четверых индейцев.

— Ах ты, индейская образина, — крикнул он одному из них, — ты ведь подрядился со мной. Сейчас же возвращайся на рудник, каналья! И

вы все тоже!

Он пинками выгнал пеонов на улицу, а француза схватили надсмотрщики и тоже вытащили за дверь. Эстрада, выстрелив ему вслед чуть повыше головы, сжег последние волосы на его лысине. Француз пустился наутек, осыпая врагов проклятиями и угрозами.

Тут надсмотрщики, нагрузив индейцев всем, что стоило унести, облили спиртом и керосином пульперию, не забыв и кровать француза. Выкопав в полу ямку, они заложили два динамитных заряда, завалили их мебелью, подожгли запальные шнуры и бегом бросились вниз по тропинке. Едва они отбежали метров на сто, раздался взрыв. Листы железа с крыши взлетели, словно брошенные в воздух шляпы, и над остатками пульперии вспыхнуло высокое пламя.

Эстрада и надсмотрщики вместе с вновь завербованными четырьмя индейцами вернулись на рудник «Провидение».

На этом дело не кончилось. В Оруро сеньор Омонте, поджидая в своем доме доктора Лосу, прохаживался по большой приемной, где вдоль стен стояли стулья, мраморные консоли и мутные зеркала, а в углу — гипсовое изображение младенца Христа под стеклянным колпаком.

Он получил сообщение, что Англо-чилийская компания подняла дело о нарушении ее границ.

Доктор Лоса, сухонький, зябкий, с черной, как чашечка кофе, маленькой головой, вошел в приемную, потирая руки. Он положил на стул засаленную фетровую шляпу и прочел копию заявления:

«Участок Северино Уачипондо, переданный дону Сенону Омонте, на севере имеет границей воображаемую линию, которая, начинаясь от межевого знака, установленного в ста метрах по прямой от вершины Оркосунтинья, идет на северо-восток…»

— Гм… — произнес он, — они требуют авторитетной проверки и приказа о приостановке работ. Очевидно, хотят вывести вас из терпения и заставить вступить с ними в компанию…

— С чертовой бабушкой пусть вступают в компанию! Пришли на готовенькое! Хотят за бесценок заграбастать лучшие рудники в стране!

Лоса, заложив большие пальцы за проймы жилета, объявил:

— Имея деньги в кармане, нечего об этом беспокоиться. Мы можем тянуть тяжбу хоть двадцать лет. Но эти гады тоже могут пустить в ход деньги. Говорят, с этой компанией связан какой-то ино-

странный посол.

— Посла мне только и не хватало!

— Да, в горном деле не все решают кайла и бур, нужны еще деньги и влияние. А у «Прогресса» есть связи с этими гринго в Ла-Пасе.

— Черт их побери! Что же делать?

Лоса закурил сигарету в длинном мундштуке.

— Все очень просто: надо иметь руку в правительстве. Предложите свою поддержку кандидату в сенаторы и, кроме того… запаситесь собственным депутатом. Привезите пеонов на голосование в Унсию. Предложите кандидатам денег взаймы.

Омонте почесал нос и присвистнул.

— Вы, видно, тоже думаете, что я купаюсь в золоте? Вы не знаете, во что обходится рудник. Посмотрели бы только проекты инженера: надо выписать металлические крепления, паровые двигатели, электрические лебедки и перфораторы от Сименса, это, кажется, французская фирма, и провести однокабельную подвесную дорогу длиной в две тысячи метров. Деньги так и плывут!

— Черт возьми! Рядом с такими затратами еще несколько песо значения не имеют! Зато вы обеспечите себе тылы!

— Ладно. Хотите быть депутатом? А что, если победит наш противник?

Доктор Лоса заявил твердо и убежденно:

— Против пеонов рудника не устоит и Симон Боливар!

За некоторое время до выборов в Унсии был учрежден «Политический клуб», и доктор Сенобио Лоса произнес там речь, объявив, что горнопромышленник Омонте одобряет прогрессивную программу либеральной партии и решил вступить с ней в сотрудничество как верный ее приверженец. В ответ раздался гром рукоплесканий.

Когда в город прибыл кандидат в сенаторы, доктор Итуррисага, Омонте устроил ему прием у себя дома.

Он никак не мог решиться предложить деньги Итуррисаге, апостолу, поседевшему в трудах на благо родины. Однако апостол опередил его, попросив ссудить ему некоторую сумму в долг, и получил тысячу песо без гарантий и процентов.

В день выборов, в воскресенье, из рудников пришла в Унсию сотня пеонов, обученных Эстрадой и еще с утра напившихся допьяна. Они орали во все горло:

— Да здравствует генерал Монтес!

Иногда по ошибке они кричали:

— Да здравствует генерал Омонте!

В час голосования толпы избирателей собрались вокруг столов, расставленных на площади. Время от времени у какого-нибудь стола возникали шумные споры, внезапно стихавшие, едва кто-нибудь из ораторов выдвигал требование:

— Этот голос следует аннулировать!

Сторонники выступавшего орали хором:

— Аннулировать!

И снова поднимался общий крик.

На двух столах правительство получило незначительное большинство. Опасения внушал третий стол. Голосование там задержалось, но оппозиция обеспечила себе успех, приписав к этому столу своих сторонников, таким образом она рассчитывала вознаградить себя за понесенное поражение.

Едва приступили к подсчету голосов, как из ближнего погребка вышли под предводительством одного из дюжих надсмотрщиков человек двадцать рудокопов в широкополых шляпах, с красными пьяными физиономиями. Хромой надсмотрщик одной рукой опирался на палку, а в другой держал пистолет. От погребка до стола было не больше пятидесяти шагов. Надсмотрщик

кричал во всю глотку:

— Да здравствует Монтес! Долой смутьянов!

В ответ раздавался хриплый рев: «Долой!»

Пьяные рудокопы приближались, вид у толпы был угрожающий.

Люди, стоявшие вокруг стола, повернулись к наступающим. Краснорожий надсмотрщик снова заорал:

— Долой смутьянов! Рудокопы за мной!

И, шагая впереди горланящей толпы, он спокойно выпустил из своего пистолета пять пуль над головами стоявших. Рудокопы тут же набросились на противников. Те пришли в смятение под стремительным натиском и позорно бежали, роняя по пути свои шляпы. В воздухе летали бумаги, избирательную урну швырнули наземь и тут же растоптали ногами, раздавались крики, свистки, клубилась пыль.

К буйной ораве присоединились другие рудокопы, и все вместе они торжественно обошли площадь, крича согласным хором:

— Да здравствует победа!

Посрамленные, избитые представители оппозиции разбежались по домам. Воспользовавшись этим, сторонники правительства привели в порядок и должным образом опечатали из-

бирательную урну. А рудокопы продолжали пьянствовать и крича разгуливать по улицам. То и дело в воздух взлетали динамитные патроны.

У дверей таверны толпился народ, раздавались пронзительные вопли.

— Ай! Ай! — визжали чолы. — Всю руку ему оторвало!

У какого-то рудокопа патрон взорвался в руках.

В пять часов вечера в большом коррале торжественно праздновалось удачное завершение выборов. Ярко светило солнце, и падающая от ограды тень резко делила всю площадь на две части — белую и черную. Писко и пиво лились рекой. Появление Омонте было встречено бурным ликованием. Вновь избранный сенатор обнял его на глазах у меднолицых избирателей и произнес речь в его честь.

— Да будет известно сеньору Омонте, что я тоже горняк, — воскликнул он. — Выпьем за здоровье великого горнопромышленника!

Чоло, которые не могли сразу же сместить выбранного ими сенатора, выкрикивали многообещающие здравицы:

— Да здравствует наш депутат доктор Лоса! Да здравствует будущий сенатор доктор Омонте!

Поздно вечером, вернувшись домой слегка под хмельком, Омонте разбудил жену и объявил ей:

— Рудник мы продавать не будем.

Женщина села на постели, и тень ее орлиного носа резко обозначилась на стене, озаренной бледным светом керосиновой лампы.

— Значит, мы не купим усадьбу в Кочабамбе?

— Нет, нет, усадьба — это потом… Рудник мы продадим через год.

— Ну, пусть уж как бог даст…

— А знаешь, президент республики мне очень признателен…

С балкона своего дома, стоявшего на продуваемой ветром площади, Сенон Омонте взирал на Оруро, как победитель.

Прохожие глазели на него. «Миллионер», — повторяли они, смакуя волшебное слово. Омонте сильно переменился, он стал подозрительным и заносчивым. У него было все: лучший дом в городе, гостиная с толстыми коврами и двумя роялями — один черный, второй позолоченный по его распоряжению, под стать остальной мебели, — а на стенах фотографии выдающихся людей, в том числе кандидатов в президенты республики, с дарственными надписями: «Отважному горнопромышленнику».

Многочисленной индейской челядью руководил лакей из Кочабамбы, который говорил с чилийским акцентом; так как много лет прослужил метрдотелем в Чили.

Сеньора Антония разъезжала в карете, запряженной двумя долгогривыми лошадками. Она одевалась во все черное и была окружена толпой набежавших со всех сторон родственников, всегда готовых угождать и прислуживать ей.

Старший сын, Арнольдо, в школу еще не ходил. Он носил длинные брюки и целлулоидовый воротничок, из которого смешно торчала его черная мордочка, вся в рябинках после оспы. Матери он докучал, постоянно выпрашивая у нее при гостях деньги. Младший ходил еще в платьице и с длинными волосами по моде того времени. Третий ребенок — девочка росла на руках у индианок.

Миллионер чувствовал ответственность за свое богатство и, из страха потерять его, жил в непрестанных хлопотах. У него были два заклятых врага: Артече и Непомусено Рамос. О, этот Артече! Мало того что он затаскал его по судам, он еще прибегнул к помощи прессы и выпускал листовки, с которыми Омонте мог бороться только деньгами. Рамос, со своей стороны, вошел в компанию с неким гринго из Оруро по имени

Пич, коммерсантом и скупщиком руды, который дал ему денег на продолжение тяжбы.

Омонте пришлось нанять двух самых известных адвокатов— доктора Клаудио Давалоса из Ла-Паса и доктора Валентина Баскона из Оруро, который закрыл свою контору и предоставил себя в полное его распоряжение. Эти адвокаты сочли необходимым начать юридическое наступление по определенному стратегическому плану, основанному на законе и на топографии. Вместе с доктором Лосой они изучили план рудничной зоны, снятый опытными землемерами. Операцию решили начать на участке «Монтекристо», пограничном с владениями Артече. Этот участок, площадью в сто гектаров, был первоначально выделен Непомусено Рамосу в компании с Омонте, который владел им от имени компании. Однако Омонте не допустил, чтобы Рамос, в свою очередь, участвовал в работах на «Провидении», согласно заключенному договору.

— Договор был письменный? — спросил Давалос.

— Нет, только на словах.

— Тогда он ничего не значит.

Одновременно Омонте подал заявку на якобы свободную территорию, ходатайствуя об отводе

ему того же участка «Монтекристо», но только под названием «Голубой». Пока дело шло по инстанциям, он предложил Рамосу продать его права, но тот наотрез отказался.

— Отсюда, — сказал он, держа руку на высоте своей груди, — я поднимусь туда. — И он показал на вершину горы Оруро.

Несколько ночных визитов доктора Лосы на дом к секретарю префектуры, нотариусу управления рудников и префекту, — причем по дороге туда он нес с собой какие-то пакеты в газетной бумаге, возвращался же без них, — в скором времени привели к решению дела в пользу Омонте. Рамос подал апелляцию. Омонте, уже вступивший во владение рудником, снова предложил ему продать права.

— Продать? — сказал Рамос. — Согласен. Миллион фунтов.

Ему предложили пятьдесят тысяч боливиано, и он снова повел тяжбу, теряя последние свои сентаво в конторах, канцеляриях и судах.

Когда Рамос убедился, что, не в пример молниеносному решению о передаче участка в руки Омонте, его апелляция не разбирается больше года, у него от ярости задрожали усы. Он кричал во всех погребках Оруро:

— Меня не ограбишь просто так, за здорово живешь! Я ему покажу, этому Омонте! Влеплю пулю в лоб, будь он хоть кум самому президенту!

Но в это время Омонте находился в Чили. В сопровождении эксперта он поехал учредить в Антофагасте свое агентство по вывозу руды. По его возвращении из Чили была осуществлена вторая часть плана. Принимая за отправную точку при определении участка «Монтекристо» пересечение дорог из рудников «Провидение» и «Прогресс», представители предприятия Омонте заявили, будто участок «Голубой», он же «Монтекристо», расположен на пятнадцать градусов северо-восточнее. При таком перемещении его вокруг оси, проходящей через отправную точку, он накладывался на владение «Орко-сунтинья», на которое претендовал Артече.

Судьи приняли это разъяснение и начисто отвергли доводы адвокатов Артече и Рамоса, утверждавших, что ежели переместить «Голубой» на участок «Орко-сунтинья», то тем самым остается незанятым принадлежащее Рамосу владение «Монтекристо», местоположение коего точно определено в судебном процессе Рамос — Омонте.

Заколдованный участок «Голубой» обла-

дал свойством перемещаться и в то же время оставаться на старом месте, расширяться и принимать новую форму, стирая все проложенные на его пути границы и утверждая господство Омонте.

После окончательного решения дела доктор Лоса сообщил Омонте:

— Теперь остались некоторые излишки свободной территории между землями «Орко-сунтиньи», ныне занятыми рудником «Голубой», и «Провидением». Артече требует их себе.

— Что за наглый тип! Необходимо принять меры, чтобы он не вклинился в наши владения.

— Все уже сделано. Мы требуем присоединить эти излишки к «Провидению», ссылаясь на предпочтительное право соседствующего владельца.

— Это еще кто, «соседствующий владелец»?

— Да вы же сами, поскольку «Провидение» принадлежит вам.

Омонте выложил еще десять тысяч боливиано для префекта и окружного судьи.

— Посмотрим, что они запоют теперь, — сказал он.

Артече опубликовал новую листовку. А Рамос, узнав, что его участок «Монтекристо», превратившись в «Голубой», не только помог путем

юридически-топографических маневров вытеснить Артече, но еще и дал богатейшую жилу, которую Омонте уже начал эксплуатировать, — снова поклялся убить его. Это было не так-то легко: Се-нона Омонте надежно защищал золотой ореол удачи.

Олово… Оно превращалось в золото, которое уже не могли вместить банки страны. Омонте начал открывать счета в банках Чили, Парижа и Лондона. Он раздобрел, его затылок все больше нависал над воротничком. Небрежно развалившись в кресле, презрительно и иронически прищурив глаза, он читал письма, адресованные ему президентом республики и министрами.

Омонте снова совершил поездку в Чили и вернулся еще более спесивым и подозрительным. Он привез оттуда несколько породистых лошадей, но все они, кроме одной, посланной в дар президенту республики, околели в Оруро.

Привез он также с собой высокую смуглую женщину с серыми глазами, — правда, не такую цветущую, как те чолы из местных красавиц, с которыми в свое время бывал близок горнопромышленник.

Донья Антония председательствовала в благотворительном обществе по учреждению

городской больницы.

Во время дипломатических осложнений между Боливией, с одной стороны, и Аргентиной и Перу, с другой, Омонте предложил правительству закупить для армии двести лошадей. К счастью, конфликт разрешился, избавив его от необходимости выполнить обещание.

Горная богиня оставалась ему верна, и ее каменная грудь — две округлые вершины горы Сан-Хуан-дель-йермо — никогда не иссякала.

VII

Любовь к родной земле

...То был зловещий волк — пожиратель сокровищ.

В Кочабамбе миллионер снова вдохнул аромат былых времен, времен своей молодости. Это случилось в деревне, когда он поехал осмотреть продававшееся имение. Карета остановилась на пыльной дороге, обсаженной ивами, и Омонте вместе с доктором Давалосом, адвокатом банка и хозяином имения вышли, решив пройтись пешком по тропинке, вьющейся среди пшеничных полей. Полуденное солнце бросало отвесные лучи на золотистое поле, резко очерчивая силуэты фиговых деревьев и людей в черных костюмах. На краю тропинки отдыхал под деревом индеец. Он приветствовал проходящих мимо горожан:

— Добрый день, тэта. Добрый день, тата.

Жара. Чуть подальше тропинка сворачивала в сторону и ныряла в рощу старых голубоватых терпентинных деревьев, осенявших своей тенью густо заросшую травой землю. Нерушимый зем-

ной покой. В траве бежал ручеек. Роща излучала благоухание, затаившийся под кронами деревьев лесной аромат тени и листьев.

Запах травы и дикого жасмина! Запах тайной жизни растений…

Этот запах, словно чудесный, непобедимый зов былых времен, пробудил в Омонте внезапное волнение и прошлое превратил в настоящее. О, ночные набеги на персиковые сады… О, купанье в Роче…

Но это продолжалось недолго.

— Хороша трава, а? — сказал он.

— Хороша, сеньор, хороша, — ответили все хором.

Он отер платком пот с затылка и продолжил путь к дому. Оттуда открывался вид на зелено-голубые просторы долины.

— Я, пожалуй, куплю имение, — сказал он, — если вы скинете пять тысяч боливиано.

Ему приготовили комнаты в большом двухэтажном, доме. Вокруг патио шли устланные коврами галереи, на одну из них выходили двери темной гостиной с угловыми мраморными столиками и барочными зеркалами в золоченых рамах.

Прямо из гостиной можно было попасть в

спальню, там, на высокой кровати, несмотря на жару, лежало покрывало из шкур викуньи, из-под которого выглядывали окаймленные вышивкой простыни.

Вдохнув ароматы далеких дней молодости, Омонте изнывал в роскошном городском доме, где для гигиенических нужд пользовались либо закутком под открытым небом, либо уборной с деревянным стульчаком над глубокой ямой, из которой всегда, как ни засыпали ее золой, исходило зловоние.

По ночам к его услугам была стоявшая под кроватью фарфоровая ночная ваза с гирляндой голубых цветов на крышке, под стать кувшину и тазу на мраморном умывальнике.

На городских улицах под ногами прохожих плясали неустойчивые каменные плиты. Когда сеньор Омонте, выступая вместе с епископом во главе обрядившихся в пиджаки местных жителей, отправился на открытие школы, которой он пожертвовал пятьсот боливиано, под ним соскользнула с места тротуарная плита, и из образовавшейся щели фонтаном брызнула грязная вода. Алькальд, вождь либеральной партии, и епископ, выхватив носовые платки, оспаривали право почистить брюки сеньора Омонте.

Несколько дней спустя миллионер мог убедиться, что, хотя солнце и высушило городские улицы, лужи на них появились снова, правда, не такие большие, как во время дождей. Об этом позаботились индианки, которые, подняв юбки, усаживались с невинным бесстыдством прямо посреди дороги.

Брат Хоакин встречал его на станции Винто. Он был похож на Омонте: те же мясистые багровые щеки и жесткие волосы, не было у него только ни такой могучей шеи, ни такого беспокойного взгляда, как у миллионера.

— Знаешь, Сенон, — принялся объяснять Хоакин, — мы бы очень хотели пригласить тебя к себе. Но… мы просто не в состоянии это сделать. Завтра жена и девочки придут приветствовать тебя.

— Да, да. Я буду очень рад. Сколько у тебя детей?

— Пятеро, Сенон. Только в этом и был к нам милостив господь. Я тебе написал письмо в прошлом году, а ты ответил мне очень сердито, не знаю почему.

— Тебе, видно, неизвестно, — высокомерно произнес Омонте, — что не обо всем можно писать в письмах. Ведь их читают секретари. Если бы я чи-

тал их сам, ни на что другое времени не хватило бы. Но я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Кажется, одна из твоих дочек моя крестница?

— Две дочки — твои крестницы, Сенон.

Омонте приказал правлению банка снизить его брату сложные проценты с долга в четыре тысячи боливиано и распорядился дать ему место бухгалтера в Электрической компании, где сам он скупил в свое время треть акций.

На следующий день его посетил другой брат, Хосе-Пепе. У него были крепкие зубы, громкий смех, хриплый голос и такие впалые щеки, что лицо походило на гитару. Он обнял Сенона и весело заговорил:

— А я из деревни. Что же ты не предупредил заранее? Ну и раздобрел ты. Деньги тебе пошли на пользу.

Сенон почувствовал исходивший от брата запах чичи и нашел, что он стал очень похож на тату Морато.

— А вы как живете? Как ферма?

— Чудо как хороша. Тебе надо бы посмотреть ее: и не узнаешь, так переменилась со времен дяди Никасио. Загляденье! Но и ты молодцом, парень! Что же ты не привез Антонию и ребятишек? Будешь учить их в Европе, да? А нельзя

будет привезти оттуда работников для фермы? От этих индейцев никакого проку. Я собираюсь насадить тутовых деревьев и разводить шелковичных червей — с одним итальянцем, но он не очень надежный. А почему бы тебе не переехать сюда на житье?

— Я и сам хотел бы. Но дела… И потом дети — учить надо.

— Да на кой черт им учиться с такими деньгами! Хоть бы они и читать не умели, дружище! Каково имение, таково и положение. Тут про тебя болтают, говорят, что ты скряга, дал всего пятьсот боливиано для школы имени Омонте. Подумаешь, гордецы какие! Гордецы в рваных штанах. Говорят, что будут «презирать тебя». Ха-ха-ха! — захохотал он лающим смехом. — Говорят, а сами подлизываются ко мне, потому что я брат Омонте. Хотят даже депутатом меня сделать! Ну как, ты уже попробовал нашей чичи?

— Да, да. Хороша по-прежнему.

— Правду тебе скажу, никакое шампанское не сравнишь с хорошей чичей.

Опечаленный миллионер пожаловался брату:

— Вот все говорят, что я ничего не делаю для Кочабамбы. Все просят…

— Точно у тебя в руках рог изобилия, — добавил

Хосе-Пепе.

— Просят дорог, железнодорожных путей, рабочих, воды, ирригации, как будто что сказать, что сделать — одно и то же. я предлагал построить дорогу до Чапаре.

— Большое дело, брат. Мы бы тогда и над столицей посмеялись.

— Вот я и хотел сделать большое дело, а когда я попросил землю для проведения дороги, все подняли крик. Вот и попробуй угоди кочабамбинцам.

Хосе-Пепе дал мудрый совет:

— Плюнь ты на всех, братец. Строй дорогу и не проси у них земли.

— Невозможно. Дорога обойдется тогда в десять миллионов…

— Десять миллионов? Вот это да! Ну тогда не строй. Пускай остаются оплеванными.

— Ладно, — покончил с этим Омонте, — не знаю, удастся ли встретиться нам еще раз. Скажи лучше, не нужно ли тебе чего-нибудь?

Хосе-Пепе сразу стал серьезен.

— Нет, нет, ничего не нужно, дорогой мой. Спасибо. У меня все есть.

— Скажи все-таки, — настаивал Омонте. — Я хотел бы взять тебя с собой в Европу. Надо посмот-

реть, что это такое! Ты будешь рядом со мной, а то вокруг одни мошенники.

— Меня в Европу? Нет уж, всяк телок знай свой хлевок. И как я оставлю своих ребятишек? Да я с тоски помру.

— Я собираюсь купить несколько ферм. Мне хотелось бы поручить их человеку, который не станет меня обворовывать. Ты мог бы управлять ими и оказал бы мне услугу…

Хосе-Пепе снова разразился лающим смехом, так похожим на смех таты Морато.

— Вот это, как говорится, мне по плечу. Подумать только, Хосе-Пепе Морато оказывает услугу Омонте! Ха-ха-ха!

На следующий день Омонте, посоветовавшись со своим адвокатом и доктором Давалосом, оформил покупку ферм и управление ими поручил своему брату Хосе-Пепе.

— Банкет в клубе в честь Омонте? Нет, этого мы не допустим… Он не член клуба!

— Этот тип полагает, что его деньги открыли ему доступ в приличное общество.

Знать Кочабамбы, знать «в рваных штанах», объявила бойкот чествованию богатея, которое затеяли его адвокаты вкупе с епископом, признательным за подношение в дар собору статуи

святого Исидора Землепашца. Банкет состоялся на вилле в Калакале, с участием служащих Электрической компании, алькальда, префекта, политических деятелей — либералов, служащих банка и некоторых его должников.

В саду, неподалеку от люцернового поля, гости уселись за длинным столом под сенью старой гуайявы. На белой скатерти блистали хрустальные бокалы с золотистой чичей, пылали на тарелочках красные и бронзовые стручки перца. Омонте, в черном костюме и светлом жилете, сидел во главе стола. Его крупная голова с коротко подстриженными волосами внушала невольное почтение, но багровый цвет лица и круглые щеки были такими же, как у некоторых гостей, разгоряченных чичей и острыми закусками.

Сперва все набросились на жаркое, и слышен был лишь стук вилок и ножей. Но вот то в одном, то в другом конце стола стали раздаваться восклицания:

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

Шум голосов постепенно нарастал, но молчание воцарилось снова, едва лишь адвокат Земельного банка поднялся с места и начал речь, жестикулируя так энергично, что казалось, он

не приветствует, а сурово распекает виновника торжества:.

— Все, граждане, собравшиеся на этот великий праздник, с патриотической гордостью взирают на вас, сына родной земли, который, благодаря своей энергии и талантам, завоевал известность в старой Франции, колыбели мировой культуры, и прославил за границей имя Кочабамбы. Прославил его там, где искусство, науки и право воспевают богиню цивилизации. Великая честь для Кочабамбы, что один из его сынов оспаривает сегодня первое место среди магнатов Южной Америки! (Аплодисменты.) Эта заслуга, которую не хотят признавать лицемеры, блистает как солнце на нашем гербе, как сердце Кочабамбы, нашей обширной и плодородной, героической и предприимчивой земли, которая гордится тем, что породила Сенона Омонте!

Когда все встали из-за стола и епи&оп, откланявшись, уехал, общество разбилось на группы. Завязались разговоры. Миллионера окружили более именитые гости, которые, несмотря не выпитую чичу, держались с ним робко, словно их разделяла стеклянная стена. И тут вдруг из-за деревьев появился наш старый знакомец Кадима, потный, кряжистый, с красным носом и густыми

седеющими усами, похожий на старого лесного пана. С громкими возгласами он пробился среди гостей и, сжимая в одной руке шляпу, другой обнял Омонте.

— Сенон, приехал, значит, наконец! — закричал он, обращаясь к нему то на «ты», то на «вы». — Помните меня? Немесио Кадима из Куртидурии? Помнишь, когда ты жил еще с доном Никасио? А как ты в тюрьму чуть не угодил, помнишь?

— Да, да, помню, конечно, — отвечал миллионер с некоторой тревогой, припоминая, что Кадима помог ему бежать от полиции в ту ночь, когда он подрался возле Чичерин Тустун-сики. — А ты как поживаешь?

— А все так же! Я, значит, такой, как прежде! Да и вы тоже, хоть и большой человек, а по-прежнему кочабамбинец. Сами скажите!

— Да, да, по-прежнему кочабамбинец. Ну-ка, налейте Немесио стаканчик.

— За твое здоровье, приятель! Дружки наши тоже здесь. Они не переменились, такие, как были. Да здравствует наш первый великий миллионер Омонте!

Его незаметно оттеснили и увели в сторону, но Кадима, сильно захмелев, продолжал хвалиться перед более скромными гостями своей дружбой

с Омонте.

— Вот он, значит, здесь, этот миллионер. Такова жизнь! А я-то знал его, когда он босиком по улицам бегал и прислуживал доктору Морато. Я, значит, все знаю! Передо мной никто не смеет нос задирать. Теперь он здесь, этот чоло в рваных штанах, и весь набит деньгами. А я им, бывало, всем пинка ногой давал.

— Кому?.. — спросил кто-то.

— Кому?.. Кому надо… Тому, о ком речь, значит! Ведь мы с Сеноном дружки с тех самых пор, как он поклажу на мулах возил. Судьба, а, доктор?

Боясь повредить себе, выслушивая эти признания, гости стали разбегаться от Кадимы. Взбешенный директор банка спрашивал:

— Как он пролез сюда, этот/юло? Надо вывести его вон!

— Разве его выведешь? Это наглец, он способен оскорбить дона Сенона.

— Тогда напоите его до бесчувствия.

Кадима продолжал предаваться воспоминаниям. Дон Хосе-Пепе отозвал его в сторонку и, сунув ему в руку двадцать боливиано, доверительно сказал:

— Дон Сенон просит, чтобы ты угостил всех друзей от его имени.

И он подтолкнул незваного гостя к калитке, выходившей на дорогу. Кадима отправился восвояси, без умолку разглагольствуя о былой нищете Омонте и скудости его подачки.

Заиграл оркестр: две гитары, два аккордеона и фисгармония, из-за которой видны были только черные очки маэстро. Музыканты играли марши и танцы, останавливаясь лишь затем, чтобы хлебнуть чичи из фаянсового кувшина.

С наступлением вечера заходящее солнце залило золотым потоком полнеба, и его косые лучи сверкающей паутиной переплелись между деревьями, опутывая фигуры гостей в черных костюмах.

Выпитая чича растопила сердце Омонте.

— Да, изрядно я поработал. Об этом здесь мало кто знает. И если достиг я богатства, то все оно принадлежит моим детям и, ясное дело, моей родной земле!

Золотая паутина померкла в тени гуайяв, и тихий птичий щебет поднялся к небу. А небо нежно светилось, словно стеклянный абажур, окрашенный в тон фруктовым долькам, плавающим в стаканах с чичей. Земля тихо дышала. Казалось, вся природа, освободившись от нескромного взгляда солнца, сбросила одежды и подставила свою

зеленую кожу дыханию ветерка. Это дыхание обвевало кочабамбинского горнопромышленника, проникало в самую глубь его существа вместе с соком плодов земли — чичей, которая зажигает в крови воинственные и любовные стремления, но будит также и легкую печаль.

— Для родной земли — все! — повторял он хриплым голосом, подняв бокал. — Здесь хочу я окончить свои дни! Пусть знают: все, чего я добился, сделано этими руками. В других местах меня уважают. А вот на моей родной стороне мне говорят, что я чоло… Ничего, придет время, и они еще пожалеют…

В темноте никто не увидел, как на глазах у сеньора Омонте блеснули две капельки цвета чичи. Опечаленный вождь либеральной партии утешал его:

— Все это здешние дела, доктор Омонте. Но и тут есть люди, которые ценят вас по заслугам!..

На следующий день не явившиеся на банкет кабальеро занимались пересудами на площади под сенью терпентинного дерева.

— Говорят, перепились все, как скоты…

— Добрались до веселого дома Осо. Для широкой публики двери были закрыты…

— Там Омонте поставил шампанского…

— Всего полдюжины… Когда принесли вторую порцию, Омонте притворился спящим, и пришлось отправить ее обратно…

Вдруг все замолчали и обернулись. Миллионер, одетый в темный костюм, прошествовал мимо в сопровождении своей свиты.

— Пошел улаживать дела банка…

В самом деле, в резиденции Омонте его поджидала делегация земельных собственников, должников банка, который грозил им взысканием по суду с продажей имущества.

Среди прочих находился там и человек со сморщенным, как пустые мехи, лицом; одет он был опрятно, хотя его брюки и лоснились на заду, а куртка — на спине и локтях. Это был сеньор Обандо-сын. Омонте, со своей безошибочной памятью, сразу признал в нем того самого молодого человека, который семнадцать лет назад гнал его пинками по улице, наказывая за совращение Хесуситы.

— Доктор Омонте, мы с величайшей радостью приветствуем ваш приезд в родные края… Политика Земельного банка, крупнейшим акционером которого вы являетесь, душит Кочабамбу. Мы, земельные собственники, не в силах собрать деньги для оплаты своих долгов и стоим перед

угрозой продажи наших имений за бесценок. Нам отказывают в новых кредитах, урожаи крайне низки, а денежный курс очень высок.

Миллионер, обливаясь потом после выпитой накануне чичи и обмахиваясь платком, выразил готовность уговорить остальных акционеров на отсрочку платежей.

Когда депутация удалилась, он спросил у адвоката:

— Что собой представляет ферма этого Обандо? Сколько он должен?

— Ферма «Майка», двести фанег[29]. Должен двенадцать тысяч боливиано.

— Пора им научиться работать. Все они лодыри, живущие на заемные деньги. А потом приедет Омонте и все уладит. Ловко придумано. Но я не так-то прост. Надо объявить продажу с торгов и, главное, не забыть об этой ферме Обандо… Доктор Давалос пришлет вам инструкции.

Инструкции состояли в следующем: поскольку спроса на землю не будет из-за отсутствия у покупателей денег, выждать снижения установленной кадастром расценки на две десятых и тогда скупить фермы через подставных лиц.

---

[29] Примечания: 29

Фанега — мера площади, равная 0,65 га.

Ферма Обандо перешла в руки Омонте, а с ней и восемь других в провинциях Серкадо, Кильякольо и Валье.

Но самого Омонте при этом уже не было. Он возвращался в Оруро, и зеленые ветки хлестали по дверцам кареты под синим взором горы Тунари.

VIII

Огни Парижа

Южноамериканцы! Поезжайте в Париж! Это советуют вам поэты, историки, политики и разбогатевшие выскочки, которые посылают оттуда почтовые открытки с изображением женщины, отплясывающей канкан.

Во всей известной южноамериканцу 1912 года вселенной Париж — звезда первой величины. Остальные столицы подобны ярмарочным диковинам: Лондон, набитый чопорными англичанами и непривлекательными англичанками; Берлин с его пивными и толстыми немками; Нью-Йорк — «этажи до неба, миллионы без хлеба». Зато Париж олицетворяет разумный и понятный идеал, к которому не может не стремиться «латинский дух» южноамериканских дикарей.

Поезжайте в Париж, поэты и писатели, жаждущие бурных переживаний и ослепительного света!

Поезжайте в Париж, экс-президенты республик! Отправляйтесь в золотое изгнание и пишите оттуда письма своим приверженцам, давая

понять, что изучаете великие европейские проблемы, хотя на самом деле вы только пьянствуете и охотитесь за мидинетками.

Поезжайте в Париж, «обеспеченные» сеньоры, прихватив деньги, залежавшиеся в ваших сундучках, где хранятся серебряные тостоны, золотые фунты, жемчужные колье, изумрудные серьги и закладные письма.

И вы, боливийские горнопромышленники, — Арган-донья, Пачеко, Арамайо, Патиньо, — оставьте свои индоиспанские приплюснутые горные городишки, выстроенные из необожженного кирпича и черепицы или украшенные серебристой резьбой по вековому камню; городишки, где душными пустыми ночами не встретишь на улице ни живой души, кроме бездомного пса или пьяного забулдыги, где свет, упавший из открытой двери на мостовую, кажется кровоточащей раной на темных круглых булыжниках, между которыми прорастает трава — если город в долине, и набивается иней — если он в пуне.

Поль Фор[30] читает свои стихи; Муне-Сюлли[31] блистает на подмостках театра Порт-Сен-Мар-

---

[30] Примечания: 30
Поль Фор — французский поэт (1872–1960).

[31] Примечания: 31
Муне-Сюлли Жан — французский трагический актер (1841–1916).

тен; Режан[32] кричит в пьесах Бернстейна [33]; и парижане пускают в ход трости на премьере «Шантеклера»[34]. Но все это не дано вам увидеть, если вы не повезете своих детей учиться, а заодно не освободитесь от колониальной морали своих городов, где брак — дело серьезное, где монастырский жизненный уклад обуздывает аппетиты чувственных метисов.

Поезжайте в Париж и ради своей души, и ради тела. Французской столице принадлежит неоспоримая монополия на грех. Поезжайте в Париж, посмотрите, что сотворили гринго в сообществе с дьяволом: Эйфелеву башню, фабрики, банки и кабаре, где, зажигая огонь в крови, танцуют нагишом прекраснейшие белые женщины с султанами из перьев на голове.

В 1912 году поехать в Париж означало перенестись по волшебству в иной мир, изменить самую свою сущность, превратиться в человека будущего, опередить на целый век колониальную Америку с ее бескрайними землями,

---

[32] Примечания: 32
Режан Габриэль — французская актриса (1856–1920).

[33] Примечания: 33
Бернстейн Анри — французский драматург (1876–1953).

[34] Примечания: 34
«Шантеклер» — пьеса Эдмона Ростана (1868–1918).

непроходимыми лесами, сказочными пампами и фантастическими неистощимыми рудниками.

Итак, мы в Париже, Сенон…

Да, мы в Париже. Толпы нуворишей бродят по бульварам, глазея на витрины, рынки и деревья, на омнибусы и велосипедистов.

У Омонте теперь тяжелая походка, он тучен и полнокровен, это заметно по цвету щек и крыльев носа. Голос у него стал хриплым, дыхание с шумом вырывается из широкой груди. В его галстуке сверкает большой бриллиант. В руке — трость с золотой рукоятью. Ему- жарко, он обмахивается широкополой фетровой шляпой. Седые волосы мелькают в его жесткой шевелюре, коротко остриженной по велению моды, весьма благоприятной для его буйной растительности, аккуратно подбритой на шишковатом затылке и выпуклых висках. Бурые глазки, почти лишенные ресниц, окруженные сеткой легких морщинок, прячутся под нависшими веками.

Сеньора Антония выступает рядом с ним. — Ее живые глаза жадно следят за привлекающими ее внимание диковинами; она непрерывно вертит головой из стороны в сторону, и так же непрерывно работает ее язык, комментируя все увиденное.

Впереди шагает няня с малюткой, а рядом, схватившись за руки, — двое старшеньких, которые выглядят уж очень смуглыми на этом белокожем бульваре. В группе туристов не хватает только Сесилии, чье непонятное поведение было единственным темным пятном, омрачавшим безоблачную радость всего семейства в Европе.

В недобрый час взбрело на ум донье Антонии взять с собой в Париж свою любимицу Сесилию, индианку из Сикасики, прислуживавшую ей в Оруро.

— Всегда я не доверяла слугам-иностранцам, а теперь эта индейская девчонка здесь иностранка, — так определила донья Антония несовместимость индианки и цивилизованного мира.

С тех пор как у Сесилии отняли индейскую одежду и обрядили в европейский костюм, ее природа взбунтовалась, и бунт выразился в упрямом отказе от всего. Она ничего не говорила, ничего не хотела делать. Еще на пароходе, в каюте второго класса, она едва не умерла с голоду, отказываясь выйти к столу и принять услуги лакеев. Когда супругам Омонте об этом доложили, донья Антония вынуждена была сама приносить ей в каюту сандвичи и пирожки.

Сесилия, одетая по-европейски, выглядела

страшилищем. Сбитая с толку, перепуганная, она молча озиралась вокруг и боялась хоть на минуту отпустить от себя детей, особенно младшую, Антуку, к которой испытывала материнскую привязанность.

В большом доме на Елисейских полях европейские слуги потешались над ней, а она не выходила из своей комнаты, где развела страшную грязь, и целыми днями сидела на полу, не произнося ни слова. Оживала она, только когда ей поручали малютку. Краска заливала ее смуглое лицо, и она носила девочку на руках по просторной спальне или по саду, где, предвещая весну, наливались бурые почки.

Раз как-то донья Антония вытащила ее покататься с детьми в экипаже, чтобы она немного «развлеклась». Они собирались подняться на Эйфелеву башню, и тут-то последовал решительный отказ Сесилии. С билетами в руках, под водительством кучера, они направились к лифту, но Сесилия уперлась и не желала сдвинуться с места.

— Что с тобой? Ты не хочешь посмотреть оттуда, сверху?

— Нет, хозяйка. Ни за что, — отвечала Сесилия, опустив голову и прижав подбородок к груди.

Кругом стали собираться любопытные. Донья Антония, вся красная от стыда, боясь оставить служанку одну, должна была вернуться домой и там, позаботившись, чтобы никто их не видел, затолкала ее в комнату.

— Дура индейская, и для этого нарядили тебя в хорошее платье? Так и останешься на всю жизнь индианкой. Надевай свои грязные юбки!

Она снова вместе с детьми села в ландо, и кучер-испанец повез их. Деревья, сверкающие витрины, толпа, весна — все радовало глаз. Дети кричали от восторга и поминутно останавливали экипаж, упрашивая мать купить что-нибудь. Они проехали по Рю-де-ла-Пэ, где она купила часы, и немало времени провели в магазине «Бон Марше», обращаясь за советами к кучеру. Домой они вернулись нагруженные пакетами. Вскрывая их, чтобы показать покупки мужу, донья Антония развивала весьма оптимистическую теорию цен:

— Вот ожерелье от «Буда» — двенадцать тысяч франков. А это корсет из «Бон Марше»— двадцать франков. Как дешево, правда? В Боливии за все заплатишь вдвое, больше чем вдвое.

— И все-таки надо быть осторожной, — заметил Омонте, почесывая затылок. — Все они тут воры.

— Что правда, то правда, — подтвердил кучер,

притащивший из экипажа остальные покупки.

— Вы ведь испанец, не так ли?

— Чистокровный испанец, мадам.

— Я тоже… Я — дочь испанца.

И она дала ему на чай, словно кучеру наемной кареты.

Слава о миллионах Омонте привлекла к особняку, снятому на Елисейских полях, бразильского плантатора, в чьих руках, похожих на лапы орангутанга, кофейные зерна превращались в бриллианты; семью доктора Итурбуру, аргентинского скотовода, чьи стада так густо покрывали пампу, что казалось, будто она поросла не травой, а рогами; кубинского сахаропромышленника, который хвалился, что, скачи он верхом хоть двадцать четыре часа, все равно не объедет все свои шелестящие тростниковые плантации; и венесуэльского генерала, который любил рассказывать, как у себя на родине он всегда вместе с саблей носил на поясе мешочек с золотом, чтобы бросать монеты барабанщикам во время веселых местных празднеств (никогда, впрочем, не вспоминая об этих повадках в парижских кабаре).

Вместе с ними появились и кое-какие мнимые боливийские богачи, которые жили в Париже в скромных пансионах, в театры ходили на галерку

и обедали в дешевых ресторанах, чем вызывали презрение. некоего настоящего боливийского миллионера, который возомнил себя британцем и обучал своих детей в Оксфорде.

Один из боливийцев, живущих в Париже, дон Панталеон Уркульо, человек с черными бровями и седой шевелюрой, подчеркивающей моложавость его гладкого лица, всегда щеголявший в белых гетрах и кремовом жилете, оказался другом этого миллионера, о чем случайно узнал Омонте, когда пожелал как-то пригласить Уркульо на ужин.

— Очень сожалею, сеньор Омонте, — ответил ему Уркульо, — но именно на этот вечер я приглашен в оперу, в ложу дона Феликса Авелино Арамайо[35]. Он редко приезжает в Париж и на этот раз… никак не могу его покинуть.

Через несколько дней Уркульо принял приглашение Омонте в дорогой ресторан на улице Риволи. На обеде присутствовали еще несколько

---

[35] Примечания: 35

Этот кабальеро, отец миллионера-горнопромышленника дона Карлоса В. Арамайо, был сыном одного из пионеров боливийской промышленности— Авелино Арамайо, который с похвальной честностью заявил в своих «Воспоминаниях», что до пятнадцати лет был неграмотен и прислуживал погонщикам, присматривая за их мулами. Это гордое признание не приведено в аристократической биографии, которую сочинил Адольфо Коста дю Рельс для дона Феликса Авелино, — очевидно, оно показалось ему недостаточно «изысканным». *(Прим, автора.)*

боливийцев с супругами.

Уркульо язвительно критиковал боливийскую дипломатическую миссию во Франции. В прошлом он был секретарем посольства.

— Теперь, — сказал он, — наше посольство похоже на лавку в квартале Сан-Роке. О, в те времена, когда послом был Аргандонья!..

Вежливые, вышколенные лакеи, изысканное меню, оркестр, тонкие вина, декольтированные женщины, мужчины с крахмальной грудью. Сеньор Омонте удовлетворенно рыгнул и поковырял в зубах. Появился счет, и он вынул бумажник одновременно с Уркульо.

— Вы собираетесь заплатить? — иронически спросил Омонте.

— Нет, если хотите вы…

— Сколько?

— Trois cents quarante cinq francs, monsieur[36].

— Что?

Омонте взял счет и принялся изучать его. Потом вытащил три билета по сто франков и один в пятьдесят и подал лакею. Сдачу он оставил на чай, ничего к ней не добавив. Омонте и не заметил, какую презрительную гримасу скорчил

---

[36] Примечания: 36
Триста сорок пять франков, мосье *(франц.)*.

лакей, но тут вмешался Уркульо.

— Позвольте, раз уж я достал бумажник…

И он положил на поднос бумажку в пятьдесят франков.

Лакей просиял, но Омонте нахмурился.

— Ну-ка, постойте, — пробормотал он своим хриплым голосом и, вытащив пятисотенную ассигнацию, протянул ее лакею.?

Все вышли на улицу. Уркульо незаметно задержал Омонте.

— Простите меня, мой уважаемый соотечественник, но в Париже вы новичок… Здесь очень требовательны насчет чаевых. В чаевых — тайна французского воодушевления. Однако преподносить этому бездельнику такой подарок тоже было незачем.

Весь особняк, его сервизы, хрусталь и челядь были в полной боевой готовности к интимному ленчу, который устраивали супруги Омонте, пригласив на угощение «по-боливийски» сеньоров Солорсано и Антекера с супругами, одинокую родственницу доктора Итурбуру и венесуэльского генерала.

Бурная деятельность началась с самого утра. Донья Антония при помощи Сесилии стряпала на кухне креольские блюда, щедро приправляя

их привезенным из Боливии индейским перцем. Ей не терпелось похвалиться своим роскошным дезабилье, и под предлогом, что собрались только «свои», она надела его для приема гостей, а в ушах, на шее и на пальцах так и сверкали бриллианты.

Венесуэльский генерал присоседился к стоявшей на мраморном столике бутылке с коньяком «наполеон» и постепенно опустошал ее.

Но вот все уселись за стол. Шумным-одобрением была встречена ярко-красная мешанина, в которой плавали куски цыплят и картофель.

— Пальчики оближешь…

— Угощайтесь, кушайте вволю… Берите руками, туг ведь вилкой не подденешь.

Вскоре все салфетки были покрыты красными пятнами.

— Вино… Лучше бы запивать чичей, но что поделаешь? Рейнвейном тоже неплохо, — сказал Омонте.

На кухне дворецкий, лакеи и горничная обменивались язвительными замечаниями:

— Рейнвейн!.. Много они в нем понимают. Пьют такое, что и грузчики пить не стали бы…

Слуги прятали пустые бутылки из-под хороших вин и потом, тайком наполнив их третьесортным

пойлом, снова подавали на стол.

— А что это они едят?

Повар:

— Что-то страшное, угощение мексиканских индейцев пли черт их знает кого, может, и людоедов.

Дворецкий:

— Что и говорить, дикари, но с большими деньгами. Камердинер, зажав двумя пальцами нос:

— А сеньор, когда ложится спать, запихивает свои носки поглубже в туфли, а наутро требует, чтобы я ему их подавал. И спит всегда в рубашке и кальсонах.

Кучер:

— А что за ужасные желтые автомобили они купили себе!..

Служанка:

— И не хотят принимать ванну, ни за что не хотят…

В столовой донья Антония, словно невзначай, давала понять, как велико их богатство:

— Мы собираемся купить дом на Авеню-Гюис-манс…

— Но это район не очень… не очень аристократический, — заметила сеньора Солорсано.

— Как не очень? Рядом стоит шале маркиза де

л'Этерель, а немного подальше — посольство, кажется, португальское. Я была… мы с Сеноном были как-то на приеме в боливийском посольстве, и брат того посла сказал, что мы будем их соседями.

— О!..

— Да, да… Нам предлагают много домов. На прошлой неделе нам хотели продать дворец какого-то принца… Сенон предложил восемьсот сорок тысяч, но они просили восемьсот пятьдесят, и я сказала, чтобы он не соглашался. Дело не в десяти тысячах, а просто нельзя им позволять обирать себя…

Она вдруг замолчала, увидев бритого камердинера своего мужа. Донье Антонии в глубине души казалось, будто иностранная челядь — горничная в белой наколке, немка няня, усатый дворецкий — все насмехаются над ней.

— Есть прекрасные дома, можно выбрать.

— Ах, Париж! Не сравнить с Боливией, не правда ли?

— О, Боливия — нищая страна… Там ничего нет.

— Не пора ли вам, — сказал как-то Уркульо Сенону Омонте, — оставить дружбу с этими захудалыми боливийцами… В Боливии они счи-

таются большими людьми, а здесь их ни во что не ставят. Они ни с кем не знакомы. Я слыхал, что недавно Солорсано и Антекера затащили вас в «Гаррон» и, набив за ваш счет свои голодные желудки, заставили вас уплатить фантастическую сумму за ужин с балеринами. Это не дело! Ваше место выше, гораздо выше! Я найду вам общество получше. Вы не знакомы с мосье де Броди-Леруа? Это дипломат, светский человек, журналист. Я познакомлю вас.

Омонте, мосье де Броди-Леруа и сеньор Уркульо, все трое во фраках, посетили некий дом. Привратник в ливрее проводил их в роскошную, освещенную хрустальными люстрами гостиную с мягким голубым ковром и белыми гардинами. Шурша шелками и позвякивая драгоценностями, к ним вышла слегка располневшая, но изящная и величественная дама с манерами герцогини, а следом за ней, легкой нежной поступью, — дамы помоложе, с осиной талией и золотыми кудрями, с чьих губок слетали французские слова; и дамы с черными глазами, темными кудрями и завитками в виде вопросительного знака на щеках, у этих с губок лилась шепелявая испанская речь.

Выпили шампанского.

— Какая вам нравится, Омонте?

Разглядывая женщин своими хитрыми глазками, Омонте задумался. Смуглянки говорили по-испански, с ними он смог бы столковаться, но эта француженка с мушкой на щеке…

— Вот эта, беленькая, — сказал он.

Беленькая тут же погладила рукой его жесткие лохмы, не поддающиеся никаким ухищрениям парикмахеров. Она заговорила с ним по-французски, и Омонте, молча улыбаясь, держал ее на коленях, не узнавая сам себя, словно эта француженка одним своим взглядом уничтожила в нем метиса и чудесным образом заменила его другим существом, достойным составить ей пару.

Девушки, выглядевшие богинями, получив баснословную плату, разделись донага и в отдельных кабинетах продемонстрировали свое искусство в разнообразных эротических извращениях.

— Все они девственницы, — объяснил Уркульо, — но в школе их учили читать по произведениям Аретино[37].

Старший сын занимался французским языком в комнате с балконом, выходившим на улицу. Придя на урок, учитель вешал свою шляпу и старое пальто и опускал жалюзи, чтобы мальчик не

---

[37] Примечания: 37

Аретино Пьетро (1492–1557) — итальянский сатирик, известный вольностью своего стиля.

отвлекался. Тогда Арнольдо находил себе другое развлечение. Глубоко запавшими глазами, которые на его маленькой мордочке казались еще двумя рябинами среди множества других, оставленных оспой, он принимался разглядывать во всех подробностях висевший на стене портрет Альфонса XIII, арендованный вместе с мебелью и домом. Мальчику не верилось, что на самом деле может существовать сеньор с таким количеством медалей и зубов.

Второй сын, Тино, почти не учился. Он все время болел, лежал в постели или же бродил по пятам за служанками, как рахитичное привидение.

Младшая, Тука, была еще совсем крошка, и немецкой няне предпочитала индианку Сесилию.

Донья Антония терпеливо и настойчиво училась французскому языку вместе с детьми. Ее занятия проходили в гостиной стиля ампир, где она, неизменно щеголяя в бархатных платьях, чувствовала себя вполне непринужденно.

Сам Омонте таким терпением не отличался. Вскоре после приезда в Париж он нанял в учителя седобородого старичка француза в потертом сюртуке; старичок был очень обижен тем, что ему

поручили учить только жену и детей Омонте.

Себе Омонте нашел другого учителя, мосье Рише, с мушкетерскими усами и повадками трагического актера. Мосье Рише хватался за голову, слушая чудовищное произношение своего ученика.

— Нет, нет, нет… Derrière, derrière… comme ça, derrière…[38] — усиленно грассировал он.

— Деррьер… — твердо произносил Омонте.

— О, нет, нет…

Пока наконец сеньор Омонте не рассвирепел:

— Послушайте, вы! *Ни комон са, ни комон си!* Не умеете вы учить! Получайте свои деньги и убирайтесь.

И он вышел первый, пыхтя от ярости. «В конце концов, если хотят со мной разговаривать, пусть учат испанский…»

Он нанял переводчика и секретаря, знающего французский и испанский языки. С секретарем он начинал работать спозаранку, даже если накануне ложился поздно. Отчеты из Боливии и из агентства в Чили… Утверждение заказов на оборудование, которые поступали из рудников… Проект учреждения частного банка в Оруро…

---

[38] Примечания: 38

Позади, позади… вот так, позади… *(франц.)*

— Ну-ка, прочтите еще раз эту часть счета на закупку железного лома в Пулакайо. Утверждаю, пусть покупают.

— А это что такое? Браслет — пять тысяч франков? Точно такой же месяц назад в том же магазине стоил только четыре с половиной тысячи. Видно, ювелир и та дама стакнулись, чтобы обобрать меня. Это я проверю лично…

— Полагаю, тут не очень точно переведено насчет акций Англо-чилийской компании в Сантьяго. Пусть переведут как следует… Теперь напишите Эстраде, чтобы в пульперии были подняты цены на шампанское, иностранную обувь и шелковые рубашки, а то они там стоят не дороже, чем здесь. Это уж слишком. Так и разориться недолго. Еще одно письмо Эстраде: пеонам пусть выдают не агуардьенте, а спирт. Уж очень они там расщедрились за мой счет!.. Лосе сообщите, что сделка, которую предлагает Рамос, просто курам на смех: двести тысяч боливиано, когда этот мошенник палец о палец не ударил в руднике. Предложить ему двадцать тысяч, и пусть благодарит меня на коленях…

Он потер руки, нагнувшись к камину; выступающие скулы защищали его глазки от яркого огня.

— Я полагаю, — продолжал он, — инженер ошибается, собираясь вести выработку новой жилы в восточном направлении. Напишите ему: я помню, что когда-то проходка шла именно так. Следовательно, чтобы перерезать ее, надо пройти под углом. Другими словами, вправо. Поняли? Разумеется, ничего не поняли. Это письмо я напишу сам, все должно быть ясно, чтобы они там не ошиблись.

Он взял из пачки бумаг какое-то письмо. Поморгал глазами, бросил письмо на стол.

— Вот мошенник!.. Пошлите Эстраде телеграмму, пусть немедленно расторгнет контракт на поставку вагонеток с этим Хуанчо Каламой. Подумать только, говорит, что давал мне деньги для начала работ на руднике! Пьян он, что ли?.. Расторгнуть с ним контракт!

Ко дню рождения миллионера в большом холле резиденции был выставлен его портрет — три метра на два — работы Сесилио Пла; послы Эквадора и Гватемалы, ближайшие боливийские друзья, кубинский журналист, испанский консул, бразильский кофейный плантатор, прибывшие вместе с супругами на прием, восторгались чистотой линий, безукоризненным покроем нового костюма, удачным сочетанием красок. Художник

изобразил Омонте в кресле стиля Людовика XV, с перчатками в левой руке; взгляд, одновременно строгий и милостивый, был устремлен вперед, усы подстрижены по требованиям моды, а вырез жилета окаймлен черной атласной ленточкой, подчеркивающей белизну пластрона с ослепительным бриллиантом. Рядом с мужем стояла донья Антония, в синем бархате, с улыбкой на устах; одна рука, унизанная кольцами, была опущена вниз, другая слегка придерживала на груди жемчужное ожерелье.

— Кажется, вот-вот заговорят… Чудесно!

Художник показал себя мастером цветной фотографии, искусным портным и даже чистильщиком сапог, ибо туфли Омонте на портрете блестели умопомрачительно. Сам Уркульо, всегда недовольный и ироничный, искренне похвалил портрет:

— Этот тип настолько богат, что даже стал похож на кабальеро.

Прием в доме миллионера был из ряда вон выходящим по яркости освещения и обилию икры и шампанского. Венесуэльский генерал получил в свое распоряжение целых четыре бутылки коньяка «наполеон» и к ночи настолько воодушевился, что предложил отправиться всем

вместе в какое-нибудь кабаре. Гости с восторгом согласились.

Уселись в экипажи и в автомобиль Омонте, наняли еще несколько автомобилей и по залитому светом Парижу отправились на Монмартр. Над входом в «Люцерн» вспыхивали и переливались разноцветные огоньки.

Шумное общество, переговариваясь по-испански, двинулось вниз по устланной ковром лесенке. Встретивший их на последней ступеньке метрдотель с оскорбительной любезностью заявил, что свободных столиков нет.

— А этот?

— О, этот заказан.

— А ложа?

— Все заказаны…

— Скажите ему, — обратился Омонте к венесуэльскому генералу, — что я заплачу, сколько бы это ни стоило.

Генерал обменялся несколькими словами с невозмутимым метрдотелем.

— Дело не в деньгах… Нет мест.

— Да как это нет мест! — разразилась донья Антония. — Попросите, Уркульо, чтобы к нам вышел хозяин. Очень уж они воображают о себе!

Сидящие за соседними столиками с любопыт-

ством наблюдали эту сцепу. В одной из лож с шумом появилась компания мужчин и полуодетых женщин.

— Где хозяин?

— Я представляю хозяина.

— Мы хотим говорить с ним самим…

— Завтра утром, сеньор, когда он встанет…

— Завтра? — прорычал Омонте. — Переведите этому наглецу, что завтра он вместе со своим хозяином приползет ко мне на коленях.

На следующий день кабаре, со всеми его лакеями, кассиршами, столиками, оркестром, апашами, костюмерными, лампочками, лесенкой и ложами, перешло в собственность миллионера Омонте, который купил его через своего секретаря. Омонте приказал уволить метрдотеля, и когда тот пришел принести свои извинения, велел передать ему, что, если он явится еще раз, его вышвырнут пинками.

Уркульо решил воспользоваться таким настроением, чтобы попросить взаймы пять тысяч франков, но сеньор Омонте приказал дать ему только пятьсот.

«Неисправимый скряга», — подумал Уркульо, пересчитывая бумажки.

Боливийские коммерческие дела разрастались

и усложнялись, как китайская головоломка. Омонте совершил поездку в Италию, затем в Германию, откуда его по совершенно безотлагательному поводу снова вызвали в Париж.

— Ты слишком много работаешь, — говорила ему жена. — Чем же занимаются эти бездельники, твои служащие?

— За всем надо присматривать самому. А не то все разворуют. И чем ты богаче, тем больше будут воровать.

Вот почему он читал и перечитывал отчеты, доискивался до фактов, которые от него скрывали, и диктовал строгие приказы, жестоко отчитывая своих служащих.

Он много работал, но в эту июльскую ночь 1914 года он сидел в своем кабинете стиля ампир праздно и неподвижно. Два происшествия парализовали его энергию. Первое давно уже нависало над домом, как гроза: в больнице умерла Сесилия, измученная тоской по родным горам, и Антония с детьми были безутешны. К этому семейному горю, по его мнению довольно заурядному, поскольку причиной была глупая индианка, прибавилось другое, глубоко личное, утонченное и гнетущее: он узнал, что Мадридка — итальянка с телом белым, как снег, и горячим,

как адское пламя, — обманывала его с сутенером, которого содержала на его же деньги. Она клялась, что это неправда, но Омонте все проверил через своих детективов.

Глухая злоба, смешанная и с нежностью и с горечью унижения поднималась в нем, когда он вспоминал, как эта женщина, уличенная неопровержимыми доказательствами, грубо обругала его по-итальянски и выставила из своего будуара, швырнув ему вслед шляпу. Это воспоминание было нестерпимо.

Он отослал из кабинета секретаря, у которого сам же спросил какие-то бумаги.

— Зачем мне эти бумаги? Неужели я не могу отдохнуть? Ничего этого не нужно.

Омонте вышел из дома. Он отпустил шофера и зашагал по улице, медленно расправляя широкие плечи, постукивая тростью и разглядывая огни проплывающих мимо автомобилей.

Он испытывал дурноту от непрерывного кружения в этой золотой карусели вместе с какими-то незнакомцами, всегда с незнакомцами: с немецкими коммерсантами, которые явились к нему в Берлине, чтобы купить олово; с английскими литейщиками, пригласившими его на ужин, чтобы уговорить продать им все его олово. Олово,

всегда олово… Неужели они не могут говорить о чем-нибудь другом? Но ведь и сам он говорит только об олове.

Благоухание лета разливалось по ночному Парижу. Все столики кафе, расставленные на тротуаре вдоль бульвара, были заняты влюбленными. Он остановился перед витриной, похожей на полный света аквариум. Мужчины и женщины парами проходили мимо витрины и, окунувшись на мгновение в световой поток, терялись в тени деревьев.

Разумеется, не все можно получить за деньги. Ни знатность, ни орден Почетного легиона, ни дружбу принцев, чьи портреты красуются в газетах рядом с портретом англо-боливийского миллионера, этого друга Уркульо, с профилем индейца-кечуа. Самому же Омонте досталась лишь весьма двусмысленная известность: слава содержателя, покинутого прекрасной Мадридкой, которую он унаследовал от бельгийского короля Леопольда, утешившегося с Клео де Мерод[39]. Но и тут, хотя обычно героев этих морганатических связей журналисты называют по именам, был лишь глухой намек на некоего «аргентинского»

---

[39] Примечания: 39

Клео де Мерод — французская танцовщица, известная своей красотой.

миллионера.

Его широкий размах никогда не получал известности в обществе, даже когда он купил автомобиль — двойник автомобиля кайзера. Его богатство импонировало лишь нескольким южноамериканским послам, которые получали свое жалованье с опозданием; парижским банкирам, которые провожали его до самых дверей; директорам отелей, которые лично встречали его на вокзале; метрдотелям, которые оставляли ему столики в кабаре; и самым дорогим продажным женщинам.

Сенаторы из боливийской колонии, за исключением Уркульо, держались высокомерно, соблюдая в Париже те же социальные разграничения, что и в Боливии.

Ему не удавалось подняться на следующую ступень. Он взглянул на свое отражение в витрине: какой он тучный и грузный. Фонари то скрывались за кронами стоявших в ряд каштанов, то снова бросали свой свет на лицо Омонте. Порывы ветра доносили до него запах листвы, забытый с давних дней, с тех давних дней, когда он мечтал заполучить пять тысяч песо. Потом, когда он получил их, найдя жилу, высшим пределом для него были пятьсот тысяч; за эти деньги он про-

дал рудник и, почти не заметив их, проследовал дальше, как поезд мимо станции, не указанной в расписании. Тогда ему понадобился миллион, чтобы купить имение в Кочабамбе и жить на ренту. Но шлюзы металлического потока были уже открыты, и деньги росли в геометрической пропорции. Остановиться было невозможно.

Невозможно? К черту эту Европу, где миллионы вытесняют его собственную личность, как призовая лошадь заслоняет имя своего владельца!

Внезапно его охватило страстное желание вырваться из этой пучины, бежать от искусственных огней Парижа и увидеть горячее солнце Кочабамбы… Красивая усадьба у подножья Тунари, стада, парк в европейском стиле вокруг виллы с башенками и сияющими стеклами, а перед виллой пруд, похожий на пруд в парке Тюильри, где под сенью лип пляшут, как наяды, отражения ночных фонарей.

Больше часу бродил он этой летней ночью по Парижу, озаренному сверкающими огнями. Почувствовав наконец усталость, он взял такси и вернулся домой.

Толпы вливаются со всех улиц на площадь Этуаль. Толпы собираются под знаменем на площади Конкорд. Гремит «Марсельеза» на Елисейских

полях. Война! Сеньор Омонте едва не затерялся в этом водовороте; пришлось ухватиться за дерево, чтобы его не унесло людским потоком.

А вот из потока захвативших его дел, от толпы промышленников, финансистов и министров ему не освободиться. Все требуют олова для ведения войны. Омонте позабыв о мрачных размышлениях, навеянных той ночью, когда, расчувствовавшись, он одиноко бродил по Елисейским полям. В тайниках его подсознания скрылся робкий метис, потерявший надежду добиться известности и славы при помощи своих миллионов.

«Таймс», не более не менее как лондонская «Таймс», опубликовала портрет Омонте со следующим сообщением:

«Снабжение ценным металлом обеспечено не только добычей его в наших колониях, но также и договором на ежемесячную поставку трех тысяч тонн олова, который заключил недавно южноамериканский магнат дон Сенон Омонте с представителями металлургической промышленности. Наш торговый флот будет перевозить эти грузы из Южной Америки под конвоем военных судов, чтобы прорвать блокаду, которой немцы несомненно попытаются поме-

шать поставкам, столь необходимым для защиты цивилизации и права».

В ответ на мольбы и требования белых людей, занятых индустриализацией убийства и разрушений, белая кровь метиса,'ускоряя свой бег, внушала ему дьявольские ухищрения для захвата финансовых высот. Жажда славы победила страх падения и увлекла за собой Омонте в вихре банковых билетов.

Этот вихрь принес его в Лондон, где с первого дня приезда банкиры, финансисты, литейщики и эмиссары министерства иностранных дел проходили перед ним чредой, добиваясь выгодных договоров на поставку олова.

Олово! Наконец-то Сенон Омонте ознакомился на литейных заводах Уильямса Гарвея с последними тончайшими процессами, которые проходила руда боливийских рудников. Пыжась от гордости, он наблюдал, как поступала она на завод в мешках с его инициалами, а затем подвергалась переработке и плавке при различных температурах в каменноугольных печах. Репортеры и специалисты сопровождали его, объясняя (один из них говорил по-испански) различные методы, с помощью которых содержание металла доводили до девяноста девяти целых и девяноста

девяти сотых процента. Омонте, глядя на расплавленное олово, вспоминал рассказ Уачипондо о молнии, «посеребрившей» ламу, навьюченную мешками с рудой.

Среди бетонных стен, кирпичных труб и огненных горнов, перед которыми суетились белокурые рабочие в кожаных рукавицах, инженер давал объяснения:

— Вообще для производства пулеметов, пушек и грузовых автомобилей олово требуется в небольшом количестве, но сейчас нам необходимо выпускать как можно больше автомобилей, пушек и пулеметов. Металлообрабатывающие заводы поставляют консервные банки для десяти миллионов солдат. Некоторые сплавы олова, нужные в мирной промышленности, тоже ничем заменить нельзя…

Олово, олово, олово! Рудники Малайских островов и Голландской Индии находятся в зоне военных действий, и немецкие подводные лодки топят транспортные суда. Но среди нас находится мистер Омонте, он родился в исключительной стране, которую провидение выбрало из всех стран Америки, заложив в ее недра достаточные запасы олова для защиты цивилизации и права! Больше олова, мистер Омонте! Готовьте олово!

Правительство, заводы, флотилии и рынок— все в вашем распоряжении.

Омонте остается в Лондоне, и оттуда в Боливию приходит грозный приказ: «Работать в рудниках двадцать четыре часа в сутки».

Теперь немцы блокируют и Атлантический океан. Боясь остаться без олова, Соединенные Штаты строят в Нью-Йорке первые литейные заводы для переработки руды, поставляемой Омонте. Он получает предложение приобрести акции Литейной компании. Каблограммы летят через океан. В Париж, в Нью-Йорк, в Сантьяго, в Оруро. «Направляю инженеров-янки провести новое исследование жилы в «Орко-сунтинья». «Проведите разведку в Уануни жил вольфрама».

Омонте работает по десять часов в день, он вникает во все, дотошно изучает каждый отчет, переведенный на испанский. Через полгода он возвращается в Париж.

Вокруг миллионера образовался целый штат советников, адвокатов и секретарей. С таким персоналом невозможно было работать в особняке на Елисейских полях, и пришлось снять целый этаж в доме на Рю-д'Эльдер, где разместились служебные кабинеты. У входа красовалась медная дощечка с внушительной надписью:

СЕНОН ОМОНТЕ
ПАРИЖ — ЛОНДОН — НЬЮ-ЙОРК — САНТЬЯГО.

Сообщения о партиотических пожертвованиях миллионера распространялись мгновенно, как огонь в соломе, и завоевывали общественное мнение. В «Тан», «Матен», в иллюстрированных журналах появились портреты Омонте, показывая миру его одутловатую физиономию, коротко, на немецкий манер, подстриженные волосы, крахмальный воротничок, подпирающий двойной подбородок, и объемистый живот, с золотой цепочкой для часов. Судя по монгольским глазам, читатели могли предположить в нем какого-нибудь экзотического азиатского союзника, но подпись под фотографией гласила, что этот мосье — южноамериканский миллионер, который поднес в дар французской армии санитарный вагон и два аэроплана.

Однажды некий посетитель, — чья черная борода и грубый голос являли разительный контраст с нежными светлыми глазами, — просидев в приемной чуть ли не неделю, добился своего и проник в кабинет Омонте. Он разложил перед миллионером несколько экземпляров изящно оформленного журнала и, подчеркнув его влияние в политических кругах и высшем свете,

предложил опубликовать в ближайшем номере краткую биографию Омонте, а также портреты его супруги и дочери, посвятив этот номер оловодобывающей промышленности Боливии (которую журналист считал одним из Антильских островов). Предложение было передано секретарю-бельгийцу, тот сообщил нужные даты и сведения, и журнал вышел, украшенный изображениями Омонте, его семьи, его дворца в Париже и виллы в Биаррице. В статье сообщалось, что Сенон Омонте происходит из рода Омонте, испанских идальго, принимавших участие в завоевании Перу в XVI веке.

Под фотографией виллы было написано, что боливийский магнат-принес ее в дар французскому правительству, с тем чтобы открыть в ней больницу для страдающих душевной болезнью — «военной тоской». Секретарь-бельгиец запросил в посольстве Боливии какие-нибудь живописные виды страны, но там нашлась только одна, уже исписанная, открытка, на которой был изображен дворец правительства в Ла-Пасе. Дворец выглядел настолько жалким, что решено было не передавать фотографию в редакцию. Редактор получил в подарок пять тысяч франков, и, кроме того, у него было куплено пятьсот экземпляров

журнала.

После окончания первой мировой войны из Боливии прибыл доктор Клаудио Давалос, адвокат и финансист, главный уполномоченный Сенона Омонте. Он был приглашен на интимный обед в особняке на Елисейских полях. Присутствовали только донья Антония, Омонте и гость. О многом надо было поговорить без свидетелей.

Рыжеватая с проседью шевелюра доктора Давалоса подчеркивала темно-табачный оттенок его узкого толстогубого лица. Когда он прикрывал веками маленькие глазки, белки исчезали и видна была только водянистая полоска, цветом напоминающая мутное болото. Жидкие рыжеватые усы свисали на углы рта.

Сеньора, усыпанная драгоценностями и веснушками, с напряженно-величественным видом отдавала приказания лакеям. Косметика не вполне скрывала ее веснушки, а по неестественно правильной линии лба можно было догадаться, что она выщипывает волосы на висках.

Донья Антония несколько смягчила тон, заговорив о болезнях:

— Я плохо себя чувствую, Сенон тоже. Сердце шалит… Такое переутомление…

Но и тут она постаралась показать, как отли-

чаются от простых болезней те редкостные и необычные недуги, которые доступны только людям, способным оплачивать их лечение.

— А вы как поживаете, доктор? Наверно, страдаете от холода…

— Ужасно, сеньора моя, донья Антония. Этот снег…

— Но здесь это не чувствуется… здесь, у нас в доме, я хочу сказать.

— Ну еще бы! Здесь все так комфортабельно… И вообще, если забыть о климате, только в Париже и можно жить. В Боливии такая отсталость. Представляете себе, сеньора, в Ла-Пасе возводят лишь первый четырехэтажный дом, если только его достроят… А эти республиканцы совсем закусили удила. Ни перед чем не останавливаются: мало того что называют нас убийцами Пандо, но еще в «Ла Расой» сравнивают сенат с караваном старых мулов. И потом эпидемия ужасного гриппа, и ни одной больницы. Правительство начало сбор пожертвований среди состоятельных граждан. Разумеется, нашей компании пришлось дать десять тысяч боливиано. Вы это утвердили, дон Сенон.

— Да, да.

— Но это еще не все. Правительство хочет

купить аэроплан и снова просит вспомоществования у общества. Привыкло жить подачками, вместо того чтобы заставить работать всех бездельников…

— Ах, боже мой! — перебила донья Антония. — Когда только мы сможем, не стыдясь, говорить о нашей стране!

Лакеи в черных фраках скользили в полутьме, бесшумно, как их отражения в зеркалах.

Обед закончен. Сеньора удалилась, а Омонте и Давалос перешли в кабинет и устроились в глубоких креслах. Омонте, с зубочисткой в зубах, походил на дикого кабана, а Давалос на передразнивающую его старую обезьяну.

— В каком положении вы оставили политические дела?

— Мы одержали победу в сенате. Если помните, наших противников было девять, нас — восемь.

— А как вам удалось убедить доктора Куэльяра?

— Мы послали ему на дом извещение об уплате его долга банку в сумме пять тысяч боливиано и предложили адвокатуру в Ла-Пасе. И тогда нас стало девять, а их — восемь. Мы свалили кабинет.

— Но это скандал… В конце концов обо мне

заговорят…

Роняя пепел сигареты на жилет, Давалос объяснил:

— Все дело в нетерпимости Тельеса Кастро… Я пришел к нему и говорю: «Можно бросать друг другу самые чудовищные обвинения, но при закрытых дверях. Нельзя стирать грязное белье на глазах у всех». Но он защищал интересы своего тестя и… дал волю языку. Заявил на заседании сената, что истинной причиной запроса в парламенте является история со спиртом для рудников Омонте; что он защищает интересы казны против большинства, которым по приказам из Парижа командует выскочка-мулат.

Давалос рассмеялся и продолжал — не очень внятно, как будто слова, проскользнув сквозь его золотые зубы, запутывались в висячих усах.

— Вот так он честит меня… и еще добавил, что этот мулат мечтает стать президентом республики. Молодой сенатор Мартин Гуаман, — а у него язык хорошо подвешен, — в своем ответе заявил, что сам Тельес Кастро не лучше мулата, так как является одновременно министром и зятем главы Национальной компании.

— Неплохое сочетание!

— Вопрос о будущем президенте всех перебала-

мутил… А оппозиция разразилась аплодисментами и заявила, что это драка между своими. Самое важное для нас теперь, сеньор мой дон Сенон, обеспечить на будущих выборах абсолютное большинство в сенате. Если бы не долг Куэльяра банку, они бы нас одолели…

Омонте закашлялся. Огонь в камине стал угасать. Он кликнул камердинера.

— Подбросьте дров… И коньяк…

Камердинер позвал другого лакея и, подбрасывая поленья в камин, передал ему приказание по-французски.

Омонте и Давалос при звуках чужой речи почувствовали себя несколько ущемленными. Когда слуги ушли, они продолжили беседу:

— Нам следует основать большую газету, принадлежащую нашей компании. Доктор Итурисага разработал план.

— Опять деньги… — пробормотал Омонте. — Газеты, сенаторы — за все должен платить Омонте, чтобы иметь возможность работать на своем руднике. Сколько нам будет стоить этот сенат?

— О, тысяч пятьдесят — шестьдесят. Но тогда мы гарантированы, что враждебная нам палата не наложит на нас непосильные налоги. Ведь в Боливии считают, что компания получает фан-

тастические доходы не только от олова, но и от вольфрама.

— Гм… А как вы находите условия договора на продажу вольфрама?

— Я советовался со специалистами в Чили и Соединенных Штатах. Говорят, надо подписывать, потому что война окончена. С договором в руках можно купить рудники в Ками и Уануни, которым больше некому продавать свой вольфрам. Кроме того, надо достроить железную дорогу…

— Еще миллион фунтов. Плюс реорганизация рудников. Столько расходов…

Тут Омонте вспомнил об Эстраде. Как далеко от него был этот человек с орлиным профилем.

— Он очень хорошо работал. Выполнял все, что от него требовалось.

— Откровенно говоря, дон Сенон, не столько он, сколько гринго. А он-то всегда говорит с пренебрежением о… о компании. Пора назначить управляющим иностранца, который поставит дело… научно.

— Да, да, — подтвердил миллионер. — Лучше иностранцев нет никого. Эти янки и немцы делают чудеса. Единственная должность, где нужны боливийцы, это адвокаты.

— И президент республики, разумеется. Кста-

ти…

Открыв в улыбке нижние зубы, Омонте устремил лукавые глазки на Давалоса.

— И об этом поговорим, но только завтра. Нам ведь с вами рано вставать.

В холле, среди мраморных статуй, блестящих зеркал и бронзовых канделябров бился отчаянный вопль:

— И-и-и-и!..

По всему дому захлопали двери, и дворецкие, лакеи, швейцары, служанки забегали по устланным коврами лестницам.

— Тино, Тино! — кричала донья Антония.

Сеньор Омонте спустился вниз из своего кабинета и увидел в колле толпу слуг, окружившую тело его сына.

— Врача, ради бога, врача! — крикнула сеньора.

Слуги заметались, натыкаясь друг на друга. Одни бросились к телефону, другие — на улицу, третьи подняли мальчика и понесли в спальню. С его бледных губ стекала струйка крови.

— Это случается с ним уже второй раз, доктор, — объяснила донья Антония бородатому врачу.

Переводчик повторила

— C’est la deuxième fois…

Врач выслушал Тино, вывернул ему веки, потом сделал укол. Мальчик заснул.

Позже прибежал боливийский врач, доктор Менендес, и Омонте грубо отчитал его:

— Где вы пропадаете, как раз когда вы нужны! Платишь бешеные деньги, и можно умереть тут без всякой помощи! Надо отвезти ребенка в санаторий Мальмезон.

Через неделю Тино поправился. Опять он начал бродить по всему дому, передвигаясь с места на место с какими-то странными, почти обезьяньими ужимками. Он непрерывно моргал и строил служанкам отвратительные гримасы. И не только служанкам. Когда донья Антония принимала визиты в голубой гостиной, при свете огромной люстры с призматическими хрустальными подвесками, Тино просовывал голову в дверь и показывал гостям язык.

В зеркалах особняка то и дело мелькала тощая фигурка мальчика, его очень смуглое лицо, жесткие, всегда растрепанные волосы. Иногда он простаивал перед зеркалом целыми часами, корча рожи и дрожа, как ртуть. Ему исполнилось тринадцать лет.

Знаменитые врачи: доктор Ла-Шантр — педиатр, Вальян — специалист по питанию, Коше

— психиатр, Марганьян — невропатолог и Рулье — физиотерапевт, рекомендуя друг друга по цепочке, изучали трудный случай и в конце концов отвергли совет боливийского врача, который предлагал отвезти ребенка обратно в горы.

— Болезнь вашего мальчика, сеньор Омонте, напоминает нам болезнь сына магараджи Бенареса. Когда обратились к нам, преодолев упорное сопротивление английских коллег, которые не разрешали отцу увезти больного с Британских островов, мало было надежды на развитие умственных способностей принца. А теперь, как вам известно, он правит своими подданными. Доверьте нам сына. Применение ионизации, устранение с помощью вытяжек из щитовидной железы некоторых неправильностей роста, наши лечебные воды…

Сеньор Уркульо, узнав об этих диагнозах, выдвинул также свой — в частной беседе с доктором Менендесом:

— Какая там невропатология и психиатрия! Если хотите знать, у него (он понизил голос)… у него наследственный сифилис. Помните, дорогой мой, разоблачения дантиста из Сантьяго? Он утверждал, что Омонте инфицировал весь его инструментарий.

— Но это был шантаж! Дантист потребовал пятьдесят тысяч песо за две пломбы, а когда сеньор Омонте не согласился, он прибегнул к этому недостойному доводу, чтобы оправдать непомерно высокий тариф. Разумеется, пришлось сделать анализ крови…

— И каков был результат?

— О, отрицательный, конечно, отрицательный!

Уркульо зажег сигарету, затянулся и выпустил клуб дыма.

— Ладно, дорогой доктор, я не врач. Поэтому я, наверно, и не могу понять, каким образом этот отпрыск молодой, здоровой расы мог подцепить аристократическую болезнь. Черт возьми! Что делают миллионы! Подумать только, этот ублюдок, сын метисов, страдает тем же недугом, что и принц крови…

IX

Оловянная политика

Боливия того времени переживала период бурной деятельности, похожей на инфекционный процесс с очагом поражения в рудниках, куда, подобно бактериям, стремились бесчисленные сонмы людей.

Магнетическая сила металла привлекала и в подземные недра, и на заоблачные высоты тысячи индейцев, крестьян, которые покидали свои поля на время между жатвой и севом и нанимались в пеоны; тысячи городских ремесленников, бросавших мастерские, чтобы предложить свой труд и умение в рудниках; сотни молодых и пожилых людей из средних классов, которые бежали из городов, где не хватало работы и фантастически росла дороговизна; они переселялись на рудники без определенных планов, готовые занять любое место: от бурильщика до ночного сторожа, от помощника счетовода до начальника участка.

Индейцы и метисы тащили за собой семьи. Белые обычно приезжали поодиночке, чтобы

разведать условия работы и решить, можно ли потом привезти жену. Приезжали также предприимчивые одинокие женщины и открывали лавки, таверны и постоялые дворы в ближайших к руднику деревнях или рудничных поселках. В поселках этих установился своеобразный общественный строй, где феодальную власть представляла компания, а вилланов — рабочие и случайные пришельцы, которые кишели кругом, занятые самой разнообразной деятельностью.

Инфекция распространялась, множились микробы, они наводняли исполинские горы и доводили землю до лихорадочного состояния. Рудничная лихорадка: коммерсанты, фрахтовщики, бродячие торговцы, вербовщики, рудокопы, инженеры, чолы, гринго, проститутки… Рудничная лихорадка, вызванная множеством микробов, неудержимым наплывом людей разной национальности, разного возраста, разного общественного положения, охватила обнаженное тело гор, и по нему поползли разветвления дорог, выступили наросты построек, заклубились дымы обогатительных фабрик и первобытных очагов. А кругом лежала в нетронутом величии окаменевшая природа, вознося к небу могучие вершины.

Вдали от очага инфекции политическая олигархия Боливии как будто и не замечала этого явления. И только когда возникла история со спиртом, первая зарница скандала вспыхнула на горизонте застойной политической жизни.

Вне круга отупевших политиков действовали люди, заинтересованные в свободной эксплуатации, свободном экспорте и свободной распродаже руд Боливии; люди, состоявшие на службе у сеньора Омонте или у других компаний, которые вознаграждали их крупным жалованьем или тайным участием в прибылях.

Компании Омонте нужен был послушный сенат, чтобы обеспечить послушный состав верховного суда, где решались все тяжбы с частными лицами или государством по спорным вопросам, возникающим в промышленности. Таким был, например, вопрос о спирте. Компания Омонте получила монопольное право на ввоз спирта в страну сроком на три года; следовательно, она могла сама снабжать свои рудники, а излишек продавать населению.

Торговля спиртом тоже была своего рода рудником. Сторонники правительства организовали конкурирующую Национальную компанию, которая попыталась вытеснить монополию

Омонте. Но Омонте посмеялся над попытками Национальной компании, так как к концу срока своих полномочий ввез достаточное количество спирта, чтобы отравлять индейцев всей страны еще в течение трех лет.

Началось большое судебное дело. «Национальные» отравители, через министра финансов, который был акционером компании, добились административным путем, чтобы ввоз последней партии спирта, в количестве ста восьмидесяти тысяч бидонов, был признан незаконным, поскольку правительство отказалось продлить освобождение от налогов, на которое ссылалась компания Омонте.

Адвокаты Омонте, со своей стороны, рассчитывали на верховный суд. Они открыли два фронта: один в судебно-административной сфере, где новой спиртовой компании был вынесен научно обоснованный приговор, другой— в сфере политики, с целью свалить кабинет министров — конкурентов. Это стало возможно, поскольку доктор Густаво Куэльяр, уважаемый апостол нейтралитета, был подкуплен, и за Омонте оказалось девять сенаторов против восьми, поддерживающих министра финансов.

Запрос в конгрессе касался не его, а премьер-

министра и имел в виду не бидоны со спиртом, а то, что премьер-министр отсутствовал на открытии конгресса и не прислал по этому поводу свои извинения.

Но тут выступил один из выдающихся членов правительства, сенатор Веласкес, замечательный оратор, прекрасная пуританская душа, и заявил, что данный запрос затрагивает священные принципы независимости исполнительной власти, которым никогда не изменяло правительство. Не подозревая об истинных причинах конфликта, он призвал всех министров солидаризироваться с ним. Разыгрался парламентский бой между большинством сената и всем кабинетом.

— Наша республиканская жизнь опирается на независимость исполнительной власти, и только тираны, подобные Мельгарехо, не признают ее!

— Лист бумаги, который вы, сеньор министр, хотите бросить в уличную грязь, это конституция, это наше знамя.

— Подобно римским сенаторам, мы накроемся белой тогой регламента дебатов. Пусть исполнительная власть обрушит свой удар на наши головы, головы отцов отечества!

Три дня шли словопрения. Но в пылу полемики министр Тельес Кастро бросил спичку в горючую

смесь.

— Почтенные сенаторы говорят, будто они защищают прерогативы конгресса. На самом деле они защищают сто восемьдесят тысяч бидонов спирта компании Омонте, которые правительство отказалось освободить от налога…

Кабинету было выражено недоверие. Оппозиция, поиздевавшись над дракой между своими, потребовала кабинета национального единства.

Среди сенаторов по всей стране славился своей независимостью доктор Куэльяр, крупный финансист. Он стал министром финансов. В качестве такового Куэльяр объявил, что правительство, неизменно уважая независимость исполнительной власти, согласно с решением верховного суда, который поддержал права компании Омон-те. Лидер оппозиции, доктор Мартин Гуаман, стал министром путей сообщения.

На короткое время наступил мир.

Большая пресса Боливии, как правительственная, так и оппозиционная, была единодушна в восхвалении прогрессивного деятеля Омонте:

ПРОМЫШЛЕННИК, КОТОРЫЙ ПРОСЛАВИЛ БОЛИВИЮ

«Один из видных представителей нашего об-

щества, недавно прибывший из Чили, сообщил нам, что промышленник сеньор Сенон Омонте разрешил вопрос о приобретении новых оловянных и вольфрамовых рудников в Боливии. Сеньор Омонте, чьи филантропические дары благотворительным учреждениям в Париже высоко подняли за границей престиж нашей страны, принял это решение с целью благоприятствования мелким рудникам, которые без мощной поддержки крупного капитала остаются непроизводительными. Скупая их, сеньор Омонте осуществляет рискованную операцию, ибо если в известный момент олово и сулило заманчивые перспективы, то в настоящее время оно не является столь выгодным делом, поскольку целиком зависит от случайностей в развитии военного конфликта. Однако патриотизм известного боливийского промышленника не останавливается перед риском, и его готовность вложить капитал в недостаточно надежное предприятие достойна восхищения. Только такие люди и создают величие нации...»

Другая газета позволила себе заметить в менее возвышенном тоне:

ЧЕМ ВЫШЕ ЭКСПОРТ, ТЕМ БЕДНЕЕ КАЗНА

«Наше олово изо дня в день поднимается в цене. Мы экспортируем тысячи тонн ежемесячно. Вольфрам также котируется достаточно высоко и экспортируется в огромных количествах. Однако, если не говорить об удачливых эксплуататорах данных руд, чьи законные прибыли никем не оспариваются, — ни государство, ни народ не ощущают в своем экономическом положении каких-либо перемен к лучшему. Напротив, дороговизна жизни становится невыносимой. Правительство не отменило чрезвычайный декрет о снижении на тридцать процентов жалованья служащим и сокращении в той же пропорции расходов на общественные работы и армию.

Указанный декрет был издан во время экономического кризиса, вызванного войной в Европе. Однако разве не благоприятствовала та же европейская война экономике нашей страны, экспорт которой возрос, как ни в одной стране Южной Америки?

Не пытаясь объяснить этот парадокс, мы полагаем, что конгрессу следовало бы для укрепления бюджета ввести известный налог или торговый сбор, с тем чтобы государству досталась хотя бы ничтожная часть прибылей, которые получают горнопромышленники с огромного количества

руды, добываемой в Боливии для вывоза за границу».

Отпсведь, данная финансовыми специалистами Горнопромышленной компании, была неопровержима. Они доказали, насколько нелепо вступать в обсуждение вопросов мировой торговли и национального бюджета, не зная ни статистических данных, ни расчетов, ни состояния цен, а главное, издержек горнопромышленных предприятий, да еще выдвигать при этом утверждения, «достойные бездельников и шарлатанов, позволяющих себе писать о государственных финансах».

Никто не придал значения инсинуациям жалкой газетки. Скандал вокруг спирта был уже забыт, теперь внимание всей страны обратилось на запрос оппозиционной элиты правительству по поводу «растраты государственных средств и расходов сверх бюджета». Растрата состояла в приобретении автомобиля для президента республики, который до той поры ездил в трамвае, и покупке новых гардин для приемного зала во дворце правительства.

Кабинет министров был жестоко заклеймен суровым и тощим вождем оппозиции, который говорил в конгрессе три часа подряд и произнес

самую прекрасную речь за всю свою политическую карьеру, пустив в ход и познания в философии права, и аристократическую культуру, и иронический дар.

— Согласимся, сеньоры министры, — говорил он тягучим глухим голосом, обращаясь к амфитеатру и галереям, набитым жадно внимающими слушателями, — что Боливия полна парадоксов, которым более пристало фигурировать в трудах исследователя, нежели в истории государства. Не так давно один из депутатов, принадлежащий к оппозиции, был задержан в ночные часы полицией. Воспитанный в Лондоне, где не только личность представителя народа, но и личность любого гражданина священна, он решил, что только недоразумение могло быть причиной действий полиции, и пожелал объясниться с комиссаром, который дал приказ об аресте и в чьем участке он находился. Через час явился комиссар и спросил: «Что вам угодно?»

Тут уважаемый депутат, сославшись на свою неприкосновенность, сказал: «Конституция обеспечивает мне неприкосновенность…» Что же, по-вашему, сеньоры министры, ответил комиссар, представляющий ваш режим? Он цинично ответил: «Неприкосновенность в два часа но-

чи? Посадить его в piqui huasi»[40]. (Оживление в зале.)

— Подобно тому как один порок порождает другие, — продолжал лидер, — так и правительство либералов, нарушив конституцию по отношению к личности, нарушает ее и по отношению к бюджету. Экономический кризис, вызванный европейской войной, поставил Боливию на край банкротства. Требуются энергичные меры по сбережению государственных средств и сокращению расходов. Мы — бедная страна, сеньоры министры, и должны жить скромно! (Бурная овация.) Но что же происходит?.. Открыто пренебрегая бюджетными правилами и экономией на тридцать процентов, которую оно само же ввело, правительство выделяет значительную сумму из государственной казны на покупку гардин и приобретение автомобиля, словно отвечая стране с тем же цинизмом, что и грубиян комиссар: «Экономия в такое время? Купить автомобиль!» (Неописуемая овация.)

Морально кабинет был раздавлен этой речью. Однако правительственное большинство, палаты отказалось осудить проявленную расто-

---

[40] Примечания: 40

Блошиная конура *(кечуа).* Так называют грязные камеры в полицейских участках. *(Прим. автора.)*

чительность и поддержало министров. Скандал, вызванный такой позицией, был еще больше раздут вождем оппозиции. Нарушив обычное свое невозмутимее спокойствие, он опубликовал манифест, в котором почувствовалось дыхание революции:

«Финансовое банкротство, вызванное европейской вон ной, стучится в двери страны. Правительство и парламентское большинство, которые в такой момент расточают ограниченные средства государственной казны, заслуживают, чтобы их метлой вымели вон».

X

Шахтерская болезнь

...И жалованье свое они тратили с такой легкостью и беззаботностью, что, едва успев получить его в воскресенье утром, к вечеру того же дня уже рыскали в поисках нескольких монет на ужин; так было раньше, так происходит и теперь; многие считают, что в этом состоит главная беда и несчастье рудокопа.

Рудники получили приказ работать в полную мощность.

Все города, расположенные поблизости от разработок Оруро, Уйюни, Потоси, Унсии, стали важными промышленными районами, и жизнь в них закипела: пункты по набору рабочей силы превратились к тому же в увеселительные центры. В Оруро как раз и начались приключения Сельсо Рамоса, недоучившегося студента Горного колледжа, сына Непомусено Рамоса. Учение стоило больших денег, и дон Непомусено трудился в поте лица на руднике «Черный шатер». Первые два курса юноша закончил успешно, но когда он

перешел на третий, атмосфера экономического бума обдала его своим жарким дыханием и сделала завсегдатаем одного из местных домов терпимости.

Заведение Олинды отличалось от многих ему подобных ярким освещением и располагалось на Рельсовой улице. Просторный квадратный зал был устлан коврами, на стенах висели огромные зеркала, а плафон был разрисован уродцами амурами, снимавшими одежду с кривобокой Венеры. Здесь, в этом зале, кишмя кишели австрияки, югославы, чилийцы, турки и боливийцы; во время танцев вперемежку с дамскими туфельками шаркали ботинки подрядчиков, вербовщиков, нотариусов, техников-экспертов, снабженцев и загулявших шахтовладельцев.

Как-то раз, в субботний вечер, два дюжих австрийца, закованные в кожаные куртки и высокие сапоги, потребовали шампанского на всю честную компанию.

— Нас надули с пробой: мы сдали целый вагон шестидесятивосьмипроцентного олова, а нам определили только пятьдесят, честное слово…

Хотя подрядчики их и обжулили, деньги у парней были, и они швыряли ими направо и налево. Женщины в ярких платьях с глубокими

вырезами обходили пьяных потных клиентов и, протягивая к ним подносы, просили:

— Пожертвуйте на музыкантов, милок.

Сыпались банкноты, сыпались шутки, сыпались золотые монеты. По мере наполнения подносов их содержимое вываливалось на крышку рояля, входившего в секстет вместе с двумя скрипками, флейтой, барабаном и арфой.

— Теперь твоя очередь, милочка, — сказала, обращаясь к Марте, разряженная и разукрашенная, словно опереточная певица, Олинда.

Марта носила короткую стрижку, ее черные как смоль волосы были гладко причесаны на прямой пробор, темные глаза сильно подведены, маленький, рот ярко накрашен.

Она была родом из Чили; чуть заметная полнота не портила ее фигуры. Деъушка взяла поднос и, оглядывая себя на ходу в зеркала, двинулась к толпе мужчин, словно укротительница к стаду орангутангов.

Сельсо Рамос пил, сидя у бара, и болтал со знаменитым футболистом из Оруро. Рядом с Рамосом, повернувшись к нему спиной, стоял пьяный югослав и громко рассказывал что-то приятелям, пившим за его счет. Он был в широкополой шляпе, зеленые глаза его блестели от возбуждения.

— Пожертвуйте на музыкантов.

Гринго вынул целую пачку банкнотов.

— Как же, как же, только не на поднос, а вот сюда…

Обхватив Марту за шею, он пытался засунуть банкноты в вырез платья. Марта вырвалась, но при этом уронила поднос. Черные глаза ее метали молнии.

— Отвяжись! Смотрите, Олинда, это из-за него я уронила поднос.

— Не беда. Возьми другой.

Марта повернулась и оказалась как раз около Рамоса, но гринго снова схватил ее за руку. Завязалась борьба, Рамоса прижали к стене, и стакан его опрокинулся. Юноша железной хваткой сжал руку гринго.

— Послушайте, не дурите, бросьте куражиться.

Все сбились в кучу, началась свалка, и трудно было разобрать, кто на кого кричит и кто кого толкает. Свободной рукой гринго схватил юношу за грудь и с силой отбросил его. Футболист, в свою очередь, толкнул гринго, тот отшатнулся, и стакан, пущенный Мартой в него, угодил. в студента, набив ему на голове изрядную шишку.

Разбушевавшегося гринго оттерли в угол, но он вырвался, пробился к стойке и попросил из-

винения.

— Шесть штук шампань. Я хотел этот сеньор меня извинить.

Снова заиграл оркестр, и попойка продолжалась. Марта смочила платок в стакане с виски и приложила студенту ко лбу.

— Ничего, пустяки… Пойдем лучше потанцуем.

— Давай куэку! Куэку давай! Куэку!

Оркестр сменил мелодию, и раздались первые такты куэки. Марта стала против Сельсо, размахивая платком над головой. Словно наэлектризованные ритмом темпераментного танца, пары то накатывались друг на друга, то откатывались. Бедра Марты, туго обтянутые красной юбкой, пружинили при каждом движении. От выкриков дрожали зеркала.

— Давай!!!

Танцующие образовали круг и хлопали в ладоши в такт яростно бренчавшему роялю. Марта — в центре, словно магнит притягивала партнера белизной своего тела, а он крутился вокруг нее, бешено перебирая ногами, похожий на смуглого арлекина; они не сводили друг с друга глаз, и развевающиеся в воздухе платки, казалось, связывали их воедино.

— Браво! Бис!

Но Марта вышла из круга и села.

— Хватит. Я не привыкла еще к здешней высоте и быстро устаю, дружок.

Она дышала с трудом, положила руку себе на грудь и выпила бокал шампанского.

— Вы недавно приехали сюда?

— Недавно. Из Вальпараисо.

— Ну, и нравится вам здесь?

— Да… собственно, не знаю.

Снова поднялся шум: это австрийцы стреляли пробками от шампанского, стараясь попасть в танцующих женщин; те визжали, смеялись. Марта сказала:

— Несчастные гринго. Вот этот злится на меня. В тот самый вечер, когда я сюда приехала, он хотел пробраться ко мне в комнату. Я, конечно, его выставила. И вчера вечером тоже. Что он о себе воображает?

— Вы всех выставляете? — улыбнувшись, спросил Сельсо.

Марта тоже улыбнулась:

— Не всех, дружок.

Сначала он появлялся только по субботам и, поджидая, пока Марта разделается со своими клиентами — она слагала с себя обязанности «девочки» часам к трем ночи, — пил и танцевал.

Кончив работу, Марта забирала пальто и, отпустив несколько шуток по адресу ухажеров, шла через холодный двор к себе в комнату, где ее уже ждал, лежа в постели, Рамос.

Юноша, ставший завсегдатаем салона Олинды, перестал посещать колледж и совсем забросил ученье. Он целиком был поглощен Мартой. Мысль о том, что Марта ему не верна, что тело ее принадлежит другим, терзала его.

Увидев однажды Марту на коленях у одного парня из Оруро, сына австрияка, Сельсо был поражен в самое сердце. И хотя австро-боливиец был не из слабых, Сельсо ввязался с ним в драку, изловчившись, нанес ему меткий удар ногой и вышел победителем.

— Эй ты, полегче! Он тут на свои деньги гуляет, как все порядочные люди. А ты кто такой? — яростно набросилась на него Олинда.

В следующие вечера Марта не появлялась. Олинда отрядила ее на праздник, устроенный служащими предприятия Омонте.

Сельсо дал себе зарок не ходить больше в заведение и возобновил занятия. Но не прошло и двух недель, как он, презирая себя, вернулся и снова очутился в объятиях своей подруги.

Через три месяца возникло неожиданное

осложнение. Они лежали в темной комнате и не спали: музыка и топот ног, доносившиеся из салона, не давали им уснуть.

Вдруг Марта сказала:

— Знаешь, милый, уйду я отсюда.

И хотя он страстно желал этого, намерение подруги все же его испугало.

— Пожалуй, так будет лучше. Конечно, лучше.

— Олинда нас ненавидит, говорит, что ты сбиваешь ей коммерцию.

— Ей-то какое до нас дело?

— Говорит, что ты разогнал всех моих клиентов, что я не зарабатываю даже на себя. Ты слышал что-нибудь подобное? Это я — не зарабатываю! Я каждую ночь зарабатываю по тысяче песо только на одной выпивке. Никто из «девочек» — даже француженка — не выставляет этих простофиль на такие суммы. ТІ еще она говорит, чтобы я тебя бросила.

Сельсо резко откинул одеяло и сел:

— Ей-то какое дело? Ну и уйдем. Завтра же переберемся от этой чертовой куклы в гостиницу.

— Но я ей задолжала.

— Задолжала? Интересно, за что же?

— Поездка в Чили, платье она мне купила, еда…

— А сколько она на тебе заработала?

— С этим она не считается — что ей! Хочет удержать меня, а кроме того… Есть еще одна вещь…

— Что там такое?

— Ах, дружок, кажется, я беременна.

Новость неприятно поразила Рамоса, словно он услышал что-то мерзкое.

— Черт-те что!

— Да, милый. Но мы с этим развяжемся. Ребенок, зачатый в этом вертепе! Нет, этому не бывать.

На следующий день Сельсо забрал все деньги, полученные из дому, и пошел в бар «Барселона». Увидев компанию, игравшую в кости, он, не долго раздумывая, попросил роговую чашечку и за какой-нибудь час выиграл полторы тысячи боливиано. Вечером он принес выигрыш своей подруге.

— Отдай их этой кобыле, и пошли отсюда.

Олинда подняла скандал, но молодые люди перебрались в гостиницу. Так Марта перестала быть «девочкой» из салона, а Сельсо перестал быть студентом Горного колледжа.

Прошло несколько месяцев. В одном из номеров орурской гостиницы шла молчаливая и азартная игра в кости. Рамосу не везло: он бросал

кости и каждый раз «горел». «Невероятно. Что со мной сегодня?» Он проиграл все деньги, кольцо с бриллиантами, пистолет.

В два часа ночи Рамос вышел на улицу. Леденящий воздух обдал его. Подняв воротник пальто и глубоко засунув руки в карманы, он поплелся к себе в гостиницу, где жил теперь один: Марта его бросила.

Мысли Рамоса были заняты чередой фатальных неудач, начавшихся в тот самый день, когда Марта сделала аборт. Именно с этого дня все пошло «наперекосяк». Он играл и проигрывал, долги росли. Он докатился до того, что подделал отцовскую подпись под письмом к родственнику с просьбой одолжить денег. Деньги он получил и тут же их проиграл.

К тому времени Марта уже оправилась после аборта. Она повадилась поздно приходить домой, а однажды явилась пьяная.

Сельсо спросил ее:

— Где ты была?

Неубранная и простоволосая, поблескивая пьяными глазами, Марта пыталась выдавить из себя подобие улыбки, но это ей не удалось; тогда она приняла вызывающий вид и ответила какой-то грубостью. Последовал сильный удар в лицо, и

она без чувств свалилась на кровать.

На следующий день чилийка ушла. Сельсо узнал, что она вернулась в заведение Олинды, вызвав там всеобщую радость. Он решил не переступать порога этого дома. До него доходили слухи, что Марта хлещет шампанское с подрядчиком-югославом по имени Харашич.

Острая обида у Марты прошла, и она ждала, что Сельсо появится в салоне. Каждую ночь, танцуя с клиентами, она поминутно смотрела на входную дверь. Но Рамос не появлялся, и тогда она напивалась, буянила, скандалила с посетителями.

Однажды вечером, вернувшись к себе в помер, Рамос стал перебирать в памяти все, что ему рассказывали о Марте. Он почувствовал, что волна горестных событий захватывает его, грозя окончательно утопить, и понял, что никакой надежды выбраться на спасительный берег, вернуться к прежней студенческой жизни уже не оставалось. Он поднял голову. Вдали светились окна заведения Олинды. Внезапно им овладело неуемное желание видеть Марту; жажда обладать ею сломила гордое сопротивление, и он пошел к ней.

Как всегда, как во все вечера и ночи, звуки бренчащего рояля перемешивались со звоном бутылок. В зале Марты не было. Напустив на себя

безразличный вид, Сельсо стал разглядывать танцующих.

— А, пропащая душа, явился наконец. Смотрите, кто пришел. Сельсо, дорогуша, живехонек?

Олинда, грузно опершись на стойку, тоже приветствовала его:

— Где так долго пропадал, парень? Смотрите, как похудел бедняга. Не виделись целую вечность. Может, пуншу выпьешь?

— Разумеется. И себе налей.

— А как Марта?

— Марта? — машинально повторил он. — Это я хотел спросить у тебя.

— Разве ты ничего не знаешь?

Олинда залпом выпила и, наваливаясь мощной грудью на стойку, сказала:

— Она ушла вечером, сказала, что идет проститься с тобой перед, отъездом на рудники. Харашич дал ей денег на дорогу. Она еще говорила, что поговорит с тобой: если ты вернешься к ней, она останется, если нет — уедет. Вот, значит, и уехала…

Рамос похолодел. У него было такое чувство, будто ледяная капля ртути прошла через грудь и скатилась в живот.

— Налей виски, — пробормотал он. — И себе

тоже. Когда же это случилось?

— Недели две назад. Твое здоровье. Заходи почаще, парень.

Каким диким кошмаром показалась ему эта десятки раз отраженная в зеркалах орда нелепо топочущих мужчин в обнимку с пьяными, ярко разодетыми женщинами!

Сельсо пил до шести утра в компании двух подрядчиков из Льяльягуа и двух женщин. Одна из них увела его, уже вконец пьяного, к себе в комнату.

Предприятию Сенона Омонте требуется тысяча рабочих для работы на оловянных рудниках: неквалифицированные рабочие, поденщики, бурильщики, проходчики. Выгодные условия. Требуются служащие.

Обращаться в конторы Оруро или явиться на рудник в Унсии.

— Поеду туда, — решил Сельсо Рамос.

Он оформился в конторе Оруро. Сел в поезд, идущий на Мачакамарку. Там в вагоне-ресторане познакомился *с* американским инженером Вильямсом Мак-Ноганом, уроженцем штата Иллинойс, сорока двух лет, и с его женой Маручей, мексиканкой, родившейся в Далласе.

Прибыв в Мачакамарку, супруги Мак-Ноган сели в кабину грузовика, а Сельсо поехал в кузове вместе с группой завербованных индейцев. Среди них был некто Хуан де Двое Уачипондо, сын Северино Уачипондо, первооткрывателя залежей рудника «Провидение». Спасаясь от карательной экспедиции, Уачипондо-младший бежал в район нагорья. Там он вырос, а когда случилась засуха, решил податься на рудники.

Приехав в Унсию, все разбрелись по своим делам. Рамос направился к Лоренсо Эстраде, главе горной администрации, здание которой располагалось на окраине города. Эстрада послал его к хозяину пульперии. Тот отвел ему жилье на чердаке своего дома, где Рамос должен был поселиться вместе с другим служащим. Индеец помог ему втащить пожитки. Комната была плохо освещена, но, присмотревшись, Сельсо увидел спящего человека. Тот проснулся и сказал:

— Входите…

— Добрый вечер… Ба, кого я вижу!

Это был студент, Хосермо Лобатон, товарищ Рамоса по колледжу. Он помог Сельсо разобрать вещи, напоил чаем, потом оделся и предложил прогуляться. Они вышли из дома и пошли вниз по дороге между отвалами пустой породы. По

склону холма уступами спускались цинковые крыши служебных помещений.

— Предприятие имеет три отделения. Это рудник «Провидение». Там дальше — участок «Орко-сунтинья», за который годами судится Артече, и рудник «Голубой», откуда в основном и добывается олово. Здесь имеется несколько поселков... Там вдали — центральный. Туда дальше — управление. Сейчас мы спускаемся в город, который, в сущности, тоже принадлежит компании.

Впереди змеилась Унсия своими крутыми улочками. Стальные тросы подвесной дороги, тянувшиеся от обогатительной фабрики до устья шахт, сильно провисли, образуя гигантские дуги. Кругом было полно народу.

— Там, дальше, с другой стороны, над самой Льялья-гуа — рудник «Прогресс». Он принадлежит Англо-чилийской компании, — продолжал свои объяснения Лобатон. О себе он сообщил, что работает в бухгалтерии.

— Это хитрая бухгалтерия: компания заставляет фальсифицировать расчеты с рабочими и подрядчиками. Мы непременно занижаем процентов на десять затраченное время и процентов на двадцать выдачу на-гора — чистое жульниче-

ство. А ты где собираешься работать?

— Сеньор Эстрада определил меня в пульперию.

— Раз он сказал, значит, так и будет. Он здесь хозяин. Пульперия — это что-то несусветное. Компания старается всячески запутать расчеты с поденщиками. Те, в свою очередь, стараются урвать побольше, накупают товаров, потом перепродают их в городе. Сами довольствуются горсточкой коки, а в субботу умудряются пропить весь недельный заработок. Это самый пропащий народ.

В число пропащих завербовался и забойщик Хуан де Дьос Уачипондо. Его поселили в одну из тех халуп, что рядами лепятся у самой дороги. Низенькие входы. Сквозь дырявые крыши врывается ветер. На земляном полу валяются картофельные очистки, луковая шелуха и другие отбросы от приготовляемой тут же пищи. Все здесь покрыто толстым слоем сажи; постель состоит из нескольких необожженных кирпичей, и сверху овчина. Жилья не хватает, поэтому Уачипондо может пользоваться им только ночью, а его сожитель — только днем.

Так и шла жизнь этих людей под соломенной кровлей, которую непрестанно треплет ветер, в

лачугах, где женщины готовят скудную пищу, а на полу возятся в мусоре полуголые орущие дети. Грязная и шумная жизнь поселка.

В пять часов утра Уачипондо уже шел на рудник и приходил туда ровно в шесть. Солнце освещало только самые вершины гор, а внизу еще лежала ледяная тень? Почерневшие от холода рабочие, забойщики, старшие рабочие, инженеры, подручные, откатчики и слесари, сдав номерки, миновали проходную, устроенную в самом устье шахты.

Зев шахты заглатывал сотни рабочих. Несколько сотен шли в рудник «Провидение», несколько сотен — в «Голубой» и еще несколько сотен — в «Орко-сунтинья».

Входил в свою шахту и Уачипондо, как некогда его отец: то же лицо, та же походка, только шахта теперь стала глубже и сеть квершлагов и штреков — гуще. Путь рабочих в забой начинался в вагончиках, составленных в партии. Поезд удалялся от устья, дневной свет становился все слабее, превращался в точку и только едва-едва поблескивал на рельсах. Рудокопы зажигали лампочки. В самом конце штольни открывался четырехугольный колодец, по которому в деревянных клетях, подвешенных на стальных тросах, смена

рабочих спускалась в этажные штреки. Медленно скользя вниз, клеть уносила с дневной поверхности людей, их инструменты, их лампочки. Ползли вверх слоистые, морщинистые с блестящими прожилками стены колодца. В устье каждой горизонтальной выработки или этажа скапливались рабочие ночной смены, поджидая клеть — вестницу наступившего нового дня. Зияя темнотой, шли вверх входы в галереи, проведенные по залеганию пластов, пока наконец клеть не достигала зумпфа, расположенного в пятистах метрах от поверхности. Последняя группа рабочих покидала клеть, и тогда подавался сигнал на подъем: теперь она будет подниматься и заберет рабочих ночной смены.

Ноган вошел в контору горной администрации. Его принял Эстрада. Он сидел у письменного стола, спиной к грязному закопченному окну. На нем был черный костюм, а вокруг шеи — большой вигоневый шарф. Он пригласил Нога́на сесть и начал:

— У меня есть приказ производить не менее пятидесяти тысяч кинталов в месяц. Я направил на рудники еще пятьсот рабочих. Это кроме тех, что работают у подрядчиков. Чтобы вы имели хоть какое-то представление о здешних законах

эксплуатации, надо сказать следующее: основные работы ведутся под прямым надзором горной администрации, но в настоящее время десять галерей отданы за высокую цену подрядчикам, осуществляющим добычу олова по особым дозволительным свидетельствам.

Ноган внимательно слушал, кивая головой, и делал пометки в своей записной книжке.

— Одни подрядчики получают с пройденного метра, другие — за добытый металл. Ведут они себя своевольно: что хотят, то и делают. Свалят все на какого-нибудь работягу вроде старшего рабочего, а тому безразлично, как пойдет забой — вверх от простирания пласта или вниз, будут ли ставить крепы при продвижении выемок, делать потолочные своды или пусть рушится кровля. Компания выдвинула перед нами задачу: произвести максимальную выемку руды, но при этом сохранить рудник. Вот и понимайте, как хотите. А на обогатительной фабрике половина добытой руды уходит на подрядчиков, а другая разворовывается служащими. Да и тамошние пеоны — сплошное ворье.

Ноган поправил очки и стал рассматривать чертежи горной разработки, но Эстрада остановил его:

— Я не разбираюсь в чертежах. Лучше покажу вам все на месте. Сейчас мы пойдем в забой «Контакт». Т#м некий Харашич, человек без стыда и совести, взорвал крепежные перекрытия, и теперь их нужно снова устанавливать. А подрядчики, повторяю, мошенники. Компания платит им сто боливиано за метр, они платят старшему рабочему пятьдесят, а старший рабочий забойщику — десять, поденщики получают по одному боливиано. Идем на рудник.

Пошли. Ноган был беловолос, чисто выбрит, носил очки в тонкой оправе и выглядел совсем молодым. Эстрада был почти старик, носил темные очки и по меньшей мере по двое суток не брился. Молодой человек едва мог угнаться за Эстрадой^ Они вошли в устье штольни, и клеть опустила их на глубину четырехсот метров. Прошли штрек, стены которого угрожающе щетинились острыми выступами.

Мертвенно-желтый свет карбидных ламп, словно желчь, разливался по стенам. Перед ними открывалась капитальная выработка. Космос преисподней управлялся по законам астрономии карбидных ламп. Здесь, в каменном универсуме, тоже появлялись и исчезали звезды. Они рождались и умирали в бесконечности гранитной

ночи. Людское скопище двигалось сквозь густую ночь каменных молекул и, словно капли крови, медленно растекалось по капиллярам-штрекам. В самом конце этих слепых и глухих дорог рудокопы развешивали лампы-звезды, творя причудливые туманности, обретавшие жизнь на этом внутреннем небе нашей планеты.

К выработке подходили воздухопроводные трубы, доставлявшие под давлением свежий воздух для работающих здесь людей и машин: для бурильщиков и электрических перфораторов, которые с яростным скрежетом вгрызались в породу, едва только бур, похожий на фрезу, касался скалы. Тучи металлической, гранитной и силикатной пыли вырывались из-под бура, словно из маленького кратера вулкана, заполняли галерею и плотной пс-левой заволакивали фигуры людей. Здесь и работал Уачипондо. Пыль покрывала его лицо серой маской, скапливалась во впадинах у ключиц, серебрила волосы, лезла в горло даже через платок, которым он повязывал рот. Перемешанная с потом пыль образовывала на теле твердую корку, металл лудил его снаружи и изнутри.

Инженер Ноган посмотрел на индейца: широкая грудь блестит от пота, жилистые, словно из

витой проволоки, руки дрожат вместе с перфоратором, и весь он, кажется, врос ногами в землю, такую же темную, жесткую и неровную, как он сам. Пыль застилала все вокруг. Слышался скрежет перфоратора и кашель рабочих.

В эти дни у Харашича был большой пьяный загул: за городом он разбил свой автомобиль, сжег рояль в Льяльягуа, — правда, тут же выплатил за него наличными, — шлялся по барам и кабакам Унсии, истребляя запасы виски и шампанского. Огромный, со шрамом на лице, в низко надвинутой широкополой шляпе — одним своим видом он мог внушить ужас, а он еще расхаживал с пистолетом и стрелял по зеркалам и лампам.

В баре одного из отелей Унсии он собрал вокруг себя толпу слушателей, к которой поспешили присоединиться Сельсо Рамос и Лобатон.

— Компания хочет меня ограбить. Они говорят, будто я разрушаю рудник. Это я-то разрушаю! А этот самый Эстрада… Все тут боятся его. Правильно я говорю?.. Все трусы.

Перебирая своими тонкими губами сигару, играя желваками стальных челюстей, он бил широченной ладонью по столу и разглагольствовал:

— Я вот что сделаю с Эстрадой: я его раздавлю.

Еще шампанского. Пейте. Я плачу. А с рудником все будет в порядке. Надо только соорудить такую деревянную крепь из брусочков.

Он взял несколько спичек и пытался показать, как из брусьев можно соорудить венцы.

— Вот таким манером… Это индейцы разрушают рудник, а не я. Все подрядчики — жулики. Я влепил тут одному… Не так чтобы очень сильно… Нет — слегка. Слегка ударил, а он и готов… Потеха.

Подносы с виски и шампанским не пустовали, и толпа слушателей росла. Рамос, которому все это порядком надоело, подал знак другу, и они тихо смылись, выбрались на улицу и пошли пешком к дому.

— Подумай, — начал Лобатон, — этот гринго настоящий убийца: ему ничего не стоит продырявить голову кому угодно. Одной рукой он может поднять чуть ли не центнер. Но он — хрупкая барышня в сравнении со старым Лоренсо Эстрадой. Как-то раз ночью он закатился было к одной местной девице, с которой имел дело Эстрада. Постучал. И когда услышал голос дона Лоренсо: «Минутку — я сейчас оденусь и выйду», так у него весь хмель прошел. А знаешь, что сделал дон Лоренсо, когда рабочие из Англой-чилийской

столкнулись с нашими в галерее «Контакта»? Он отправился в Льяльягуа, зашел в контору, разыскал там управляющего и сказал, что спор должны решать они сами, управляющие, причем не иначе как на пистолетах, и дал тому пистолет.

— Вот это да!

— И когда тот пошел на попятный, Эстрада сказал, что ему лень идти по дороге, и пробрался через их рудник на нашу сторону.

— Колоссально! Ты — спать?

— Конечно. А ты?

— Пойду искать Марту.

Через несколько дней после приезда в Унсию Сельсо Рамос нашел Марту. Она снимала дом на одной из маленьких улочек города и жила там со своей служанкой-чолой. Он постучал, и она появилась в дверях. Черные глаза ее, удлиненные тушью до самых висков, серьезно смотрели на него.

— Здравствуйте. Как поживаете?

— Спасибо, хорошо. А вы?

И тут они бросились друг к другу и пылко обнялись.

Марта рассказала, что она оставила Харашича и связалась с управляющим Англо-чилийской компании, женатым гринго, приезжающим к ней

в конце каждой недели. Всю неделю она исполняла роль хозяйки питейного заведения, принимая посетителей в своем плотно облегающем бархатном платье с глубоким вырезом. Делала она это с капризно-недовольным видом, и из ее маленького ротика нередко вылетали резкие словечки, произносимые с характерным чилийским акцентом. Доступ в её дом — это заведение нельзя было назвать публичным домом — не был свободным. Марта сохраняла за собой право выбора: если претенденты, стучавшие в дверь, были люди состоятельные, но неотесанные, она их не пускала; стоя в дверях и размахивая бутылкой, словно булавой, она выпаливала им все, что о них думает, не стесняясь в выражениях.

Возобновив отношения с Мартой, Рамос увидел, что жалованья ему не хватает.

— Видишь ли, дружок, — говорила она юноше, — я хочу вернуться в Чили и купить в Вальпараисо домик для матери. Вот почему я здесь, вот почему я должна терпеть этого несчастного гринго.

Сельсо вступил в сделку с хозяином пульперии: получал от него по низким ценам напитки, консервы и ткани и выгодно перепродавал их в Унсии и Льяльягуа.

Позднее, постигнув технику спекуляции оловом, он оставил пульперию. Сельсо тайно скупал металл, умел его попридержать, а потом сбывал по высоким ценам знакомому перекупщику. Тот, в свою очередь, переправлял его в Оруро и продавал одной иностранной конторе, которая хорошо нажилась во время войны, поставляя боливийское олово немцам через свое отделение в Чили.

Рамос получал немалые барыши, но, пускаясь в азартные игры с «задаваками» вроде Харашича, быстро от них освобождался.

В тот вечер в домике Марты было тихо. Трое служащих компании сидели за столиком и молчали. Сельсо перебирал струны гитары и что-то напевал своим низким голосом. Когда он кончил петь, улыбка озарила его лицо: он перехватил взгляд Марты, с любовью смотревшей на него.

Белокурый красавец Мак-Ноган носил очки и лицом был похож на рано повзрослевшего ребенка. Он жил в зеленом домике на улице, где обычно селились служащие компании. Здесь каждый вечер его ждала жена Маруча, американка мексиканского происхождения; она готовила ему ванну, ставила любимые вальсы, подкладывала свежий номер «Ивнинг пост» и влюбленно смотрела на него серыми глазами.

Чета Ноган пряталась в своем домике, как в оазисе, казалось, кирпичные стены и чистенькие занавески надежно отделяют их от суровой пустыни. Им казалось, что городской комфорт, камин и семейные фотографии с точностью воспроизводят их ^прежний домашний очаг и что за прежними домашними привычками можно укрыться от жестокой реальности здешней дикой природы.

По воскресеньям служащие компании и их жены развлекались. Мужчины надевали белые брюки, а женщины — белые юбки. Накинув легкие шерстяные пальто, эти иностранцы и иностранки отправлялись на теннисный корт, принадлежащий администрации рудника «Прогресс». Площадка была устроена на голой, без единого деревца, равнине, расстилавшейся позади горы, и только проволочное заграждение отделяло ее от остального мира.

Мяч поднимался с земли и летел в пустоте.

— Есть!

— Игра!

Эта беспредельная пустота мира растворяла голоса партнеров, и казалось, будто площадка повисла в холодном пространстве.

— Игра! Маруча потеряла очко.

— Это не моя ошибка. Виноват сеньор Вилья.

Сеньор Вилья, местный дантист, играл в паре с Маручей против Ногана и мистрис Стимсон, супруги помощника управляющего. Сам мистер Стимсон не играл по причине преклонного возраста.

У Пепе Вильи были черные как уголь глаза, смуглая кожа нетвердый энергичный профиль. Этот типичный красавец полукровка был немногословен, обходителен и с едва заметным усилием старался во всем подряжать гринго. Правда, по-английски он говорил с ужасным местным акцентом, но танцевал преотлично и умел картинно улыбаться ослепительно белозубым ртом. Иногда, во время игры, волосы падали ему на лоб и он делался похожим на индейца. Однако, откинув их назад, он снова обретал привлекательность.

— Тридцать — сорок.

— Есть!

Эхо голосов неслось в печальных сумерках, словно стая запоздалых птиц, и замирало в дальних молчаливых горах.

Потом компания усаживалась в старенький казенный автомобиль и ехала к Ногану пить чай и коктейли. Дом Ноганов стоял на территории

центрального поселка, неподалеку от рудника «Голубой». Чтобы добраться до него, нужно было миновать Льяльягуа и ехать далее по дороге— до Унсии. По воскресеньям город предавался пьянству. Жилые дома, мастерские, продуктовые лавки, магазины готового платья, дворы — все превращалось в питейные заведения, откуда неслись, словно из огромных граммофонных труб, пьяные споры и пьяное пение под гитару. Рудокопы гурьбой бродили по улицам. В барах и кабаках подрядчики, перекупщики, фрахтовщики и государственные служащие сливались с разношерстной толпой рабочих с прокопченными, черными испитыми лицами, в старых шляпах, потрепанных кашне и грязных ботинках.

— Целую неделю работали как звери, а теперь все пропьют, — сказал мистер Ноган.

— Еще и в понедельник будут пить, — подхватил Вилья.

— Трудно представить себе, сколько теряет от этого рудник. И это в то время, когда компания требует максимальной выработки.

А песни свои они не поют, а воют, — сказал Вилья. Мне чем-то нравятся их песни, сама не знаю чем, — возразила Маруча.

— Дикая музыка. Похоже, что эти скорбные пес-

ни их развлекают, — заметила мистрис Стимсон.

Скрипнули тормоза.

— Идиот! Заснул посреди улицы.

Мак-Ноган не сразу узнал Уачипондо. Тот сидел, привалившись спиной к столбу; голова упала на грудь — поза расстрелянного. Пряди волос закрыли лицо, скованное тяжелым, страшным сном, ноги вытянуты, штаны расстегнуты. Рядом валялась бутылка.

Компания выбралась из машины и побрела по поселку пешком. Пьянка шла в каждом доме. В некоторых дворах индейцы и индианки распивали чичу, сидя прямо на земле, или плясали: мелькали в воздухе зеленые, желтые, красные юбки.

Вырвавшись из рудника, еще не успев прийти в себя от гнетущей тьмы подземелья, рудокопы заполняли теперь улицы и дома поселка, пещеры, дороги и тропинки на горе, и лица их, словно по волшебству, превращались в пьяные маски. Огромные горы, как суровые боги, взирали на древний обряд винопития, который совершали в их честь людишки-насекомые, въевшиеся в складки их темной одежды.

Во всех трех секциях рудника допотопная техника уживалась с новой. Здесь применялась

и поперечная и вертикальная выемка, забои начинались от основных, этажных штреков по простиранию месторождения; множились скаты, выработанные пространства, колодцы; работали вентиляционные печи. В забое рудника «Контакт» при отвале сыпучей и рыхлой породы образовалось углубление, похожее на часовенку, где была обнаружена жила, тянувшаяся перпендикулярно горизонту. Здесь рабочие устанавливали венцовую крепь на бабках. Поскольку углубление было большого размера, Мак-Ноган приказал заделать выработанное пространство камнем, доставленным с дневной поверхности.

Теперь в этом забое не было подрядчиков. Разработка велась по узеньким, кривым этажным штрекам, расширявшимся только в местах простирания жилы. Груды породы, переходы, похожие на перекрученные внутренности, душный запах окаменевших смол, бесчисленные ячейки и лунки — так выглядела эта подземная пасека.

В некоторых галереях над головой опасно нависала порода, кровля грозила обрушиться, но некогда было производить крепление шахт, ибо спрос на металл требовал незамедлительной выдачи продукции. На клетях не было ни дверей, ни предохранительных проволочных решеток. Ком-

пания не принимала никаких мер по устройству нормального освещения не только для производства работ, но и в качестве мер безопасности, особенно на перекрестках штреков с усиленной откаткой.

Работа шла и днем и ночью. Поиски металлических плодов на этом древе с причудливыми ответвлениями штреков и квершлагов, проросшими внутри горы, сотрясали рудник, и само древо содрогалось от ураганного напора людей и техники. Бурение, доставка руды на поверхность, спуск людей в шахту, движение рудооткаточных вагочников, проведение порохострельных работ, прокладка электрических кабелей, монтаж водоотливных устройств, установка воздухопроводных труб, производство врубов, вломов, забивки, закладки, расчистки, сооружение крепи — все это были приемы в той жестокой борьбе, которую люди вели с подземельем, но и оно, в свою очередь, прибегало к ужасающим ответным мерам: оно мстило людям тем, что калечило им ноги, слепило глаза, выводило из строя почки, коварно разрушало легкие, отравляя их металлической и силикатной пылью.

Хуан де Дьос Уачипондо работал в одной из бригад по ведомству Мак-Ногана.

— Да, сеньор инженер, трудная наша работа…

Как только он наставлял перфоратор на скалу, она начинала дрожать, упрямиться и взбрыкивала, точно испуганное животное, стараясь сбросить путы; дрожь охватывала руки и грудь бурильщика, и сердце его бешено колотилось. Ни один бурильщик не мог выдержать этой борьбы более двух часов.

Поначалу, ценой огромного напряжения, жилистые руки Уачипондо, словно сделанные из витой проволоки, выдерживали битву в течение трех часов. Держа перфоратор за обе ручки и сильно навалившись на него грудью, он буквально вгрызался в скалу; дрожь машины передавалась телу рабочего; мириады мелких раскаленных частичек обдавали его, и сам он казался ничтожной букашкой, жалкой молью, прилипшей к огнедышащей стене, из которой вырывались клубы пыли.

Запалив шнуры, рабочие разбегались. Людская масса рассеивалась по галереям. Следуя один за другим, гремели взрывы. Хриплый, дикий рев сотрясал своды рудника и несся по штрекам, яростно ища выхода.

Уачипондо лежал, распластавшись на полу, и, жуя свою коку, смотрел на страшную пасть,

которая разверзалась и не могла сомкнуться.

Рабочие возвращались к месту отвала. Выброшенная взрывом порода загромождала галерею; начиналась работа по расчистке. Порода грузилась в вагончики и доставлялась к клети. Клеть поднимала ее на поверхность, и оттуда по канатной дороге руда шла на обогатительную фабрику.

Вместе с рудой на дневную поверхность поднимались рабочие, а на смену им приходили новые партии рудокопов. Там, внизу, они снова разбивались на бригады и, предводительствуемые своими «капитанами», растекались по ненадежным коридорам-артериям мрачной подземной тюрьмы. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Что касается Уачипондо, то он-мог исправно трудиться не более четырех дней, а вторую половину недели предавался загулу. Возвращаясь в забой, он особенно остро чувствовал, как трудно здесь дышать: силикатная пыль резала горло. Поэтому, начиная орудовать буром, он закрывал рот шарфом, но это не избавляло его от надсадного кашля.

Мак-Ноган с раздражением сказал Маруче:

— Вот видишь, только что я был на разведке вольфрамовых залежей в Ками, а на следующей

неделе меня усылают в Амайяпампу.

Вечная история. Маруча в упор посмотрела на него своими светло-серыми глазами и, кокетливо поправляя ему галстук — словно затягивала петлю на шее, — пролепетала:

— О, Вилли, ну что это за жизнь… Теперь — эти ужасные рудники.

— Один из этих ужасных рудников предлагают компании «Омонте тин» за десять миллионов фунтов. Эксперты из США считают, что рудник стоит этих денег. Но хозяин хочет, чтобы инженер из Уануни и я снова все точно подсчитали.

— Но к началу экскурсии на плотину ты вернешься?

— Это невозможно… Такая досада. Придется тебе ехать без меня, с друзьями.

— Ах, дорогой, мне очень жаль…

Мак-Ноган отправился в Амайяпампу, чтобы на месте выяснить подлинную стоимость горных сокровищ. В воскресенье супруги Симпсон, Пепе Вилья, Маруча и двое иностранцев из Оруро совершили увеселительную прогулку к зеленой дамбе, построенной в узком ущелье в двенадцати километрах от поселка, откуда рудники получали электрический ток.

Через неделю вернулся Мак-Ноган.

— Чтобы этот рудник стоил десять миллионов фунтов, следует закопать именно такую сумму в одной из его галерей, — заявил он.

В течение трех недель Мак-Ноган наслаждался домашним уютом: сидел у камина, читал журналы и английские книжки, спал в теплой жениной постели. Потом ему поручили руководить работами по установке грузоподъемника мощностью в две тонны с высотой подъема в шестьсот метров. На его долю выпало руководство ночной сменой.

— Ах, дорогой, я так одинока.

Он не высказал никакого неудовольствия по поводу своего изгнания в каменную пустыню, чтобы не тревожить по пустякам Маручу. В десять вечера он шел в шахту, у ее зева уже толпились люди, готовые принести себя в жертву ненасытному идолу. В шесть утра он возвращался, на цыпочках пробирался к себе в спальню и спал весь день.

Однажды он проснулся около двух часов и, лежа в постели, увидел Маручу: она стояла спиной к нему и смотрела в окно.

Мягкий свет, проникавший сквозь гардины в полутемную спальню, золотым нимбом опушил ее волосы, точь-в-точь как солнце золотит нежную весеннюю поросль на вершине холма.

Ноган окликнул жену.

— Маруча…

Словно очнувшись, она обернулась к нему.

— О, добрый день. Я не хотела тебя будить.

— Который час?

— Два часа… Я смотрела на язычки пламени. Тысячи разноцветных огоньков и индейцы в шахтерских шлемах. Очень похожи на испанских конкистадоров.

— Да… Они ищут вагонетки для транспортировки руды.

Маруча подошла к постели мужа; тот сидел, положив поверх одеяла свои волосатые руки.

— Ты встаешь? Будешь обедать?

— Да, но сначала сядь ко мне.

Она села, не поворачиваясь в его сторону. В профиль ему были хорошо видны ее длинные-предлинные ресницы.

— Почта уже была. Я положила тебе газеты.

Он взял их с ночного столика.

— Так… Вильсона не выберут… Да, знаешь, вчера я тоже просматривал газеты, и потом мне приснилось, будто я иду по нью-йоркской подземке…

Ноган погладил ее коротко подстриженный затылок. Женщина повела плечом и отклонила

голову.

— Через год мы получим отпуск и поедем в Чили, к морю, и не будет там никаких язычков пламени и никаких индейцев. Неплохо, не правда ли?

Маруча повернулась к мужу лицом. В фас ее подбородок не казался столь энергичным, особенно из-за ямочки. Мак-Ноган поцеловал ямочку. Потом — пухлые теплые губки, потом — тугие, очень теплые груди.

Газета смялась, лицо Вудро Вильсона скривилось в недовольной гримасе.

Что касается до их непотребных празднеств, то лучше о них промолчать и ничего не говорить.

Последний день карнавала. Буйство голосов и красок на дорогах и улицах городка, всеобщее суматошливое оживление, толпы индианок и чол, пританцовывающих под звуки аккордеонов, гитар и флейт.

Женщины в ярких бархатных юбках и мужчины в расшитых куртках гурьбой спускались в поселок, где шла грандиозная попойка, где каждый дом превратился в питейное заведение.

Во главе процессии шел мужчина, изображав-

ший черта. Он был облачен в бархатный камзол, расшитый серебром и усыпанный блестками, на голове — огромная маска с акульими зубами и с рогами, увитыми золочеными змеями. Это был Уачипондо. В его ушах и теперь еще раздавался рев отбойного молотка, — чтобы приобрести этот маскарадный костюм, ему пришлось много поработать, урочно и сверхурочно. Его измазанная грива и обсыпанная мукой грудь сотрясались от кашля, заглушая звуки трещоток, дудок и тарелок; казалось, что не он один, а несколько рудокопов давятся от кашля.

Толпа расступилась, пропуская вереницу мулов, на которых рабочие из копей Чаянты привезли серебряные изделия. Из зева шахты выехала на повозке королева карнавала — огромная кукла, высечанная из черного блестящего минерала, разукрашенная бантиками и увитая лентами серпантина. За повозкой — толпа ребятишек и взрослых. На улицах рвались ракеты, группы танцующих наводнили город и окрестные дороги.

Сельсо Рамос и Лобатон в компании с почтенного вида перекупщиками и подрядчиками засели в одном из отелей и распивали шампанское, путаясь в причудливой сети серпантина и бумажных

украшений.

В самый разгар веселья скотовладелец из Сукре, только что совершивший выгодную сделку, запродав компании большую партию скота, предложил сыграть в «лягушку», призвав в пьяном азарте заменить свинцовые монетки на самые настоящие фунты стерлингов. Рамос с двумя парнями из Потоси (одному из них он продавал ворованное олово) составили партию, в другую вошли скотопромышленник, подрядчик и торговец-турок с волосатыми руками. Первые три партии сопровождались шутками, смехом, аплодисментами, пока игроки окончательно не запутались в густых тенетах серпантина.

Проигравшие подбили удачливых соперников на выпивку, и все перешли в соседний зал. Компания расположилась за круглым столом, к ним подсело несколько рудокопов, и игра возобновилась. Начали играть осторожно, но очень скоро страсти разгорелись. По мере того как табачный дым густел и нарастал звон бокалов, рос и ажиотаж вокруг ставок. Кости, словно кролики, метались по зеленому полю.

Рамос вывалил на стол целую кучу денег, взял роговую чашечку и не спеша встряхнул кости.

— Четыре по сто! Вот так! — объявил ското-

промышленник, швырнув пачку банкнот. Рамос метнул кости и проиграл. Кучки бумажных денег и золотых монет то вырастали, то таяли на столе перед игроками.

На следующее метание юноша выставил довольно тощую пачку банкнот.

— Ставь больше! Больше ставь!

— Я и так продул две тысячи с лишком!

— Ладно, я ставлю столько же.

Парню из Чукисаки очень хотелось высадить его из игры одним ударом. Но Рамос выбросил пять-шесть и сгреб деньги.

Снова встряхнул чашечку:

— Та же ставка.

И снова выиграл. Скотопромышленник опять уплатил.

— Ну, кто еще? Не одному же мне играть!

Зрители заключали пари. Турок выбросил три-четыре. Рамос — две пятерки. Лица присутствующих сосредоточены словно в спиритическом сеансе, все следят за россыпью костей, падающих с сухим стуком, и за руками, выкладывающими и загребающими пачки банкнот.

С улицы доносилась музыка. В зале атмосфера сгущалась. От дыма и от ненависти. Зажгли лампу.

— Деньги на бочку.

— Ставлю тысячу песо!

В дымном угаре, заполнившем комнату, среди множества судорожно напряженных лиц молодое лицо Сельсо с чистым высоким лбом, обрамленным темными вьющимися волосами, казалось особенно бледным и серьезным. Высоченный худой рудокоп с обвислыми усами, стоявший подле стола, медленно произнес:

— Вот моя ставка, — и положил бумажный сверток.

— Идет, — сказал Рамос, даже не взглянув на деньги.

— Играем на все? — мрачно спросил гигант.

— На все.

Юноша бросил кости. Выпали две шестерки, и он сгреб банкноты и сверток.

— Думаете запугать нас своими фунтиками. Ну, это мы еще посмотрим. Всем по бокалу шампанского.

— Пять по сто.

— Пять по двести.

— Четыре по пятьсот.

— Тысяча и еще тысяча.

Сухопарый рудокоп мрачно сказал:

— Сельсо, у меня на складе есть пятнадцать

кинталов олова. Выиграешь — можешь забрать их хоть завтра. Играю на них.

— На все сразу?

— Нет, по частям. Ставлю два кинтала.

Сельсо выпил бокал шампанского, обвел глазами стол и сказал:

— Идет, два кинтала.

С улицы доносились пьяные голоса и песни.

Люди, поглощенные игрой, едва слышали их, склонившись над столом в каком-то странном унылом оцепенении.

Сельсо выиграл все пятнадцать кинталов.

— Пошли, — шепнул ему на ухо Лобатон, — мы тут с четырех часов.

— Еще немножко: мне чертовски везет.

— А как же с Мартой?

Сельсо взглянул на часы: было уже одиннадцать вечера.

Последний день карнавала. Рамос вышел вместе с турком и Лобатоном. Его карманы были туго набиты банкнотами и монетами. Казалось, что по залу пронесся ураган, разметав ленты серпантина и насмерть поразив оставшихся там людей.

— Я чувствую, что немного перебрал.

— Все мы, братец, перебрали, — сказал турок. — Закатимся к Шалой.

— Но у нее, наверное, дон Лоренсо…

— Нет. Думаю, он выпивает в заведении Вымогалы.

— Не важно, пошли к Марте, — предложил Рамос. А что касается Эстрады, то и Шалая и Вымогала наверняка у него. Сначала они напиваются, а потом он спит с той и с другой по очереди.

Из переулков еще доносилась музыка. На дальних горах в деревенских чичериях боязливо помигивали красные глаза-огоньки, там продолжалась пьянка. В доме Марты праздник был в самом разгаре. Двери оказались закрытыми. Когда выяснилось, что пришел Рамос со своими друзьями, их впустили, и они присоединились к компании подрядчиков, перекупщиков и служащих городской администрации.

Марта разгорячилась, раскраснелась — по всему было видно, что она пьяна. Среди гостей оказалось двое знакомых Рамоса. Это были служащие компании «Прогресс». Друзья обнялись.

— Марта! Куколка! Я за всех плачу! — крикнул Сельсо.

Слепой тапер играл на рояле. Сельсо подхватил чилийку и закружился с нею в танце.

— Все это время я только и делал, что огребал деньги. Много денег. Пощупай карманы. Ну и

олово у меня тоже имеется. Заберу тебя в Чили.

Марта была как во сне и, прижимаясь к нему, сказала:

— Да, да, в Чили… Мне осточертели и рудники, и рудокопы, и гринго. Вот кончится карнавал…

— Давай куэку! — вопили чилийцы.

— Да здравствует карнавал! Гип-гип-ура!

От топота ног дрожали бокдлы с шампанским. Банкноты, сыпавшиеся слепому музыканту, очень бодрили его, и инструмент бренчал в полную силу. Марта танцевала, стоя против Рамоса, который обвил ее шею платком и, держась за его кончики, то притягивал партнершу, то отпускал от себя. Им бешено аплодировали.

Вдруг совсем близко стали рваться ракеты. Входная дверь задрожала. Снаружи послышались крики:

— Да здравствует карнавал! *Магта! Магта!*

Кто-то сильно барабанил в дверь, ведущую в патио. В доме притихли.

— Не открывайте… это пьяный гринго.

— Но он разнесет дверь.

Марта нахмурилась, остановилась посреди комнаты и потом приказала служанке:

— Открой!

В дверном проеме показался Харашич, груз-

ный, красный, в огромной широкополой шляпе, в расстегнутой рубахе и высоких сапогах. Позади него темнела фигура его приятеля. Харашич переступил порог, запалил петарду и направил ее прямо в середину зала.

— Это не динамит — не бойтесь. Что притихли, как на похоронах? Это мой друг. Входи, друг, входи.

За Харашичем в залу ввалился пьяный, мрачного вида метис. Югослав обратился к Марте:

— Ты не откажешься принять моего друга. Я гринго, и на меня можно наплевать. Но это мой друг, и у него пересохла глотка, хотя он и набирался с самой Льяльягуа. Потеха. Принимайте гостя. Где он может присесть? Он грубоват, но вы его извините. Ведь я тоже грубиян. Когда же выпить, как не теперь. Правильно я говорю, ребята?

— Да, да, — поддакнул один из рудокопов.

— Нужно говорить «да, сеньор». Когда я спрашиваю, я люблю, чтобы мне отвечали «да, сеньор». Ха-ха-ха! Правда, *Магта?* Подавай шампанского.

— Да, гринго, но зачем было ломать дверь?

Она сняла с шеи серпантин, швырнула на пол и потом принесла бокалы с шампанским.

— В Льяльягуа я дал под зад официанту. Тот огрызнулся, не помню, что он мне сказал. Тогда я

его — раз за ухо. Легонько так дернул. Со страха он стал бегать между столиков. Потеха. Давай еще шампанского. Смотрите-ка, этот юнец Рамос забрал себе гитару, а играть не играет. Так пусть отдаст. Серьезно говорю. Все равно не играет. *Магта,* как ты думаешь, есть у меня деньги или нету. Обобрали меня сегодня… то есть вчера. Ха-ха-ха. Но кое-что осталось.

Он вытащил несколько золотых монет, подбросил их; они покатились и затерялись. в ворохе серпантина.

— Послушай, гринго, — сказала Марта. — Не очень-то зарывайся.

— Правильно, — сказал метис, — сеньор не должен так делать.

— Что я не должен так делать, сукин ты сын? Это мои деньги или не мои? Может быть, это ваши деньги? А, здесь и сеньор чилиец! Опрокиньте бокальчик. Это не повредит.

Марта слегка потянула гринго за полы пиджака, но тот отстранил ее своей лапищей, взял бокал, осушил его и разбил об пол.

— Музыку давай! Давай музыку!

Рояль снова забренчал.

— Пошли танцевать. Я танцевать хочу, *чегт* побери. Мне все нипочем. Мой приятель — хро-

мой, он не умеет танцевать, он вообще ничего не умеет. Я вижу, здесь все хромые. Скажи, они хромые?

В зале осталось только пять человек. Все они были пьяны, робели перед гигантом и вымучивали из себя улыбки, слушая его болтовню. Немного потанцевав, гигант сел и пытался было усадить к себе на колени Марту, но женщина оттолкнула его и ловко увернулась.

— Отвяжись от меня, ты пьян.

Сидевший в углу Сельсо буквально впился в Харашича глазами. Тот снял пиджак и швырнул его на пол. Марта подошла к Лобатону и, сделав вид, что хочет дать ему выпить, шепнула:

— Уведи отсюда Рамоса. Гринго совсем пьян.

В этот самый момент Харашич прорычал:

— Чего вы все перетрусили? Гринго не связывается с такими…

Снова заиграла музыка. Рамос осушил бокал, встал, подошел к Марте и пригласил ее танцевать.

— Это индейский карнавал. Тут танцуют только индейцы, слышите вы, свиньи, только индейцы!

Марта, которая уже подала было руку Рамосу, повернулась и зло сказала:

— Гринго, ты всем осточертел. Ведешь себя как

последний индеец.

— Если кто хочет танцевать, просите у меня разрешения. *Магта,* иди ко мне, иди к своему гринго. Танцевать будешь только с моего разрешения. Слышишь, что я сказал?

Сельсо взорвался, оставил Марту и, подойдя вплотную к Харашичу, крикнул:

— Я танцую, когда хочу и с кем хочу. Понятно?

Воцарилось тягостное молчание.

— Послушай… — начала было Марта, беря юношу за руку, но тот оттолкнул ее и, бледнея от злости, сказал:

— Мы не собираемся терпеть его выходки.

Харашич встал, сделал круглые глаза, снял шляпу и, шутовски раскланиваясь, произнес;

— Конечно, сеньор, конечно. Я очень вас боюсь. Танцуйте, пожалуйста, дорогой сеньор.

Стальным блеском сверкнули его глаза, когда он повернулся к таперу:

— Музыку!.. Теперь танцуйте…

Вмешалась Марта:

— Послушай, гринго, ты пьян. Я не потерплю безобразий в моем доме. Тебя ведь не трогают.

Но Харашич не обратил на нее никакого внимания и смотрел поверх ее головы на Рамоса.

— Танцуй, падаль.

— Теперь я не желаю.

— Тогда — вон отсюда! Проваливайте и вы все, вонючие свиньи.

Резким толчком он отстранил Марту. Женщина вспыхнула, брови ее сдвинулись, и в бешенстве она схватилась за бутылку.

— Подонок, мне надоели твои штучки.

— Заткнись, шлюха!

— Сам заткнись, сукин ты сын!

Он метнул взгляд на Марту, и злые огоньки блеснули в его глазах. В этот самый момент Рамос нанес ему удар в лицо. Шляпа Харашича свалилась на пол. Гигант схватил обидчика за полу пиджака и крутанул его с такой силой, что тот завертелся волчком. Широкой своей ручищей он закрыл Марте лицо, проволочил ее до порога спальни и втолкнул туда.

— Помогите, помогите! — вопила служанка. — Держите его!

Лобатон и другие гости пытались его утихомирить. Одним махом он отбросил всех, встал над Рамосом и, не обращая внимания на удары, которые тот наносил ему ногами, схватил юношу одной рукой за ворот пиджака, другой — за пояс, поднял его, донес до двери и выбросил на улицу, прямо в грязь.

От двери он направился было в зал. Гости попятились. *И тут* появилась Марта, вид у нее был ужасен: глаза опухли, волосы растрепаны, на шее нелепо болтались ленты серпантина. В руках ее блеснули ножницы.

— Сукин ты сын!

— Брось ножницы, не то я размозжу тебе…

— Попробуй возьми теперь меня!..

Харашич обернулся.

В дверях стоял Сельсо Рамос, галстук его съехал в сторону, костюм был перемазан в желтой глине. В руке он держал никелированный револьвер. Харашич на какое-то мгновение заколебался, но тут же ринулся на юношу. Раздался глухой выстрел, через секунду — второй. Гигант остановился, лицо его исказилось. Он повернулся в четверть оборота, вдруг согнулся, стал медленно оседать, схватившись за живот обеими руками, и повалился в ворох серпантина.

— Бегите, сеньор, — крикнула служанка.

— Закройте двери! Двери закройте! Сюда, сюда, за мной, — бормотала Марта, увлекая за собой Рамоса. Она провела его через патио к невысокой глинобитной стене.

— Я напишу тебе, как только доберусь до места. Где это будет, я сам еще не знаю.

Он перемахнул через стену и узким проулком добежал до дороги. Некоторое время он еще слышал вдалеке голоса, крики, а потом — только звук собственных шагов.

Однажды ночью, когда Мак-Ноган был на руднике, у него случилась неприятность: разбились очки. Он как раз сидел в своей конторке на глубине трехсот метров, разбирал чертежи, когда зазвонил телефон. Был час ночи.

— Не знаю точно, что произошло, — услышал он голос одного из начальников смены, — но, кажется, раздавило несколько каменщиков, работавших на нижней площадке.

— Что, что?

— Упала вагонетка-самосвал.

Вагонетка весом в два центнера сорвалась и, набрав чудовищную скорость, обрушилась на рабочих, которые готовили цементную площадку для подъемника на дне огромного котлована.

— Их должно было быть шесть, но, кажется, работали только четверо.

— Я сам спущусь туда, — сказал Мак-Ноган и быстрым шагом направился в галерею, на повороте столкнулся с каким-то рудокопом и вот тут обронил очки. Он нагнулся, чтобы поднять их, но случайно наступил на них ногой и раздавил

на мелкие кусочки. Без очков он почти ничего не видел. Мак-Ноган дошел до выхода из галереи, где услышал глухие голоса старших рабочих и рудокопов, дал первые распоряжения и, добавив: «Я скоро вернусь, только съезжу за очками», вошел в клеть, поднялся на поверхность, доехал в вагончике до выхода из шахты и на попутном грузовике быстро добрался до дому, — благо это было совсем близко.

Его дом в квартале служащих горной администрации мирно спал, нахлобучив по самые окна цинковую шапку-крышу. Он вошел в дом, миновал небольшой холл, едва освещенный ночником, и открыл дверь в спальню. При слабом свете, проникавшем сюда из холла, он разглядел пустую кровать, покрытую — без единой складочки — одеялом. Подошел ближе, включил свет — Маручи не было.

Сердце у него упало, потом бешено заколотилось, и его удары, словно удары колокола, гулко отдались в мозгу. Кровь бросилась в голову.

Кровати стояли нетронутые, с аккуратно отогнутыми уголками простыней. В спальне жены не было.

— Маруча, Маруча!

Ноган оторопело стоял возле постели жены.

Ужасная догадка, поразившая его, казалось, возникала не у него в голове, а рождалась из тишины пустого покинутого дома. Неподвижные предметы причудливых очертаний выжидающе смотрели на него, а в зеркале шкафа застыл едва различимый в полутьме другой, еще один Мак-Ноган.

Не слышно было дыхания Маручи, и теперь комнату заполнила мертвая гнетущая тишина. Ноган вдруг вспомнил, как однажды, когда он учился в колледже, в наказание за какую-то провинность его оставили в пустой спальне, среди пустых постелей. И еще почему-то вспомнил, как в галерее он столкнулся с рудокопом, у которого рот был измазан зеленой слюной. Пытаясь бежать от главной правды в мир воспоминаний, он вдруг провалился в глубокий колодец, на дне которого лежала истина: Маруча каждую ночь уходила к Пепе Вилье.

Он открыл шкаф, взял оттуда очки и пачку сигарет, погасил свет, закрыл за собой дверь и очутился на улице.

Сел на попутную машину. В ушах засвистел резкий, холодный ветер. На черном ночном небе паслись бессчетные стада блестящих звездочек.

У входа в шахту подремывали сторожа. Ему

сообщили, что вагонетка при падении сбила рабочих со строительных лесов и увлекла в пропасть. Он спустился, приказал подвести к самому краю шахты электропровод, пристроить балки таким образом, чтобы можно было спустить на тросе рабочих. Дно котлована было завалено обломками.

— Вот к чему приводит неосторожность. Они так неосторожны.

В.пять часов утра трупы были уложены в мешки, потом их подняли, провезли по галерее до клети и доставили на дневную поверхность.

Ноган покинул рудник в десять утра. Одна из бригад проходила по галерее как раз в то время, когда вагончики везли тела погибших; люди прижимались к стенам, чтобы пропустить печальный поезд. У входа в шахту собрались индианки с детьми. Женщины плакали, обратив взоры к небу. Поодаль от толпы стояла Маруча; на ней была бежевая юбка и красный шерстяной платок. Она поджидала Ногана. В серых ее глазах отражался яркий, утренний свет, разлившийся по вершинам окрестных гор.

Она бросилась навстречу Ногану, но тот остановил ее:

— Не подходи ко мне. Я весь в грязи.

— Да, да, — сказала она, — у тебя даже в волосах комья грязи.

На светлых висках Ногана действительно застряли комочки земли, словно гранитные валуны на ржаном поле.

Всюду кипела жизнь: на рудниках, на участках, в поселке. Горы, чреватые оловом, словно кровожадные боги, заглатывали человеческие души и молча принимали жертвоприношения — пьянство, расточительство, своекорыстие, кровь.

— Сеньор инженер, подайте Христа ради.

Это был Хуан де Дьос Уачипондо. Он был черен лицом и телом, словно жар преисподней заживо обуглил его, превратив в глыбу антрацита. Из вороха лохмотьев торчала голова — костлявый треугольник с дырами вместо щек. Мускулы шеи, идущие от самых ключиц, вибрировали при каждом приступе кашля, и темная, словно обгорелая, кожа вздрагивала.

Мак-Ноган наклонился и бросил монетку.

— Да хранит вас господь…

Теперь инженер работал в дневной смене. По вечерам он наведывался в поселок и стал завсегдатаем заведения Марты, которая, хотя и относилась к иностранцам с неприязнью, сделала для Мак-Нога исключение, была к нему

внимательна и обращалась как с настоящим кабальеро. После ночной попойки в доме Марты или в иностранном клубе ровно в шесть утра он был уже на руднике, и день его начинался с разноса, который он учинял рабочим на своем ломаном испанском языке.

Из подземной конторы он управлял бурением, взрывами, устройством креплений, перемычек и прочих приспособлений. Он следил за работами, обходя галереи и штреки, и вид истерзанных скал наполнял его душу тоской. Подземелье давило его своей огромной плотной массой, поражало своей необъятностью; оно скрывало от него небо: гора являла собой весь универсум, бесконечный, беспредельный, страшный.

Он чувствовал себя безнадежно затерянным в этих сгустках мрака; ощущение одиночества не покидало его, когда он видел рудокопов-индейцев, покорно и бесстрашно делающих свое дело. Он обращался с ними жестоко, не скрывая холодного презрения, точь-в-точь как тюремщик не скрывает своего раздражения и презрения к арестантам, с которыми он вынужден обретаться в одной тюрьме.

— Скоты, — говорил он им, — все несчастные случаи — от вас самих, потому что вы скоты и

всегда лезете куда не надо.

Он подолгу оставался под землей и научился жевать коку, принялся изучать кечуа, чтобы разговаривать с рабочими-индейцами на их языке, постепенно постигал жуткую тайну недр, которые заглатывали людей, отторгали от них душу, пережевывали денно и нощно их тело и потом выталкивали его из себя, как выталкивают бесполезную жвачку.

Порой ему казалось, что громада скал вот-вот навалится на него и раздавит своей тяжестью, и тогда его одолевало страстное желание разбить кулаками своды, пробить головой гору, вырваться к небу, на волю и пуститься на поиски своей Маручи. Но она была далеко: где-то на дневной поверхности, где-то за нагорьем, за Кордильерами, за океаном.

Как они и договорились при расставании, Маруча прислала ему из США заявление о разводе. Между тем участок рудника «Провидение», руководимый инженером Вильямом Мак-Ноганом, превзойдя все ожидания администрации, стал ежемесячно выдавать на-гора по тридцать тысяч кинталов олова высокого качества, что вкупе с другими участками составило добычу в пятьдесят тысяч кинталов.

XI

Твердый сплав

Одни говорили — это голова, сильный человек; другие говорили — у него руки загребущие, обуян гордыней, жаден до денег; от него придет разор в Потоси...

«Маджестик» пересек Атлантический океан. Еще до приезда Омонте в Америку там поднялся настоящий бумажный вихрь: на читателей обрушились биржевые сводки, газетные репортажи, бюллетени литейных компаний. В Гаване и в Панаме журналисты оказали магнату восторженную встречу. Затем он продолжил свое путешествие на пароходе компании «Пасифик стим навигейшн», вызывая восхищение пассажиров, и высадился в Арике, где его встречали представители чилийского правительства и консул Боливии.

Боливия выразила ему свое почтение молчанием, как и подобает суровой загадочной стране, воздвигнутой под самыми облаками. Когда поезд пересек границу и шел уже по нагорью, без-

молвная пустыня окружила его: по обе стороны расстилалась пампа и высились дальние горы. Казалось, он затерялся В этой беспредельности; только изредка попадались на его пути станции: несколько домиков под цинковыми крышами и словно выросшие из-под земли детские фигурки. Голодные маленькие индейцы, чумазые и оборванные, тянули руки к окнам, вымаливая подаяние, или стайкой налетали на объедки, выбрасываемые из вагона-ресторана. Миллионеру было неприятно видеть все это, и он задергивал занавески на окнах своего персонального вагона. Боливия… Боливия, которую он не видел двенадцать долгих лет.

Древняя земля своей причудливой расцветкой напоминала огромную географическую карту, на которую голубыми пятнами океанов легли четко очерченные тени облаков. Голубые тени и освещенные солнцем островки серой земли тянулись, перемежаясь, до самого края света, окаймленного цепью гор с белоснежными вершинами, похожими на облака. Тоненькие струйки пыли спиралью взвивались с земли и неслись в вихре танца, словно балерины на пуантах, с обеих сторон поезда, мчавшегося точно по диаметру огромной окружности, вычерченной горизонтом.

Необъятный мир, чистый r своей первозданности, гордый в своем одиночестве, простирался за окнами поезда. Величавая красота природы угнетала Омонте своим безмолвием.

Но когда он прибыл в Оруро, океан ночи уже разлился по нагорью, великое мироздание сузилось до нищенских построек, тьма растеклась по улочкам, едва освещенным слабыми огоньками, похожими на тлеющие угли.

На станции его встречали местный префект, доктор Давалос, доктор Лоса, управляющий Рит и другие высокопоставленные чиновники компании. Резиденция была устроена во втором этаже двухэтажного здания банка. Каким холодом, какой тоской повеяло на него здесь, в этом пустынном Оруро, с его домишками под соломенными и цинковыми крышами, с его немощеными улочками! В лужах, образовавшихся после дождя, отражался хилый свет ночных фонарей.

На следующий день по собственной железной дороге Омонте отбыл в Унсию.

Домишки ночной Унсии смотрели своими потухшими глазами на гирлянду огней в здании администрации, зажженных по случаю прибытия сеньора Омонте. Мужчины в смокингах — в большинстве своем это были иностран-

цы— копошились среди вороха шелков сильно декольтированных дам, словно черные жуки в светлых лепестках хризантемы. Мужчины чувствовали себя скованно в присутствии магната, дамы держались свободнее. Жены местных служащих, неожиданно попав на ослепительный бал, устроенный как по волшебству в этом горном захолустье, несколько оторопели при виде лакеев в белых перчатках, среди которых был и слуга сеньора Омонте, вывезенный из Европы. Смуглые руки орурских дам, их заученные манеры явно контрастировали с непринужденной болтовней белокожих иностранок. За столом, накрытым белоснежной скатертью, уставленным сверкающим хрусталем, украшенным цветами, гости чувствовали себя как в операционной.

Все косили глаза на сеньора Омонте.

— Да, теперь потеплеет.

— Но, кажется, пойдет снег.

— Снег шел здесь пять лет тому назад.

— Я стараюсь не выходить из дома: боюсь за детей. Думаю свезти их в Кочабамбу — надо сменить климат.

— О, Кочабамба есть хороший место. Я желал купить дом в Калакала и посвятиться разведение куриц.

Все вежливо рассмеялись.

По одну сторону от Омонте сидела супруга управляющего, мистера Рита, костлявая дама с длинной, как у динозавра, шеей, по другую — жена инженера, начальника участка, мистера Стевенсона, дама с круглым детским личиком и пухлыми губками.

— Очень хорошенькая, — сказала одна из местных дам, обращаясь к мистеру Ногану, — очень хорошенькая у вас жена.

— О нет, это не моя жена, это жена мистера Стевенсона.

— Она англичанка?

— Нет, ирландка. Из Ирландии.

Услышав громкий голос Омонте, все притихли. Магнат разговаривал с Эстрадой, единственным мужчиной, который явился на вечер не в смокинге, а в темном уличном костюме.

— Меня просят, чтобы я взял на себя заботу по эксплуатации электрической железной дороги. Компания близка к разорению. И все это из-за плохой администрации.

— Именно, сеньор, из-за плохой администрации. А кроме того, в Кочабамбе и с сельским хозяйством плохо.

Вмешался мистер Рит:

— Здесь, в Боливии, население не умеет извлекать пользу из железной дороги.

— Ясно, — рассмеялся Эстрада, — пользу умеет извлекать компания «Боливиэн рейлвей».

— Говорят, — заметил миллионер, — говорят, что движение в сторону долины очень большое, колоссальное, и поезда всегда битком набиты. Мне это хорошо известно. И пассажиров много и грузов.

— Именно, сеньор, — вставил управляющий, — но многие, индейцы например, предпочитают топать ногами: гонят себе ослика, а на облике — жена…

Все снова вежливо рассмеялись.

— Надо заставить индейца пользоваться железной дорогой, — сказал мистер Стевенсон, — хотя это дело нелегкое. Индейцы привыкли жить скотской жизнью.

— Как-то раз, — начала супруга мистера Рита, — пришел к нам индеец с женой и с ребенком и принес шкурку шиншиллы. Какая это прелесть, как это красиво! Тут я смотрю на ребенка и вижу, что лицо у него все в болячках. Я спрашиваю индейца: «Что это у мальчика?» Тот молчит. Тогда

я позвала waiter[41] и он сказал: «Сеньора, у мальчика оспа!» Я отдала шкурку и сказала индейцам: «За такие вещи в Соединенных Штатах дают десять лет тюрьмы». Пришлось потом сделать во всем доме дезинфекцию. Кошмар! Индейцы же как ни в чем не бывало: таскают за спиной ребенка, а у него оспа.

— Да, да, им незнакомы правила гигиены. Им нравится жить в грязи. Отсюда и смертность. Сами виноваты.

За ужином прислуживали камердинер сеньора Омонте и местные слуги, все в белых перчатках. Но шампанское разносил только камердинер. Встал управляющий и предложил тост:

— …Успехи рудника очевидны: если в прошлом году он давал сорок тысяч тонн, то в этом году, наращивая темп добычи, он, следуя приказу сеньора Омонте, побил собственный рекорд, выдав пятьдесят тысяч. Думаю, это должно понравиться сеньору Омонте. Так выпьем же за процветание нашего предприятия, за сеньора Омонте, которого мы имеем счастье лицезреть здесь и за его супругу, пребывающую в Швейцарии.

Блеск хрусталя и яркие цветы утомили сеньора

---

[41] Примечания: 41
Здесь: слуга (англ.).

Омонте, он начал было подремывать, но потом слегка откашлялся и, не поднимаясь с места, произнес:

— Ну, выпили.

Перешли к кофе. Дамы и служащие невысокого ранга ретировались. Откланялся и Эстрада. Сеньор Омонте, доктор Давалос и доктор Лоса, управляющий горнорудным отделом, мистер Мак-Ноган и мистер Стевенсон заперлись в кабинете и расселись возле камина.

— С рабочими надо держать ухо востро, — сказал управляющий. — Они отряжают делегатов для встречи с сеньором Омонте с целью добиться от него уступок. Идиотская манера: вечно они клянчат.

— Им неплохо живется, — вставил Давалос.

— Совсем неплохо, — подхватил управляющий, — по им все мало. У них дешевая пульперия, у них дома, футбольная площадка, техника безопасности улучшилась и вполне гарантирует их от несчастных случаев. Но они требуют повышения зарплаты. На выпивку.

— Их сбивает с толку большевистская пропаганда. Чилийцы завезли ее сюда. Теперь они организуются в профсоюзы. И хуже всего то, что закон — на их стороне. Новое правительство

атакуют со всех сторон, и оно находит поддержку только у этого сброда. Потому-то оно и поспешило одобрить закон об охране труда.

Омонте резко повернулся к Давалосу:

— А вы, уважаемый доктор, сделали что-нибудь, чтобы провалить этот закон?

— Проблема заключается в том, что конгресс в большинстве состоит из всякой швали. Наши кандидаты не могли сладить с этим большинством, и они совершенно распоясались в своих нападках на капитал. Но мы их полностью разоблачили в нашей прессе.

— Вот почему я не желаю втравляться в политику, — прохрипел Омонте.

— Тогда нам было это нужно. А теперь… теперь приходится продолжать начатое. Надо свалить это правительство. К счастью, все порядочные люди против него. Но есть еще и сенат, а сенат как раз и голосовал за пресловутый закон.

— Что говорит на этот счет доктор Гуаман?

— О, доктор Гуаман хорошо разбирается в финансовой стороне вопроса. Он выступил в палате против законопроекта. Но что он мог поделать против крепко спаянного большинства, которое в поисках денежных средств для правительства выступает против капитала?

Вмешался мистер Рит:

— Вероятно, мы могли бы с ними договориться. Потребовать роспуска конгресса и больше не выступать. А от правительства мы попытались бы добиться согласия.

— То есть как это так? — воскликнул возмущенно миллионер. — Согласиться, чтобы из нас качали деньги?

— Я имею в виду, что если мы достигнем согласия, то с друзей будут брать меньше денег, чем брали с врагов.

— А как же тогда понимать закон об охране труда? Он стоит нам полмиллиона в год.

Омонте нервно хлопал себя по коленке. Новости не радовали его, и он шумно запыхтел.

— Ладно, — сказал он, — надо собрать совещание в Оруро. Пригласите доктора Гуамана. Приедет мистер Апельд. Куэльяра тоже пригласите.

— Мы вызовем его телеграммой.

— Ясное дело — не по почте!

Давалос смутился и замолчал. Омонте, поерзав в кресле, обратился к управляющему. Тот сидел слева от хозяина, красное, как морковка, лицо его лоснилось от пота.

— Я хотел спросить у вас, почему разработка

жилы «S» стоила так дорого?

Управляющий стряхнул пепел сигары и сказал:

— Да, жила «S»... Видите ли, здесь пришлось монтировать оборудование, не останавливая работу.

Тогда из-за кресел, на которых сидели заправилы компании, встал Ноган. Лицо его блестело, сверкали и очки.

— Мистер Рит тут ни при чем: он был в отпуске. Это я распорядился производить монтаж, не снижая темпов выработки.

— Ах, вот что! — проурчал Омонте. — Вы, значит, распорядились. И во сколько же обошлась выработка?

— Нужно было сделать много штреков, поставить крепь в галереях. Порода там рыхлая, мог случиться обвал.

— И что же: были обвалы?

— Ни одного: мы всюду поставили деревянные крепления. Иначе обвала не миновать.

— Ясно, что не миновать. Рудник ни к черту не годится. Вы же инженер и сами видите, что к чему. Почему, однако, вы распорядились платить в этом отсеке сверхурочные?

Последние слова вылетели из глотки Омонте с

угрожающим свистом.

— Не могли же рабочие бесплатно работать после восьми часов.

Магнат посерел, вены у него на висках набухли.

— Ах вот как! Бесплатно, говорите? Значит, я не плачу своим рабочим?

— Я этого не сказал, сеньор.

— Так не пойдет, сеньор мой! Инженер мистер Кларк осмотрел жилу и сказал, что ее надо проходить с юга на север, а вы начали с другого конца.

Ноган взглянул на присутствующих и, откашлявшись, сказал:

— Не есть точно, сеньор Омонте, сказать с юга на север, потому что трещины не показывают простирание жилы, а показывают смещение горных пластов... О, это долго объяснять. Одно дело разговаривать здесь, другое видеть все в руднике.

Омонте оттопырил нижнюю губу, отчего обнажились зубы — верный признак неудовольствия, — и немного помолчал. Потом, обращаясь ко всем, с явной издевкой сказал:

— Только этот сеньор разбирается в делах рудника. А я для него — вроде агронома или юриста. Но вам следовало бы знать, — закричал он, глядя

на Нога́на в упор, — что я в этих делах понимаю больше, чем вы думаете, во всяком случае, достаточно, чтобы не дать себя обкрадывать.

Мистер Ноган подскочил к Омонте и встал против него. Все были изумлены.

— Я иметь чувство ответственность. Я есть инженер, вы есть рудокоп, но нельзя говорить, что я вор.

— Замолчите, — прохрипел Омонте, — и катитесь, катитесь отсюда со своим инженерством!

— Конечно, я иду, но я вам говорю, что вы не понимаете дела, вы только удачливый богач, и все.

Омонте с помутневшими глазами двинулся на него, но мистер Рит и Давалос встали между ними и принялись подталкивать Мак-Нога́на к двери.

— Опомнитесь, Ноган, разве так можно! — испуганно говорил управляющий. — Я приказываю вам покинуть нас!

— Именно, — прохрипел Омонте, — не то я выставлю его пинком в зад.

Магнат трясся от ярости, однако в его маленьких темных глазках не было блеска. Он пошарил на столе, схватил бокал, но Давалос забрал его.

— Успокойтесь, дон Сенон, успокойтесь.

— Я иду, — сказал Ноган, направляясь к двери. — Вы останьтесь со своими рудниками. Вы

должен мне пять тысяч долларов за убыточность.

— Черта лысого ты получишь!

Ноган отворил дверь и вышел. Омонте, красный и задыхающийся, обратился к присутствующим:

— Вы видели, черт подери, каков наглец. Он меня разоряет, а я ему должен еще платить. Завтра же пусть убирается. Здесь люди есть, найдите мне другого.

— Успокойтесь, успокойтесь, сеньор Омонте. Странно, очень странно. Такой примерный служащий.

Между тем Ноган взял шляпу, и, когда проходил по холлу, слуги, рассевшиеся в креслах — в доме никого уже больше не было, — поднялись и, стоя, почтительно поклонились ему. Он вышел на улицу и почувствовал, как пахнул на него холодный ветер. Вспомнил Маручу. Когда он уже был на площади, ему показалось, что со светящейся планеты, какой представлялось теперь его воображению здание администрации, его ввергли в холодную преисподнюю.

Управляющий, два инженера и еще один служащий сопровождали сеньора Омонте во время обхода огромной территории обогатительной фабрики. Осмотр занял все утро. Они начали с

устья шахты, куда подвозили руду. Затем руда направлялась по подвесной дороге на склад под цинковой крышей, там ее вываливали в дробильные машины, потом вагонетками доставляли к решетам и грохотам.

Скрежет железа и стали, шум бешено вращающихся колес и приводов, гром молотов и. блоков оглушил Омонте. Здесь еще работали по старинке. Женщины, сидевшие вдоль ленты конвейера, вручную выбирали руду и бросали ее в воронку, установленную у каждого рабочего места, откуда куски руды попадали на другой ленточный конвейер, расположенный в нижней части фабричного строения. А само строение напоминало мост, переброшенный с одного белого холма из риолитов на другой.

Шум и грохот нарастали по мере приближения свиты к цеху, где руда снова сортировалась: здесь мелкие куски отделялись от крупных и пути их расходились. По разным конвейерам они доставлялись к дробилкам, затем снова происходила сортировка: крупные куски двигались дальше, а отсеявшаяся металлическая пыль прессовалась в брикеты и затем подвергалась сложной обработке.

Выкупанные в грязи, пропыленные насквозь

рабочие не проявляли ни малейшего интереса к посетителям. Но и те, в свою очередь, не обращали никакого внимания на живую силу, служившую лишь придатком к машинной технике. Впрочем, их мало интересовал и сам Омонте, уже изрядно измотанный бесконечными подъемами и спусками.

Наиболее крупные куски руды обрабатывались в дробилках, откуда взлетали клубы пыли и доносился надрывный кашель рабочих. Сортировка производилась в центрифугах и в решетах; измельченные кусочки подвергались обработке до тех пор, пока не превращались в мелкую пыль. Металлическая пыль отделялась от песка промывкой, и металл снова поступал на ленты конвейеров, в решета, в сита, под прессы, пройдя все виды движения, протанцевав все фигуры, которые проделывали стальные тросы, железные колеса, поршни, решета, грохоты, миновав множество труб и отстойников, испытав бесчисленные подъемы и спуски, пока, наконец, после всех сложнейших манипуляций не попадал на склад готовой продукции, оставив следы во всех цехах обогатительной фабрики.

Сопровождающие сеньора Омонте управляющий и инженер-боливиец давали объяснения,

старяясь перекрыть адский шум. В сложных технических новинках Омонте узнавал приспособления старых времен. «Это, по-нашему, решето», — говорил он, увидев осадочную машину. «Раньше это делалось обушком», — замечал он, подойдя к дробильной машине новой марки.

Приблизились к печам.

— Здесь мы должны будем ввести новый метод флотации. Мы расширим фабрику рудника «Прогресс».

— Когда рудники объединятся, добыча увеличится наполовину.

Они вошли под огромный навес, где, словно диковинные чудовища, сбились в кучу дизельные моторы, сверкающие новой краской.

— В Южной Америке это самые мощные.

— Так, так…

Омонте обливался потом.

— Желаете спуститься в шахту, сеньор?

— Нет, нет. Уже поздно.

— Сеньор Омонте устал.

Действительно, к вечеру миллионер так устал, что не мог принять рабочую делегацию; представители рудников и обогатительной фабрики вручили доктору Давалосу петицию и оживленно растолковывали ему содержание документа

по-испански и на кечуа.

— Работа, что и говорить, тяжелая, — заметил доктор Лоса, — но они не хотят принять в расчет, во что обойдутся компании те мероприятия, о которых они просят. А кроме того, разве можно сравнить наш рудник с другими? Там кошмарные условия.

В правлении орурского банка было холодно. К десяти утра здесь собрались доктор Давалос, сенатор Гуама и и доктор Густаво де Куэльяр. От холода все потирали руки.

Прибыл и сеньор Омонте в сопровождении управляющего мистера Рита и мистера. Апельда — с морковным цветом лица, одетого в светлый фланелевый костюм, с неизменной сигарой в уголке рта.

Доктор Куэльяр, которого представили сеньору Омонте, тут же поспешил принять у него пальто и осторожно его повесил. Омонте уселся на широком диване, обитом кожей; Давалос и Рит расположились в кожаных креслах; Апельд подсел к письменному столу, на котором разложил папки с бумагами; по углам на стульях, словно провинившиеся школьники, примостились доктор Куэльяр и доктор Гуаман.

Омонте откашлялся и начал с раздражением:

— В Боливии мне все время задают головоломки. Во всем приходится разбираться самому — никакого порядка. Я плачу жалованье, на это уходят тысячи и тысячи, сотни тысяч… а вы тут ничего не можете наладить. Я из Парижа должен управлять всем этим хозяйством. Я пригласил на совещание мистера Апельда, он даст пояснение к плану, с которым вы могли познакомиться заранее.

Советники должны были выслушать речь мистера Апельда на дурном — хуже некуда — испанском языке. Он начал так:

— Во-первых, прошу извинить меня за дурное произношение. Второе, положение дел таково: все тяжбы практически выиграны, производство олова достигло сорока тысяч тонн, произошло объединение рудников, вольфрама добыто столько, что котировка на него упала, возникли новые филиалы банка, а центральный банк, созданный для выпуска банкнот на выплату жалованья, превратился в первый коммерческий банк страны. Компания является также основной держательницей акций государственного банка, который фактически управляется нами.

В полной тишине слышалось только поскрипывание стула, на котором сидел доктор Гуаман.

— В-третьих, сеньор Омонте приобрел большую часть акций Англо-чилийской компании, которая должна слиться с группой рудников «Провидение». Выработка пойдет теперь по галерее «Контакт» с выходом через Льяльягуа; обогащение руды будет производиться на фабрике Барсолы, которая должна увеличить свою мощность. Понятно я говорю?

Последовал единодушный утвердительный ответ.

— Сеньор Омонте получил предложение приобрести рудники на Малайском архипелаге, а также акции плавильной компании «Вильям Харвей». Это будет колоссально: возникнет огромный оловянный трест. Крупнейший держатель акций в Боливии — сеньор Омонте, крупнейший акционер рудников в Малайе — сеньор Омонте. Во всех случаях мы в выигрыше: если рудоплавильные заводы закупают дешевое олово, выигрывают плавильни, если покупают дорого, выигрывают те, кто его продает. Компания во всех случаях получает прибыль, ибо трест определяет три вещи: количество выпускаемой продукции, цену на руду и цену на выплавленный металл. И все это в мировом масштабе.

Омонте слушал со скучающим видом, скрестив

руки на животе. Мистер Апельд закурил другую сигару.

— Производство олова требует большего размаха. Крупный капитал интернационален, и управление им должно осуществляться из крупных центров. Маленькая страна не может управлять мировым производством. Отсюда следует, что абсолютно необходимо перевести центр управления предприятиями Омонте в Соединенные Штаты и создать там акционерное общество.

Доктор Гуаман, чье пухлое лицо, слившееся с лысиной, имело только одну примечательную деталь — свиные глазки, счел уместным подать голос:

— Одно словечко, с вашего разрешения... Нужно будет выплачивать дивиденды акционерам.

Лицо мистера Апельда скривилось в презрительной улыбке.

— Акции будут существовать фиктивно, то есть только в воображении. На рынок поступит минимальное количество акций. Все будет принадлежать сеньору Омонте. Кроме того, определяя стоимость акций под капиталовложения в горнорудную промышленность, можно поднять номинальную стоимость капитала. В этом случае

компания может показать заниженную прибыль, что выгодно и при выплате дивидендов, и при уплате налогов. Кроме того, балансом предусматривается определенная сумма на амортизацию капитала, хотя нет никакой нужды что-либо амортизировать, ибо весь капитал рудников — это само олово.

Омонте несколько раз потер нос.

— Великолепно, просто великолепно! — начал доктор Гуаман, обращаясь к миллионеру. — Выпустив небольшое количество акций для заграницы, можно будет показать правительству, что компания вышла на международную арену. Пусть оно попробует не считаться с нами!

Омонте откашлялся и посмотрел на своих советников.

— Хорошо, сеньоры ученые, вы имели три дня, чтобы ознакомиться с этим планом. Теперь от вас требуется одно: чтобы вы сказали, как можно добиться согласия правительства на вывоз капитала и как сделать, чтобы компания превратилась в акционерное общество.

Давалос, ухватив толстыми, как у негра, губами сигарету, зажег ее, затянулся и медленно заговорил:

— Мы, сеньор дон Сенон, работаем не покла-

дая рук, делаем все, что только возможно. Но, видите ли… из Парижа, извините меня, вещи могут казаться более простыми, чем в действительности, то есть чем здесь. Все, что изложил мистер Апельд относительно процветания предприятия, — это плоды талантливого руководства сеньора Омонте. Но здесь нам приходится воевать с правительством. Кажется, все должно быть прекрасно: руда из шахт пойдет в плавильни и так далее, но нельзя забывать о правительстве с его налогами. Боливия — это не только рудники. Есть и другие центры и города, вроде Ла Паса, где всегда находятся демагоги, утверждающие, будто государство должно жить за счет горнорудной промышленности. Им и в голову не приходит, что можно развивать другие отрасли производства, например, обработку древесины, заготовку коки.

— Мы, — он сделал затяжку и выпустил дым из-под прокуренных усов, — мы поддержали либеральную партию и партию истинных республиканцев. И сделали это потому, что обе они уважают права капитала. Мы не были беспечными, сеньор Омонте. Мы подумали даже о том, как я писал вам, что, несмотря на некоторые личные связи с деятелями либерального движения, компания должна оставаться вне политики,

ибо только в этом случае она могла бы спокойно наблюдать, как на смену нынешнему президенту в результате переворота пришел бы лидер оппозиции. Он человек уравновешенный и никогда не допустил бы принятия антилиберального закона, по которому государство может требовать от горнорудных компаний доли прибылей. Но в связи с правительственным переворотом к власти пришел другой человек, которого мы знаем, простите за выражение, как строптивого туземца, амбициозного и желчного[42].

Слово «туземец» прозвучало неуместно в этом обществе.

— Яс ним незнаком, — сказал Омонте. — В глаза его не видел.

— А я его знаю, — продолжал Давалос, — это адвокат, бессовестный и наглый. Мы вели с ним однажды тяжбу. Он либерал и теоретически не приемлет нападок на капитал со стороны правительства. Но на практике поощряет их, так как ему нужны деньги, чтобы удержаться у власти. Все тянут от него деньги, он раздражается. Его честолюбивая мечта состояла в том, чтобы создать партию либеральной элиты с нашим участием,

[42] Примечания: 42

Очевидно, имеется в виду Хуан Баутиста Сааведра, президент Боливии с 1921 по 1925 год.

извините за нескромность. И это ему не удалось сделать. Теперь он в изоляции и злится на весь свет. Нужно этим воспользоваться. Главное то, что правительство любит деньги.

— Правительство любит Омонте, — вставил медоточивым голосом доктор Куэльяр.

— Что касается меня, — смеясь, сказал Омонте, — я предпочел бы, чтобы оно меня не любило!

Все рассмеялись. Рит повторно изложил свое мнение, высказанное неделю назад:

— Иметь правительство в качестве друга означает, что оно будет брать у вас меньше денег, чем у недруга. Видимо, это хотел сказать доктор Куэльяр.

— Сначала нужно посмотреть, как далеко заходят претензии правительства.

Давалос смахнул пальцами пепел — прямо на пиджак — и сказал:

— Коротко говоря, правительство не удержится больше полугода.

— Все зависит от сеньора Омонте, — заметил доктор Гуаман.

— Я думаю — и того меньше. Его атакуют со всех сторон. Хотя оно и закрыло оппозиционные газеты, включая и нашу, резкая критика про-

должается: его обвиняют в расточительстве и в драконовых мерах. Эмигранты обнародовали ядовитый памфлет против тирании. Мы издали его в Чили тиражом в двадцать тысяч экземпляров. Они были доставлены сюда в ящиках, предназначенных для упаковки оборудования.

— Тогда выходит, — сказал Омонте, удивленно приподнимая голые надбровные дуги, — что мы объявляем войну правительству?

— Компания не может воевать с правительством. У нее нет партии.

Это произнес доктор Густаво де Куэльяр. Он сидел на краешке стула, вытянув вперед свою морщинистую шею, тонкую у основания и расширяющуюся в верхней части— там, где полагается быть голове. Только обвисшая кожа подбородка дряблым наростом обозначала границу между шеей и лицом. Под убегающим лбом в глубоких глазницах сидели маленькие глазки, наполовину затянутые полукружиями век и смотревшие не на собеседника, а на кончик собственного конусообразного носа. Поза доктора Куэльяра, подавшегося вперед всем корпусом, согбенная спина, устремленный к собеседнику нос свидетельствовали об умении почтительно внимать и слушать.

Он сказал и умолк. Тогда взял слово доктор Мартин Гуаман:

— Положение таково. Я предложил в конгрессе — и это предложение было поддержано прессой и оппозиционными партиями — произвести подробный разбор проекта о прибылях горнорудных компаний. Я уже говорил, сеньор Омонте, что главный тезис правительства по части финансов состоит в том, чтобы раздобыть побольше денег и тем самым укрепить свою власть. Но законопроект все-таки прошел. Этого следовало ожидать. Впрочем, это не так уж важно. Тут есть и положительная сторона. Принятый закон поможет нам упрятать правительство в карман. Как должен поступать слабый человек, подвергшийся нападению со стороны более сильного? Он должен задобрить его, усыпить его бдительность и… дождаться, пока подоспеет полиция. Для подобных целей у нас есть достаточно ловкие люди. Себя я не предлагаю, так как меня считают врагом правительства. Но у пас есть доктор Куэльяр, человек вне политики, имеются и другие, они прекрасно могут столковаться с сеньором президентом. Быть вежливым не значит быть трусом.

— Не понимаю.

— Тут даже не нужны большие деньги. Дело

известное: рабочего опутывают посредством кредита в пульперии, мы же можем предоставить заем правительству — и оно у нас в кармане.

— Заем? Заем правительству, которое норовит меня ограбить? — пробурчал Омонте.

Доктор Гуаман потер руки, чтобы согреться, и продолжал:

— Именно заем! Но при этом важны условия: краткосрочность и гарантии на ссуду (он сделал ударение на слове «гарантии»). Ссуда гарантируется налоговыми сборами, которые взимают с компании, и всякое повышение налога непременно затрагивает интересы обеих сторон.

— Но разве правительство примет такие условия?

— А для чего же мы здесь?

В разговор включился доктор Куэльяр:

— Я из Чукисаки и знаю тамошние настроения. Правительство на коленях будет просить ссуду. Оппозиция накаляет страсти вокруг требований властей Сукре и Орьенте в связи с постройкой там железной дороги. И пусть накаляет.

Омонте с сомнением хмыкнул и посмотрел на Апельда.

— Но это только начало, — продолжал Куэльяр. — Это приманка, чтобы отвлечь внимание

правительства, а тем временем компания переправит свои капиталы за границу.

Доктор Давалос, опасаясь, что Куэльяр целиком припишет себе этот оригинальный план, перебил его:

— Этот грандиозный план, разработанный нами, то есть мистером Ритом, доктором Гуаманом, доктором Куэльяром и вашим покорным слугой, состоит в двойном маневре. С согласия других горнорудных предприятий и банков мы устраиваем правительству голодную блокаду, а потом предлагаем заем… не очень крупный.

— А если оно попытается обложить нас еще более высокими налогами?

— К тому времени наши основные капиталы будут уже за границей. Правительство, которое дало обещание не повышать налогов, не может нарушить соглашение с иностранной компанией. Кроме того, прежде чем предоставить заем, компания может требовать гарантии политической стабильности в стране, внушить мысль о том, что финансовые соглашения заключаются только с авторитетным правительством, убедить, что этот авторитет возможен при соблюдении двух непременных условий: кабинет должен состоять из представителей всех партий и чрезвычайное

положение должно быть отменено. Такой кабинет мог бы быть составлен — при всеобщей поддержке в стране — из лиц, пользующихся доверием компании. Особенно важен подбор людей в министерстве финансов, которому мы могли бы оказать большую техническую помощь. Коалиционное правительство, состоящее из благоразумных министров, не станет нападать на горнорудную промышленность.

— А если президент не утвердит такой состав кабинета?

— Мы уменьшим поставку олова, будем оспаривать налоги в верхней палате, откажем правительству в займе, станем сотрудничать с оппозицией. При слабых финансовых возможностях и сильной оппозиции правительство, которому грозит крах…

— А если краха не будет?

— Тогда мы предложим ему сумму покрупнее. Вы, сеньор Омонте, замечательный человек. Ведь это вы сказали, что компания не должна вмешиваться в политику, пока правительство не будет угрожать ей своими законоположениями. Теперь как раз тот случай. Защищая интересы горнорудного дела, мы добились того, что правительство объявлено большевистским, и его ненавидят все

разумные люди. Теперь мы сделаем ему денежную инъекцию с одной только целью: чтобы оно приняло наш проект реформ. Многого обещать не будем, поскольку оно все равно должно пасть. Кажется, у нас с президентом есть взаимопонимание, но нам необходимо быть начеку, чтобы не упустить благоприятного момента для тайного сговора с руководителями оппозиции и возглавить в подходящий момент переворот. Все хотят быть в контакте с компанией. Получится так, что, если нынешнее правительство падет, мы сами займемся формированием нового. При этом все будут считать, что мы освободили страну от тирании.

Доктор Куэльяр вытянул вперед свой нос:

— Теперь разрешите мне, доктор, сказать два слова в поддержку вашей блестящей идеи. Поскольку мы должны блюсти интересы компании, постольку мы вынуждены в необходимых случаях контактировать с правительством. Желаете заем — пожалуйста. Намереваетесь поставить министра из наших — тоже неплохо. Важно, однако, не афишировать, что он наш, напротив, какое-то время он должен стоять на стороне деспота, а затем накануне переворота, по нашему сигналу, демонстративно уйти в отставку.

Омонте, запустив большие пальцы в карманы жилета, на котором красовалась золотая цепочка, неторопливо барабанил остальными по животу. Сеньор Куэльяр передвинулся на самый краешек стула и так пригнулся, что острые колени едва не касались его конусообразного носа.

— Я берусь предложить правительству заем. Мне это просто сделать, поскольку я далек от политики.

— Очень хорошо, — сказал Апельд. — Первый шаг — заем. За это мы получаем министра финансов, а следовательно, и разрешение на вывоз капитала в Нью-Йорк и на преобразование компании в акционерное общество. Превосходно. Мне говорили, сеньор Омонте, что у вас отличные советники.

— Рад слышать, рад слышать…

— Позвольте одно замечание, — сказал сеньор де Куэльяр, проглатывая слюну. — Значит, так… Доктор Гуаман высказал мнение о том, чтобы мы обратились к правительству с просьбой отменить чрезвычайное положение. Это нам не выгодно. Именно теперь пресса должна молчать. Всегда найдется газетенка, которая с готовностью начнет вопить по поводу того, что мы, дескать, разбазариваем природные богатства Боливии.

— Верно, верно…

Совещание продолжалось два часа. Омонте встал, поощрительно похлопал по плечу своих советников, Гузмана и де Куэльяра. Этот последний услужливо смахнул своим носовым платком пылинку с плеча сеньора Омонте. Доктор Давалос нисколько не жалел, что его вызвали из Ла-Паса.

Они вышли из здания банка и отправились на обед, который давала в честь Омонте Ассоциация мелких шахтовладельцев. Подавая хозяину пальто, доктор Давалос шепнул ему на ухо, разумеется, в шутку:

— Кажется, наши ученые доктора не прочь стать министрами в правительстве тирана…

В течение нескольких дней миллионера осаждали старые знакомые, разведчики недр, просители, желавшие изложить ему свои предложения. Среди них был и заморыш Удаэта, он назвался школьным товарищем сеньора Омонте.

— Удаэта? Школьный товарищ? Скажите ему, что я никогда не учился в школе!

После обеда, когда Омонте был уже в вестибюле, его снова атаковали какие-то старые приятели и, заикаясь, пытались что-то объяснить своему высокопоставленному другу.

— Да, да… Обратитесь к моим инженерам. Для

этого есть контора.

Он хотел было растолкать людей, окруживших =его тесным кольцом. Безрезультатно. Не помогли и вежливые увещевания управляющего и адвокатов.

— Извините, сеньоры, но сеньор Омонте спешит на важное совещание. Вы можете поговорить с ним завтра…

При выходе из отеля, где был устроен обед, когда Омонте в сопровождении свиты уже направлялся к своему автомобилю, перед ним вырос какой-то старик, высокий, тощий, с красными слезящимися глазами, с двумя глубокими — словно два. шрама — морщинами, идущими от ушей до уголков рта, на голове — огромная широкополая шляпа. Омонте подумал, что это просто какой-то зевака и хотел уже сесть в машину, но мужчина рукой преградил ему путь:

— Минуточку, Я хочу вам сказать одно словечко…

Омонте несколько оторопел и нахмурил брови.

— Зайдите ко мне… — начал было Омонте.

И тогда старик прошепелявил, обдав его винным перегаром:

— Не узнаешь меня? Я Непомусено Рамос.

Омонте набычился и спросил:

— Что вы хотите?

— Сущий пустяк. Я только хочу сказать, что ты — вор!

Он ясно произнес это слово и в упор смотрел на миллионера своими слезящимися, навыкате, глазами. Потом громко крикнул:

— Да, я сказал, что ты — вор!

Вмешались окружающие и оттеснили старика.

— Вы с ума сошли! Какая наглость! Надо позвать полицию!

Омонте замахнулся палкой, но Апельд и Давалос взяли его под руки и усадили в машину.

— Этот наглец пьян. Просто пьян… — бормотал миллионер хриплым голосом.

Дверца захлопнулась, и сидящие в машине снова посмотрели на странного субъекта. Доктор Лоса сказал:

— Он пьян. Это тот самый Рамос — помните, дон Сенон? — тот самый Рамос, который хотел отсудить у компании рудник «Монтекристо», то есть, я хочу сказать, рудник «Голубой». Мы выиграли тяжбу. Вот потому-то… Ну, теперь мы его упрячем в тюрьму.

Между тем седоусый старый Рамос, стоя на тротуаре в толпе людей, указывал на отъезжающую машину и объяснял собравшимся:

— Он подкупил суд. Этот бандит всех держит в кулаке. Но я доволен: я прямо сказал ему, что он жулик.

Компания предоставила правительству заем. В первый же свой приезд из Европы Омонте подписал соглашение, по которому правительство получало шестьсот тысяч фунтов из расчета восьми процентов годовых (кроме первого, льготного, года), за вычетом суммы амортизации, с условием, что деньги пойдут на нужды железнодорожного строительства через банк Омонте под наблюдением доверенных лиц правительства и предприятия.

Президент предложил дону Густаво де Куэльяру как специалисту и как человеку, стоящему вне политики, пост министра финансов, что было одобрительно принято прессой и начальником генерального штаба, который в специальном приказе выразил от имени армии удовлетворение, поскольку отныне портфель министра финансов переставал быть «предметом недостойных политических махинаций».

Поначалу строгий надзор министра финансов пресек намерения правительства оплачивать секретную полицию из сумм, предназначенных для строительства железной дороги.

— Я объяснил президенту, — говорил по этому поводу доктор Давалос, — что мы живем не в идеальном государстве Платона, поэтому правительство вправе иметь секретные фонды для всяких политических дел. Но изъять деньги из фондов железнодорожного строительства значило бы отнять у народа мечту о техническом прогрессе. Я внушил президенту, чтобы он изыскал другие источники.

Одновременно доктор Давалос счел уместным представить в министерство просьбу об утверждении статута нового акционерного общества горнорудной промышленности под названием «Омонте тин энд энтерпрайсис консолидейтцд» с местопребыванием в Нью-Джерси и с отделением в Боливии. В документе излагался протест против уплаты налогов за перевод капитала за границу. Сумма налога составляла триста тысяч боливиано.

В связи с этим была проделана остроумная финансовая операция: банк Омонте перевел на текущий счет правительства чек, который был оплачен после того, как верхняя палата специальным решением одобрила перевод капитала за границу, а компания уплатила, в свою очередь, соответствующий налог, равный как раз той

сумме, которую правительство ранее получило в виде займа. Эта операция, проделанная министром финансов, заслуживала всяческих похвал. Теперь доктор де Куэльяр стал смотреть сквозь пальцы на перекачку капитала из железнодорожного строительства в кассы департамента полиции и никак не реагировал на разоблачения оппозиционной прессы в связи со злоупотреблениями на строительстве железной дороги.

Несколько позже «большевистское» правительство, исходя из настоятельной необходимости иметь в Европе представительство, которое своим авторитетом и обширными полномочиями могло бы восстановить престиж Боливии, к сожалению, сильно подорванный деятельностью ее заштатных дипломатических миссий и корыстолюбивых посланников, назначило послом в Бельгию и Голландию гражданина Сенона Омонте. Новый посол, в свою очередь, назначил первым советником посольства доктора Мартина Гуамана, изгнанного боливийским правительством из страны, и вызвал его в Париж.

XII

Руда и кровь

И стала вдруг земля покрыта кровью и телами убитых.

Рудник непрестанно высасывал из людей соки, но иногда его мощные челюсти перемалывали и самих рудокопов, а тогда — прямой путь в больницу или на кладбище, устроенное на плоскогорье, по другую сторону желтого ущелья, — туда, где лес крестов на каменных холмиках почти касался облаков.

Из рудника «Провидение» в трех мешках были подняты на поверхность останки пяти погибших при взрыве: трех забойщиков и двух откатчиков.

Эстрада получил доклад о происшествии и лично передал его Риту в здании управления:

— Старший рабочий объясняет несчастный случай ошибкой самих рудокопов. Они считали количество взрывов. Всем показалось, что их было пять, на самом же деле их было четыре. Они отправились к месту завала, и тогда раздался пятый взрыв.

— Я сам спускался вместе с бригадой, — прибавил старший рабочий. — Когда дым рассеялся, я увидел оторванную руку, вымазанную глиной, словно на ней была надета перчатка, и потом — какое-то сплошное месиво. Только по контрольным биркам в проходной мы установили, что это были Хосе Мамани, Симон Юхра… Игнасио Колке…

Он умолк, услышав снаружи какой-то шум. Все подошли к окнам. Отсюда было видно кирпичное здание, где располагались главные службы, далее тянулись два ряда каменных домов под цинковыми крышами — там селились служащие. Прямо напротив, по уступам горы, располагалась обогатительная фабрика. Надпей — тросы подвесной дороги. Вниз по склону спускались кубики шахтерских домов, и совсем внизу начинался город Унсия, захвативший часть склона соседней горы.

— Это рудокопы идут на похороны. Весь участок прекратил работу.

— Надо быть начеку…

Неделю спустя в управлении состоялось еще одно совещание. На него прибыл Пачеко, мужчина с головой гремучей змеи, управляющий Англо-чилийской компании, выполнявший свои функции еще в период слияния двух компаний.

Когда пришел Эстрада, мистер Рит разговаривал с Пачеко и с комендантом поселка Ардилесом. Ардилес обладал мощной шеей, энергичными челюстями и носил коротко подстриженные усики.

— Рабочие требуют, — говорил он, — возмещения убытков семьям пяти погибших. Они собрались у пульперии и грозятся разнести ее.

Часто моргая змеиными глазками, в разговор вступил Пачеко:

— Сами напиваются… Все несчастные случаи падают на понедельники, когда они являются на работу, еще не протрезвев как следует.

— А поскольку им хорошо известно, что все убытки возмещаются, то они и вовсе перестают заботиться о безопасности.

— Несчастный случай произошел из-за их собственной небрежности, а всякие типы шляются здесь и стараются разворошить осиные гнезда.

— Этих смутьянов надо уволить с работы и выдворить из города.

— Но это может осложнить дело… — заметил Эстрада.

— Иначе будет еще хуже, дон Лоренсо. Тогда они почувствуют свою силу.

Со стороны обогатительной фабрики доносился

шум машин.

— Мы консультировались с Ла-Пасом, — сказал Рит, — Ла-Пас консультировался с Парижем, а Париж… собственно, сеньор Омонте дал распоряжение не рисковать: нельзя допустить, считает он, чтобы его одурачили с законом об охране труда.

— Этот закон влетел бы компании в миллион долларов, — заметил Пачеко. — Наш долг уберечь компанию от потерь. Не так ли, сеньор Эстрада?

Эстрада посмотрел на него и холодно сказал:

— Меня радует, что вы начинаете с таким рвением работать на Омонте…

Однажды в субботу Эстрада спустился в город, чтобы в числе избранных гостей присутствовать у Марты на празднике, который устраивался в честь дня независимости Чили.

В поселке был день получки. У кассовых окошечек конторы скопились рабочие. Несколько очередей, змеившихся вниз по склону, создавали впечатление подвешенных к окошечкам гирлянд из фуражек, заношенных шляп, шарфов, пончо и грубых сапог.

Работницы-индианки тоже ждали жалованья. Другие женщины, жены рабочих, с детьми за спиной, в длинных юбках и круглых шляпах под-

жидали своих мужей, чтобы перехватить у них несколько монет, прежде чем они спустят получку в чичериях. Происходило что-то необычное. Очередь напоминала растревоженный муравейник.

— Исидро Мамани!

— Здесь.

— Пятнадцать боливиано и сорок сентаво. Давай сдачу!

— У меня нет сдачи.

В другом окошке — то же самое.

— А ну потише! Хосе Лима!

— Здесь.

— Двенадцать боливиано и восемьдесят сентаво. Два двадцать сдачи.

— У меня нет сдачи.

— Нет, так найди. У меня только десятки.

— Тут ни у кого нет сдачи.

Рудокопы спрашивали друг у друга мелочь, но у большинства вообще не было ни гроша. Недовольство росло. Старшие рабочие взяли на себя посредничество в подборе людей, чья зарплата, если ее сложить вместе, составляла сумму без сдачи, и затем вручали деньги сразу троим или четверым. Те роптали. Хотели обратиться к служащим, но все они укатили на уик-энд.

Ропот нарастал. Индианки пронзительными голосами обсуждали событие на своем языке. А когда молодой парень по имени Кучальо сообщил, что те, кто пошел на похороны товарищей, были оштрафованы на однодневную зарплату, волнение охватило всех.

— Товарищи, нас грабят!

— Ворюги!

В это время мимо проходил Ардилес. Он взобрался на небольшое возвышение и с усмешкой стал наблюдать за происходящим. Скоро незаметно для себя он оказался в окружении возбужденных людей и, посмотрев на их мрачные лица, крикнул:

— Что тут происходит?

Пытаясь выбраться из толпы, он резко оттолкнул одного рабочего. Ему ответили насмешками и улюлюканьем. Кто-то дал ему подзатыльник, и у него свалилась шляпа. Он обернулся, и в этот момент кто-то сзади разодрал его габардиновое пальто, и сразу же в него полетели комья земли. Все же ему удалось прорваться сквозь толпу и укрыться в конторе. Камни и комья земли полетели в окна. Посыпалось разбитое стекло. Закрытые двери задрожали от ударов. Снаружи раздавались крики.

В это время навстречу меднокожей толпе, лавируя под градом камней, двигался Эстрада; подойдя совсем близко, он остановился.

— Стойте! Прекратите! Послушай, ты, оставь свой камень! Успокойтесь! Тише!

Широко раскинув руки, он старался осадить толпу. Люди перестали бросать камни. Эстрада обвел собравшихся темными стеклами очков. Заметив знакомых рабочих, он обратился к ним:

— Кучальо!.. Кальяха!.. Мамани… подойдите ближе! Что тут происходит? Неужели вы верховодите этими хулиганами?

Под его взглядом, скрытым темными очками, рудокопы стали успокаиваться.

— Тут нет никакого подвоха. Просто из Оруро не прислали ни мелких монет, ни мелкой купюры.

— Да, но почему не оплачивают убытки семьям погибших?

— Дон Лоренсо, говорят, что нет мелочи, это уж ни в какие ворота… Тут что-то не то…

— А еще оштрафовали всех, кто пошел на кладбище!

— Ну хорошо, хорошо, — возвысил голос Эстрада. — Это, конечно, недопустимо. Теперь всем выплатят аванс, десять боливиано, а остальное — в понедельник. Меньше будете пить. Идите

получайте — и чтобы был порядок!

Вернулись разбежавшиеся было служащие. И когда установилась полная тишина, Эстрада прошел сквозь толпу, сел в грузовик и поехал в город. В поселке теперь царили тишина и покой. В воздухе тоже было тихо. Только разбитые стекла конторы и разбросанные повсюду камни напоминали о пронесшемся здесь урагане народного возмущения.

Вдруг раздались тревожные звуки сирен. В конторе зазвонили телефоны. Мистер Рит, который первый раз в жизни не побрился и не держал во рту сигару, едва успевал поворачиваться в своем кресле к аппаратам:

— Что?.. Как?.. Громят пульперию, говорите?

На участке «Орко-сунтинья» рабочие напали на склад, железными ломами в щепки разнесли двери и хлынули внутрь; поток бронзовых лиц и пончо разлился по многочисленным узким проходам складского помещения, сметая на своем пути банки консервов, ботинки, платья, мешки с мукой и сахаром. Вдребезги разлетались бутылки, а на головы людей сыпались с полок — словно гигантское конфетти — кульки и пакеты. Женщины визжали, энергично отстаивая у товарок захваченное добро. Несколько рабочих пытались

протащить мешки у всех над головами, обильно посыпая своих товарищей мукой и сахаром. Через несколько минут пульперия обнажила голые ребра полок; пол был усеян бумагами, черепками; повсюду белела рассыпанная мука и сахар.

Часть людей устремилась к конторе, и теперь оттуда доносились крики:

— Долой гринго! Долой мошенника Рита! Долой Пачеко! Давай сюда управляющего!

В воздухе загремели взрывы.

— Не следует беспокоиться, — говорили в конторе.

— Это они просто так: забавляются динамитом.

— Хороша забава — так можно и без головы остаться.

— И вообще мы-то тут при чем? Пусть разбираются с управлением, с Омонте, а мы люди маленькие.

— Этим скотам все едино.

Вдруг дверь отворилась и вошел очень бледный начальник железнодорожной станции. Все бросились к нему.

— Что происходит? В чем дело? Да говорите же наконец!

— Они разгромили пульперию. Сеньор Эстрада кого-то пристрелил, и теперь они идут к нам.

Нужно отсюда бежать и укрыться на фабрике.

— Пора уходить. Надо позаботиться о своем доме.

Некоторые так и сделали. Другие остались в конторе. В этот момент с верхнего этажа спустились вниз старшие служащие компании.

— Все несемейные, — сказал мистер Рит, — дворами должны пробраться на фабрику.

Им удалось незаметно покинуть контору и проникнуть в здание фабрики. И уже оттуда они услышали крики рабочих.

— Надо дождаться подкрепления. Весть о забастовке, наверное, дошла куда следует. К счастью, эти бандиты не додумались перерезать телеграфные провода.

Рев толпы, сопровождаемый шумом деревянных трещоток, теперь слышался совсем близко. И в этот момент появился Эстрада с группой людей из вооруженной охраны. Он был опоясан поверх пальто патронташем, а сбоку у него висел револьвер.

Притащили ящики с ружьями и патронами, каждый служащий получил ружье и пятьдесят патронов.

— Они забросали камнями контору.

Эстрада никак на это не реагировал.

— Надо вступить с ними в переговоры, — сказал он, — иначе они разнесут фабрику. — И, обращаясь к трем служащим, прибавил: — Вы трое пойдете со мной, только возьмите пистолеты.

Он вышел на площадку перед конторой и направился вниз по широкой дороге. Люди, шедшие ему навстречу, сбились в кучу. Из толпы кричали:

— Долой Эстраду! Насильник! Убийца!

Эстрада поднял руки, призывая людей к спокойствию, и продолжал идти вперед.

— Послушайте! Успокойтесь! Давайте поговорим спокойно!

Но толпа не слушала, а продолжала улюлюкать, словно стая разъяренных индюков, да и трудно было что-нибудь услышать в таком шуме.

— Долой Эстраду! Долой Пачеко! Мерзавец! Убийца!

Эстрада начал говорить, энергично жестикулируя. Толпа остановилась метрах в тридцати от него. Убедившись, что уговоры ни к чему не приведут, он готов был уже пойти назад, но тут град камней обрушился на него и его спутников. Один камень угодил ему в плечо, другой попал прямо в лицо кому-то из служащих. Помощники Эстрады бросились бежать, а он остался стоять

на дороге, и камни, словно птицы, проносились над его головой. Он вынул пистолет, попятился и сделал три выстрела подряд. Рабочие кинулись врассыпную вниз по горе. Динамитная шашка с зажженным фитилем взлетела в воздух и упала рядом с Эстрадой. Он отпрянул и хотел было бежать, но, заметив, что шнур, горевший у самых его ног, был достаточно длинный, не долго думая, схватил петарду и вырвал из нее шнур и взрыватель. Потом выстрелил еще четыре раза и, повернувшись к толпе, которая продолжала улюлюкать, крикнул:

— Имейте в виду: мы все вооружены! Будем стрелять!

Служащие и охранники вскинули ружья и, не целясь, выстрелили: кто вниз, в землю, кто в сторону поселка, кто в воздух. Пули просвистели, и эхо разрывов, похожее на вибрирующие звуки туго натянутой проволоки, пошло гулять по горам, рыская в поисках жертвы.

Ночь прошла неспокойно. Эстрада организовал охрану важных объектов, в том числе и порохового склада. Время от времени слышались взрывы динамитных шашек. В ответ раздавались пистолетные и оружейные выстрелы. Порывистый ветер свистел в ночи, обдавая своим холодным

дыханием вооруженных служащих и охранников. Они курили, пили виски, которым удалось разжиться в доме Эстрады. Рудокопы не тронули этот дом, так как там жила Марта, друг боливийцев и враг гринго.

Утренняя прохлада на всех и на все подействовала успокоительно. Кругом царила тишина. В управление прибыл помощник префекта Унсии в сопровождении двух солдат. Рабочие постепенно стали возвращаться в поселок и вели себя спокойно, мирно обсуждая кандидатуры парламентеров. В девять часов утра управляющий вместе с двумя инженерами и помощником префекта направились к поселку. Рудокопы, завидев начальство, двинулись ему навстречу. Мужчины и женщины окружили управляющего и его спутников тесным кольцом.

— Доброе утро, доброе утро, — начал управляющий. — Давайте поговорим. Но я не могу говорить со всеми сразу. Где ваши делегаты?

Вперед вышло несколько человек в низко надвинутых шляпах и с шарфами вокруг шеи.

— Здесь неудобно вести переговоры. Пройдемте на фабрику.

— Нет, только не на фабрику.

Управляющий выдержал паузу и оглядел ра-

бочих.

— Тогда пойдем в клуб.

Процессия из пончо и юбок двинулась вслед за управляющим. Когда мистер Рит проходил мимо своего автомобиля с разбитыми стеклами и вмятинами от ударов камней, он сказал:

— Бедная машина! Она-то тут при чем?

В клубе все расселись вокруг управляющего. Остались стоять только помощник префекта и оба инженера.

Управляющий вынул пачку английских сигарет и стал угощать.

— Мы все здесь друзья. Здесь нет начальников и подчиненных. Все равны! Давайте поговорим, как подобает мужчинам. Согласны?

Кучальо обвел своих товарищей взглядом зеленоватых глаз, затем изложил требования рабочих и объяснил, что беспорядки на руднике возникли из-за того, что Эстрада выстрелом из пистолета ранил одного рабочего, а охранники убили другого.

— При виде убитого, рабочие разъярились, и их невозможно было сдержать.

— А знаете ли вы, какие мы понесли убытки из-за разрушений? — спросил управляющий. — В одной только пульперии — на сто тысяч боли-

виано.

Рабочие старались объяснить причины забастовки:

— Приемщики занижают вес добытой руды…

— Л какой хлеб нам продают в пульперии?.. Да и мясо не лучше… А ваши служащие смотрят на нас как на нищих попрошаек…

— Вы знаете, какая каторжная работа у проходчиков? Все они болеют легкими, и потом их никуда не берут.

Рудокопы просили обеспечить бурильщиков масками, предоставить отпуска женщинам по беременности, начать строительство больницы, поскольку пункта первой помощи с одним врачом на пять тысяч семейств явно недостаточно, организовать постройку жилищ для рабочих с таким расчетом, чтобы не нужно было проделывать путь в несколько километров, прежде чем доберешься до своей шахты.

Управляющий никак не хотел согласиться с утверждением, будто цены в пульперии выше рыночных.

— Сколько стоит фунт картофеля в Унсии?

— Тридцать сентаво, — сказал помощник префекта.

— Вот видите. А здесь — десять. А фунт сахара?

— Тридцать сентаво.

— А здесь — пятнадцать. Компания теряет на пульперии миллионы.

Кучальо возразил, заметив, что компания никаких потерь не несет, а просто оплачивает их труд натурой.

— Значит, вы не желаете, чтобы компания платила за вас полную стоимость фунта сахара, и предпочитаете получить разницу в пятнадцать сентаво на руки?

Рабочие несколько растерялись. Управляющий закончил тем, что пообещал пойти на уступки, для чего он должен будет проконсультироваться с управлением в Ла-Пасе.

— Я не хозяин рудника. Если бы это было мое, я все отдал бы вам. Так вы вернетесь к работе?

Делегаты сказали, что они поговорят с рудокопами, ио что для возобновления работы нужны гарантии, — чтобы обещания не оставались только обещаниями и чтобы не было репрессий против забастовщиков, и более того: компания должна возместить убытки семье убитого рабочего и семье раненого.

Мистер Рит встал, пожал руки делегатам и, уходя, сказал:

— Нужны переговоры, только переговоры и

никаких драк. Согласны?

Когда управляющий выходил из клуба, толпа оборванцев вела себя уже совершенно иначе:

— Да здравствует мистер Рит! Долой обманщиков! Долой Ардилеса! Да здравствует мистер Рит!

Мистер Рит вернулся в контору, где его ждали бледные, невыспавшиеся, пропахшие табаком служащие. Он попросил соединить его с Оруро и заперся с Пачеко в кабинете.

Примерно через полчаса, ровно в двенадцать дня, произошло нечто необычайное: раздался протяжный гудок паровоза.

— Солдаты! Войска! Солдаты прибыли!

Лица старших служащих засияли от радости.

— Пусть теперь горлопанят. Теперь этим бандитам дадут прикурить!

Компания сразу же взяла на себя заботы по снабжению и расквартированию солдат. Ардилес лично вручил каждому солдату по двадцать боливиано, сигареты и консервы. Толстый смуглолицый майор Айювирй был помещен в доме управляющего, с которым он имел длительное совещание. Ровно в полдень он пожелал принять делегатов в префектуре.

На переговоры пришел Кучальо с тремя товарищами. И сразу же солдаты, угрожая применить

оружие, прикладами разогнали любопытных.

Городок под цинковыми крышами заволновался: тайна, обволакивающая здание префектуры, куда вошли делегаты, тревожила всех. Толпы людей появились на перекрестках улиц. Солдаты разгоняли толпу в одном месте, но люди собирались в другом, отовсюду неслись крики:

— Измена! Измена!

— Назад! Назад!

— Мы хотим видеть наших товарищей, хотим говорить с управляющим!

Вдруг в дверях префектуры появился красный от ярости майор Айювири. Раздался пронзительный свист и потом — взрыв криков такой силы, что, казалось, задрожали стены и крыши домов.

— Не пустим грузовик!

В какой-то момент темная людская масса еще больше разбухла, вобрав в себя людей, прибывших из Льяльягуа.

— Не пустим грузовик! Не позволим увозить наших товарищей.

— Долой Рита! Долой компанию! Да здравствует народная армия!

Волны ярости, рожденные нищетой и отчаянием, одна за другой прокатывались по этому огромному людскому морю. Перед рабочими по-

явился взвод солдат с ружьями наперевес. Жены задержанных депутатов бросились на солдат с кулаками. Какой-то малорослый солдатик ударом приклада разбил голову рабочему. Посыпался град камней. Взвод отступил. Толпа прорвала кордон на флангах и устремилась вверх по улице. Солдаты бежали, роняя фуражки. Женщины пронзительно кричали.

— Осторожно! Не ходите туда, не ходите!

— Они будут стрелять! Бегите, бегите!

— Остановитесь, братья!

В то время как одна группа людей, втянувшаяся в узкие улочки, отступала, прижимаясь к домам; с другого конца городка с криками двигались рудокопы, швыряясь камнями.

«Бах, бах, ба-бах!» — прогремели ружейные выстрелы.

«Та-та-та-та!» — зловеще застрочил невидимый пулемет, поливая свинцом толпу, улицу, дома.

Крики бились в дверях домов. Словно ворох листьев под порывом ураганного ветра, толпа распалась, рассеялась, люди бежали, усеивая площадь и улочки шляпами, накидками, узлами.

Городок замер в оцепенении, и только одинокие выстрелы еще резали тишину. Двери наглухо заперты. Все сковано молчанием: домишки, за-

стигнутые смертью люди. Лишь струйки крови неслышно текли по пыльным камням мостовой, оттеняя алой каймой тела убитых.

Несколько беременных женщин перебежали улицу. Они разыскивали своих мужей. Солдаты приказали им вернуться. Весь город теперь был в их руках. С наступлением ночи двенадцать убитых и четверо раненых были доставлены в больницу. А женщины продолжали искать.

В полночь военный патруль прочесал дорогу от города до поселка и от поселка до фабрики, позади которой чернели высокие трубы обжигных печей. Несколько позже по безлюдной дороге протарахтел грузовик с погашенными фарами, и вскоре из одной трубы повалил дым. Столб дыма затмил луну, и в кромешной тьме было видно, как мигал огонь, словно глаз гигантского циклопа.

Власти, прибывшие на следующий день из Оруро, установили, что убитых немного. Меднокожие плакальщицы громко причитали над убитыми, молясь за них своему кечуанскому богу.

XIII

Богатая жила

Живет он в достатке, и все это приносят ему деньги, добываемые из горы.

Прошли годы. В Париже Омонте купил себе роскошный дворец маркиза Рокруа-Фассиньи на авеню Фош со всей обстановкой и утварью, кроме полотенец, простыней и салфеток, поскольку на них должны были красоваться его собственные инициалы. На посуде тоже появились новые монограммы, а гравировщик повторил их на ложках, ножах и вилках.

От министра иностранных дел нового правительства Омонте получил следующее письмо:

«Ваши добрые друзья, к каковым причисляют себя сеньор президент и Ваш покорный слуга, помнят о Вашем неоценимом вкладе в дело освободительной революции, равно как государственный совет высоко ценит услуги, оказанные Вами на посту посла в Бельгии. Теперь-мы просим Вас соблаговолить принять по совместительству пост полномочного посла при правительствах

Франции и Испании и выражаем надежду, что, как истинный патриот, Вы примете эти должности ad honores[43], учитывая, что государственная казна…»

Омонте принял это предложение с оговоркой, что все экспедиционные расходы правительство Боливии возьмет на себя. Он был принят на Кэ д'Орсе[44]. Его сопровождал секретарь посольства, бельгиец, который сошел за чистокровного боливийца. Вскоре Омонте устроил у себя во дворце прием. Лакеи в париках и коротких штанах выстроились вдоль лестницы, начиная от самого входа, украшенного львами, до верхнего этажа. Мимо них прошла пестрая толпа гостей: южноамериканские дипломаты, два графа-итальянца, французские банкиры и даже английский лорд — компаньон хозяина по «Юниверсал тин» на Малайских островах. Впрочем, он был на приеме совсем недолго. Пела знаменитая испанская певица Челито в сопровождении франко-аргентинского оркестра.

Прошел месяц. Омонте собирался поехать в Ма-

[43] Примечания: 43

Ради чести *(лат.).*

[44] Примечания: 44

Кэ д'Орее — набережная в Париже, где расположены министерство иностранных дел, испанское и другие посольства.

дрид, но случилась неприятность, в результате которой он сделался мишенью для журналистов и всю последующую жизнь должен был испытывать от этого неудобство.

Во время своего пребывания в Лондоне он нанял слугу, которому платил в фунтах. Когда франк упал в цене, Омонте решил, что при пересчете фунтов на франки сумма жалованья получается непомерно большой, и попытался уменьшить плату. Слуга запротестовал и был уволен, но тут же подал в суд. Миллионер воспользовался правом дипломатической неприкосновенности и отказался вступить в прямой контакт с британской фемидой.

Омонте задыхался от возмущения, колотил кулаком по столу, кровь бросилась ему в голову, краска заливала лицо, усеивая щеки сетью склеротических жилок:

— Нет, сеньоры! Я не позволю себя обкрадывать! Они думают, что если я Омонте, так я могу… я должен…

Лондонский слуга тяжбу проиграл, но передал материал одной желтой газетенке. Однако ее владелец оказался сговорчивым. За двадцать тысяч франков он замял дело.

Омонте отправился в Мадрид, где «сменил ко-

жу», напялив на себя мундир дипломата, сшитый в Париже в салоне Роан.

Проходя по залам королевского дворца, чтобы предстать перед его величеством, он оглядывал себя в зеркала и чувствовал, как колотится его сердце — сердце метиса, — готовое от испуга вырваться из груди своего владельца, облаченного в мундир и нацепившего короткую шпагу.

Лакеи и статуи смотрели на него отсутствующим взглядом, и вместе с тем казалось, что они знают о нем нечто забавное и ужасное. Сердце Омонте бешено колотилось, будто он только что совершил кражу.

Когда посол предстал перед королем, его охватило беспокойное чувство, что вдруг здесь, в зале, появится какая-то неведомая сила, сбросит с него одежды и выставит нагишом на посмешище лакеям и статуям.

И тут он услышал голос короля Альфонса:

— Омонте — это испанское имя, одно из самых старинных. Я много о вас слышал.

Ему вдруг захотелось обнять короля и пролить благодарную слезу на его плечо.

В Мадриде он приобрел-дворец в классическом стиле» украсив его бутафорскими гербами со своей монограммой. В зале приказал повесить

портреты — свой и женин, — написанные Гарсиа Рамосом.

На одном портрете художник изобразил мощную фигуру миллионера, затянутую в мундир дипломата; грудь, украшенная орденами — многие появились по воле самого художника, — напоминала витрину морского музея, на которой выставлены отливающие перламутром ракообразные существа, сверкающие всеми цветами радуги, морские звезды, пауки-крестовики на шелковых и муаровых лентах, вцепившиеся своими красными, голубыми или серебристыми эмалевыми лапами в паутину, сотканную из бриллиантов и топазов. Другой портрет изображал на золотисто-коричневом фоне донью Антонию в лиловом муаровом платье, с диадемой из бриллиантов и с ослепительно сверкающим кольцом.

Омонте чувствовал себя довольно свободно в Мадриде, хотя бы уже потому, что все здесь говорили по-испански. Правда, он страдал оттого, что должен был отказаться от некоторых своих привычек, примениться к неустойчивой мужской моде, но характер его все же был таков, что, сменив однажды модель, он цепко за нее держался до тех пор, пока резкий поворот во вкусах не

приводил к новому стилю.

Хоть ему и не хотелось, все же длинные усы пришлось укоротить. Зато он не изменил своей привычке носить пиджак, жилеты из светлой замши, еще более светлые перчатки и гамаши и трость с золотым набалдашником, удивительно похожим на его собственную голову, словно вылепленную из красной глины, покрытую жесткой щетиной, которую не мог укротить ни один парикмахер Европы. Неукротим был и его дурной характер, от которого сильно страдали подчиненные, не исключая и атташе посольства Мамерто Гутьерреса-и-Гутьерреса, известного в литературных кругах под псевдонимом Сабастито. Правительство Боливии в специальном послании просило Омонте включить в штат посольства этого молодого франта, внешность которого и литературные таланты не были по достоинству оценены на родине, вследствие чего он вынужден был искать счастья на дипломатическом поприще либо в выгодном браке, разумеется, при содействии сеньора Омонте.

Новоиспеченный литератор и дипломат был зачислен в штат посольства и должен был примириться с частыми напоминаниями о том, что сеньор Омонте платит ему жалованье из своего

кармана. Обязанности его были несложными: промокнуть подпись Омонте, сделать вырезки из газет, выполнить какие-нибудь поручения доньи Антонии.

— Мамертито, — скажет она, бывало, — я желаю, чтобы вы лично отнесли это письмо на почту. Только быстренько…

Юный атташе шел выполнять поручение, а по возвращении начиналось.

— Ваше превосходительство…

— Где вы запропастились? Битый час ищу экземпляр лапасской газеты.

— Ваше превосходительство, сеньора ваша супруга приказала мне…

— Как это приказала? Сейчас же спрошу ее, так ли это было.

— Клянусь вам, ваше превосходительство.

Тоненькая фигура стоявшего навытяжку атташе, его темные, словно черные виноградины, глаза, женоподобное личико резко контрастировали с бронзовой глыбой — грубым и неотесанным Омонте.

Толстыми своими ручищами он отодвигал в сторону подписанные бумаги, и Мамерто их промокал.

— А что это такое?

Взглянув на бумагу, Мамерто отвечал голосом хорошо вышколенного семинариста:

— Ваше превосходительство, вы изволили распорядиться оплатить проезд этой сеньоры в Боливию, поскольку ее супруг умер…

Омонте поднял голову и зло посмотрел на него.

— А вторым классом она уже не может ехать? Как вы полагаете? Вторым ей не подходит?

— Ваше превосходительство, это одно из тех почтенных семейств…

— Что же вы сами за нее не платите? Почему не платит правительство? Все должен делать Омонте! Пусть едет третьим! Слышите, третьим классом!

Резким движением Омонте смахнул бумаги на пол. Атташе молча подобрал их, и работа продолжалась.

— Это что за счет?

Полномочный посол пришел в ярость, увидев счет за гербовую бумагу для миссии.

— Я сам вижу, что это счет типографии. Я умею читать! Я спрашиваю, почему его подсовывают мне?

— Дело в том, ваше превосходительство, что требуется согласие вашего превосходительства

на оплату.

— Ах, это я должен снова… я должен…

Задыхаясь от ярости, Омонте чуть ли не визжал:

— Значит, это я должен оплачивать счета правительства? Нет, сеньоры! Я не позволю себя дурачить! Сколько там?

— Двести франков, ваше превосходительство.

— Перешлите накладную правительству. Пусть научатся серьезно вести дела. Речь идет не о сумме, но я не допущу, чтобы мне подсовывали дурацкие счета и издевались надо мной. Я повторяю, зарубите себе на носу: служебные каблограммы на Боливию должны оплачиваться правительством. Я содержу посольство на широкую ногу, плачу вам жалованье, а они, видите ли, хотят, чтобы я оплачивал телеграммы этих попрошаек.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Идите и перестаньте меня «превосходительство-вать».

— Извините, ваше… извините, сеньор. В приемной уже больше часа ждет сеньор Легисамон.

— Пусть войдет.

Вошел сеньор Легисамон, председатель торговой палаты Боливии, и проковылял к столу,

отвешивая поклоны при каждом шаге хромой ноги.

— Сеньор дон Сенон, мне приятно, мне очень приятно…

— Как поживаете, дон Сакариас? Присаживайтесь.

— Спасибо, большое спасибо. А вы как поживаете, дорогой дон Сенон? Как всегда, в работе?

— Да, да, много работы. Что нового? Как вам съезди-лось в Лондон?

— О, отлично.

— Ну, я рад.

— Теперь я возвращаюсь в Боливию, но не хотел уезжать, не попрощавшись с вами и не выслушав ваших распоряжений.

— Ничего не нужно, дон Сакариас. Надеюсь, вы привезли инструкцию по уходу за усами, о которой я вас просил?

Сеньор Легисамон стукнул себя ладонью по лбу, потом прижал обе руки к груди, вскочил и воскликнул:

— О, какой пассаж! *У меня* было столько всяких дел, и, можете поверить, дорогой дон Сенон… совсем вылетело из головы.

Но улыбка его превратилась в гримасу ужаса, когда он увидел, что Омонте встал и, начав зло-

веще тихим голосом, вдруг прогремел:

— Послушайте, хромой идиот! Что вы обо мне думаете? Полагаете, я даю задания, чтобы о них забывали? Вон отсюда!

В дверях Легисамон столкнулся с бледным как смерть Мамерто.

— Вы слышали?

Мамерто отрицательно покачал головой и на цыпочках принес ему шляпу.

— У меня вышло серьезное недоразумение с сеньором Омонте. Но я не позволю ему обращаться со мною, как с некоторыми.

Волоча свою хромую ногу, Легисамон с надменным видом проковылял мимо огромных портретов Омонте и его супруги, провожавших его взглядом.

На олово из своего любимого рудника, оплачиваемое золотом Англии и Соединенных Штатов, Омонте приобрел большую часть акций Англочилийской компании, произведя таким образом слияние рудников и создав компанию «Омонте тин энд энтерпрайсис консолидейтид» с резиденцией в Нью-Йорке.

Несколько позже он принял предложение купить акции плавильных заводов «Вильямс Харвей».

Затем на биржах Лондона, Амстердама и Шанхая его агенты скупают акции рудников Малайского архипелага и Голландской Индии, принадлежавших акционерным обществам или частным лицам. Добыча малайского олова, по заключению боливийских экспертов, стоит сущие пустяки, так как разработка ведется там не в шахтах, а открытым способом. Огромные драги, словно корабли, застигнутые внезапным отливом, ползут прямо по земле, разрезая носом волнообразную холмистую поверхность, скрывающую олово.

В результате ряда операций Омонте становится обладателем миллионного состояния на Дальнем Востоке. Он вступает в консорциум «Интернейшнл тин», став, таким образом, компаньоном двух членов палаты лордов: полковника в отставке и бывшего министра финансов Великобритании, того самого, который произнес блестящую речь по поводу необходимости укрепления Сингапура.

Отныне политика страны и общественное мнение работают на миллионера-космополита евро-азио-южно-американца. Ложа шахтовладельцев поддерживается прессой, высшим обществом, влиятельными партиями и крупными

писателями, которые единодушно объясняют все общественные язвы расовой неполноценностью индейцев и метисов, неспособных — разумеется, если они не миллионеры, — бороться за высокие идеалы.

Государственные финансы создаются посредством системы правительственных займов в обмен на обязательства не повышать налогов на шахтовладельцев. Декреты министерства финансов предварительно визируются в управлении Ассоциации шахтовладельцев, организованной сеньором Омонте и главами ряда других иностранных компаний. Под нажимом адвокатов Омонте, которые обретаются в министерстве финансов, устраивая дела в интересах Ассоциации, правительство, непрестанно залезающее в долги, становится уступчивым… Когда оно начинает закусывать удила, шахтовладельцы подают на него жалобу в верховный суд, и тот выносит мудрое решение в их пользу. Значение тех или иных политических акций оценивается по шкале, установленной шахтовладельцами: они оцениваются положительно, если, по выражению «оценщиков», акции совершаются на пользу их Ассоциации, «каковая есть вымя, питающее экономику неблагодарного и ленивого народа». Если

почему-либо эти акции не подходят, то их дискредитируют как дурацкие, нелепые, бессовестные и не заслуживающие народного доверия.

Если правительство все же взбрыкивает, вольтижируя на неблагоустроенном ристалище страны, посаженной на голодный паек, Ассоциация сосредоточивает на нем свой огонь: кричит об экономическом кризисе, местнических интересах, поражении футбольных команд, национальных чувствах, военном честолюбии, студенческих волнениях, — все это выстреливается бомбардирами ложи шахтовладельцев в правительство, и оно с треском падает, открывая путь людям «новой эры», то есть присным сеньора Омонте, которые поздравляют от имени патрона генералов-путчистов и героический народ, потом жертвуют деньги на нужды университета и начинают «компанию за восстановление конституции и правопорядка».

Иногда колесико, называемое боливийским правительством, нужно смазывать и чистить, затем чтобы два огромных маховика машины, производящей олово, Малайя и Боливия, могли крутиться, движимые постоянно возрастающей потребностью в этом металле на мировом рынке. И вот цена олова достигает четырехсот фунтов

стерлингов за тонну. Рудники Боливии производят сорок восемь тысяч тонн ежегодно. Малайя — семьдесят тысяч.

Голландская Индия, Сиам, Бельгийское Конго и Нигерия соревнуются в производстве олова с Боливией и Малайей; приводными ремнями, то есть транспортными средствами, наземными и морскими, они соединяются с английскими плавильнями, а оттуда уже чистое олово направляется на заводы Соединенных Штатов, Бельгии, Германии и Канады. Колебания спроса и предложения точно отмечаются в цифрах котировки манометром, который носит название «биржа».

Чтобы согласовать добычу металла на рудниках Боливии и Малайи, директорат акционерного общества «Омонте тин энд энтерпрайсис консолидейтид» посредством выпуска соответствующего количества акций регулирует финансирование производства обоих районов, транспортные расходы и стоимость обработки руды на плавильных заводах. Директорат поддерживает также контакты с советниками Омонте в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, которые осуществляют руководство рудниками Боливии, Малайи и Голландской Индии, не принадлежащими акционерному обществу; они же

представляют интересы Омонте как держателя акций пароходной компании и как пайщика плавильных заводов «Вильямс Харвей». Омонте, самый крупный держатель акций и президент общества «Омонте тин энтерпрайсис», является также пайщиком и вице-президентом «Интернейшнл тин», которая, в свою очередь, имеет пай в обществе «Омонте тин»; кроме того, у Сенона Омонте есть личные вклады в германские фабрики аспирина, в банки Лондона и Буэнос-Айреса, в Вольфрамовый трест, в Тихоокеанскую пароходную компанию и в сельскохозяйственное производство Кочабамбы.

Его превосходительство сеньор Омонте стал, таким образом, президентом четырех акционерных обществ с резиденцией в Лондоне и Нью-Йорке и президентом своей собственной компании, в которой он владеет всем пакетом акций. От этих главных осей зависят другие, на них крутятся колеса поменьше — конторы, управления, административные службы, представительства и агентства: директорат в Лондоне, адвокатская контора в Париже, совет администрации в Нью-Йорке, контора технического надзора в Нью-Йорке, агентство в Лондоне, представительство в Ла-Пасе, представительство в Малайе, горно-

рудное управление в Оруро, управления банков в Ла-Пасе, Оруро, Кочабамбе и Уйюни, пароходная контора в Нью-Йорке, филиал административного правления в Чили, управление железных дорог в Боливии.

Боливийский горнопромышленник размножается способом деления, и с каждым новым делением возрастает его способность захвата новых финансовых сфер при помощи выгодных сделок. Превратившись в подобие бесконечного трансмиссионного привода, промышленник Омонте непрерывно обогащает самого себя, получая барыши от руды, добываемой на его собственном руднике, от железной дороги (Омонте-железнодорожник), от пароходства (Омонте-арматор); когда руда поступает в Англию, он получает деньги от плавильных заводов (Омонте-литейщик), и после того, как олово выбрасывается на рынок, он срывает куш за чистый металл (Омонте-горняк).

Ремень-конвейер начинает свой путь в Боливии, нагруженный оловом, которое превращается в золото; затем пустым возвращается в Боливию, чтобы забрать новую партию олова… Гигантская пирамида отбрасывает свою тень на всю страну, служащую основанием этой пирамиды. Вершина пирамиды — Сенон Омонте; под ним

— другие крупные шахтовладельцы; за ними — управляющие, администраторы, инженеры и адвокаты, целиком зависящие от его подачек и от его настроения; ниже— правительство, подчиняющееся промышленной элите; еще ниже — подрядчики, лавочники, старшие рабочие, мелкие служащие, счетоводы, забойщики, крепильщики, откатчики, буровые мастера, разнорабочие, мужчины, женщины, голодные дети, и на всех них давит своей тяжестью совершенная пирамида мирового капитализма.

XIV

Луженые гербы

1636 год. В этом году умер великий скупец: он никогда не подавал милостыню беднякам и оставил завещание, по которому следовало сделать много всяких бесполезных дел… Среди прочих распоряжений он выразил волю, чтобы роскошно украсили за его счет всех мулов в Потоси.

Милагрос была креолкой, уроженкой Кубы. В нее влюбился один испанец и женился на ней. Некий офранцуженный пуэрториканец, поэт и вольнодумец, следующим образом заключил эпиталаму, в которой выражал свое восхищение прелестной креолкой с глазами цвета кофе и властным тонкогубым ртом:

Я был безбожником.

Поверить в такое чудо, как Милагрос, не хотел.

Ее увидел я — и вдруг поверил.

Дворянин, в чьих жилах текла королевская кровь, привез креолку в Париж. Большую часть

времени он возлежал на своем роскошном ложе в одном из фешенебельных парижских отелей, потягивая шампанское, как вдруг схватил — это случилось в 1915 году — пневмонию и умер, оставив супруге славное имя, ворох долгов и кучу детей, с разницей между старшим сыном и младшей дочерью в пятнадцать лет. Вскоре после «го смерти судебные чиновники произвели опись имущества, а еще через неделю продали его с молотка.

Вдова перебралась в Испанию, где жила на королевскую пенсию и сумела дать детям образование. После ее смерти детей рассовали по домам прославленных родственников. Младшая дочь, носившая имя матери — Милагрос, попала к графу де Касальта, материальное положение которого было тоже плачевным.

Старшему сыну, Фелипе, достался только титул наследника майората, герцога де Сальватьерра, каковым титулом он пользовался без зазрения совести всю жизнь, привлекая своим вельможным мотовством внимание банкометов, владельцев отелей и журналистов всей Европы. «Щеголяя благородной осанкой и внушительного размера носом, — говорилось в одной из светских

хроник агентства Гавас[45],— он не знает, что значит оплачивать счета, полагая, что плебеи — владельцы отелей, мужланы-ювелиры и банкиры-буржуа — только для того и существуют на свете, чтобы удовлетворять прихоти аристократа королевской крови».

Он был родственником короля Альфонса, а сам монарх, безусловно, держался того же мнения: назначение плебеев состоит в том, считал он, чтобы покрывать бешеные расходы его родственника. Альфонс был богаче мальоркинца Хуана Марча[46], но проявлять заботу о благополучии отпрысков королевской семьи ему хотелось еще меньше, чем заботиться об успехах революционного движения. Поэтому он считал, что долги Фелипе нисколько не портят их родственных отношений, и, узнавая о его очередном биржевом подвиге, говорил с ухмылкой: «Как вам нравится этот озорник?» И на этом дело кончалось.

Даже в тех случаях, когда непомерные траты вели к банкротству и оно получало международную

---

[45] Примечания: 45

Агентство Гавас — французское информационное агентство, основанное журналистом Шарлем Гавасом (1785–1858).

[46] Примечания: 46

Хуан Марч (Хуан Ординас Марч; 1884–1962) — испанский финансист и предприниматель, наживший состояние крупными махинациями и контрабандой; был прозван «пиратом Средиземного моря».

огласку и его обсуждали в газетных передовицах, Альфонс продолжал снисходительно улыбаться.

Однако популярность Фелипе — не без участия репортеров из отделов светской и политической хроники — часто приобретала скандальный характер. Изображение герцога де Сальватьерра, обладавшего типичным бурбонским профилем, слишком часто появлялось на страницах газет, причем с самыми нелестными подписями, вроде той, которая была передана агентством Гавас своим отделениям и через аргентинскую газету «Критика» попала в Боливию. В веселом тоне в ней было сказано, что герцогу запрещено переступать порог игорного дома в Монте-Карло и предложено покинуть Монако.

В одной пикантной заметке говорилось:

«Дон Фелипе, разумеется, имеет право не снимать шляпы в присутствии самого короля. Так знатен его род. Он имеет также право не оплачивать счета за дорогие обеды, которые он делит с роскошными дамами; испанские гранды охотно пользуются этим правом, благосклонно принимая сверхвежливые улыбки владельцев ресторанов. В конце концов то, что не заплатил испанский гранд, покроет южноамериканский купчик, и финансовый баланс отеля сохранится,

равно как и его престиж «места, излюбленного европейской аристократией».

Но поскольку герцог не выказывал предпочтения какому-либо одному отелю и закатывал праздники во всех самых роскошных отелях Ривьеры, Парижа, Биаррица и Остенде, он мог осчастливить своим присутствием любой из них. Именно так и рассудил плебей-ресторатор в Довиле, осмелившись представить герцогу счет и даже нагло потребовать его оплаты, а потом подать на герцога в суд. Послу Испании пришлось оплатить счет, и король Альфонс перестал улыбаться.

Скандальные истории, героем которых был герцог, на этом не прекратились. В Монте-Карло он познакомился с американской миллионершей из Кливленда, штат Огайо, и предложил ей титул и сердце. Миллионерша в доказательство своей любви передала ему круглую сумму в долларах на хранение, дабы не впасть в искушение играть на них. Однако она не удержалась, а проигравшись, захотела отыграться и потребовала от аристократа выложить доллары на стол.

«Вряд ли можно было, — говорилось в хронике агентства Гавас, — поверить, что в споре участвуют миллионерша и герцог, столь грубой была эта перепалка».

— Вы пьяны, — говорил дон Фелипе, — никаких денег я от вас не получал.

— Вы есть вор. У нас в Штатах вас посадили бы на двадцать лет в тюрьму за мошенничество.

— А в Испании я приказал бы высечь вас кнутом и отдал бы на потребу моим рабам, — отвечал герцог.

Даму такая перспектива не устроила: в рабах она не нуждалась, поскольку могла иметь при себе герцогов; она ответила на предложение «двумя пощечинами и швырнула в лицо герцогу горсть фишек».

Персонал казино не колебался в выборе между герцогом и миллионершей. Герцога выдворили, а миллионерша осталась. Кроме того, на следующий день полиция вежливо предложила герцогу покинуть Монако. Именно тогда король Альфонс назвал Фелипе «позором семьи».

Для плебея, так же как для аристократа, стыдно сидеть без денег. Когда их нет у плебея, он идет на грабеж или ищет работу, выстаивая огромные очереди. Аристократ. же не идет на открытый грабеж, а использует дар тонкого обращения, унаследованный от предков и отшлифованный в двадцати предшествующих поколениях. Герцог занялся тем, что стал направо и налево раздавать

фальшивые чеки, понимая, впрочем, что пострадавшие будут жаловаться. Так оно и случилось: судебные инстанции Женевы дали ордер на его арест. Против него было возбуждено дело, и его приговорили к шести месяцам тюрьмы за мошенничество. Однако влиятельные лица помогли ему исчезнуть, и он объявился в Лондоне. Тамошнее правительство одинаково покровительствовало и анархистам, и аристократам королевской крови. В результате всех этих проделок бурбонский профиль герцога стал фигурировать в архивах полиции Парижа и Женевы. Но это не испугало герцога, так же как его предков не пугали надругательства вассалов над их портретными изображениями.

Агентство Гавас в своей корреспонденции сообщило об одном из таких вассалов, каталонце еврейского происхождения по имени Федерико Баньюлс. Герцог пришел к Баньюлсу и отрекомендовался любителем искусства и владельцем шедевров живописи, сказав при этом, что у него есть полотно Лодовико Феррарца[47] «Христос и Магдалина», которое он хочет заложить за сто тысяч франков. Баныолс, сообразив, что картина

[47] Примечания: 47

Лодовико Феррарец (Лодовико Маццолини; ок. 1480–1528) — итальянский художник феррарской школы.

может стоить не менее восьмисот тысяч и что закладчик все равно ее не будет выкупать, ссудил испрошенную сумму. Однако, желая проверить своего клиента из благородных, он обратился к экспертам, которые установили, что это был не подлинник, а копия и что стоит она максимум пять тысяч франков. Тем временем герцог, как говорится, уже «распустил хвост», но Баньюлс подал на него в парижский суд за мошенничество, и, несмотря на усилия дипломатической миссии и испанской колонии, пытавшихся замять дело, герцог был приговорен к четырем месяцам исправительной тюрьмы.

Последнее деяние герцога газеты квалифицировали как «злодеяние», а самого злодея называли «рыцарем удачи» и «бессовестным авантюристом». Король же, со своей стороны, перестал называть Фелипе «позором семьи» и в личной беседе наградил его серией шутливых определений из своего затейливого и красочного словаря. К счастью, Фелипе единолично взял на себя ответственность за подрыв престижа королевской семьи, точно так же как он монополизировал право на наследование майората.

Все считали маленькую Милагрос малокровной. Действительно, она была очень худа. Корми-

лица, бонна и мать сообща составляли ей меню.

Когда Милагрос была девочкой, кормилица говорила:

— Если не съешь цыплячью ножку, не пойдешь гулять в Ретиро.

Когда она была девушкой, бонна ей внушала:

— Сеньорита Милагрос, надо принять лекарство, иначе я пожалуюсь вашей матушке.

Когда ей был двадцать один год, горничная говорила:

— Сеньорита, подать вам завтрак? Вы так поздно пришли вчера. Может быть, дать аспирину? Не хотите ли кусочек ветчины? Ну тогда немножко торта и кофе. Тоже не хотите? Как вы хороши сегодня!

— Который час?

— Три часа.

— О, в пять у меня свидание.

— Значит, вы уйдете?

Милагрос покачала головой.

— У меня свидание здесь… с моей семьей.

Девушка встала и прошла в ванную. Погружаясь в ласковую пену мраморной ванны, она была похожа на одну из тициановских красавиц.

— Правду говорю, сеньорита, — у вас замечательное тело. Счастлив тот мужчина, который

увидит вас такой.

Предполагаемый счастливчик, изображенный на портрете в серебряной раме, смотрел на нее с ночного столика своими черными глазами, улыбаясь ироничной обворожительной улыбкой. Под портретом можно было увидеть надпись: Гюго.

— Да, да, кто знает… Мне кажется, сеньорита, что вы от меня что-то скрываете. Не делайте ничего такого, что может рассердить вашу тетушку…

Милагрос не спеша оделась. Закурив сигарету, она вошла в темный зал с высокими колоннами и старинной мебелью. Дневной свет едва просачивался через занавешенные окна. Она взяла со стола пачку бумаги, вернулась в спальню и, присев к ночному столику, на котором стоял портрет, принялась писать. Потом заклеила конверт.

— Сеньорита, вас ждут.

В гостиной ее ждали, усевшись в кресла, ее тетка в черном шелковом платье и граф де Касальта, который приветствовал девушку, давясь от приступа кашля. Подле них стоял ее брат Фелипе, сутулый, лысый, большеносый, и покровительственно улыбался.

Играя конвертом в руке, она выслушивала их речи:

— Тебе нравится наряжаться, а мы только что

не побираемся…

— Для красивой женщины любовь — все равно что простое стекло, а деньги — это ее зеркало…

— Он первый миллионер в Южной Америке, и ты будешь править в его владениях.

— Тебе и знать не нужно его индейскую страну. Ты будешь править… здесь.

Девушка подняла свое личико с классическим профилем и, презрительно сжав губы, сказала:

— Но, тетушка, он безобразен…

— Тем лучше, — вставил Фелипе, — легче будет бросить его.

— Ноя выше его ростом, по крайней мере, на ладонь.

— Зато сумма, которую он принесет тебе, превышает пятьсот миллионов песет.

— А нет ли кого-нибудь другого?

— По сравнению с этим индейцем все другие — голодранцы.

Стройная фигурка Милагрос двинулась по залу. Девушка заглянула в окно и увидела сад, пожелтевшие осенние листья и опаловое небо.

— Хорошо, завтра я дам ответ, — сказала она.

Поцеловав каждого в лоб, Милагрос вышла в сад. В руках она держала запечатанный конверт. «Я уеду с тобой…» Кажется, она написала в письме

что-то в этом роде.

Она вскрыла конверт. Впрочем, стоит ли перечитывать? В задумчивости она помахивала квадратиком бумаги, глядя на желтые каштановые листья, рассыпанные по земле, словно золотые монеты. По унылой улице проехал грузовик. Но надо ли ждать до вечера? Милагрос разорвала письмо, которое она сама писала, сначала надвое, потом на четыре части, потом на шестнадцать, потом — на тридцать две и пустила кусочки по ветру. И он разбросал их между золотыми листьями.

Теперь в серебряную раму, стоявшую на ночном столике, был вставлен портрет другого суженого, а через месяц герцогиня Милагрос сочеталась браком с его превосходительством доном Арнольдо Омонте, боливийским советником, и взошла на трон, к которому ее подвели деньги и дипломатия, нынешние удачливые соперники аристократов королевской крови.

Майорат оловянной династии несколько подлудил и подновил облупившийся было герцогский герб. И теперь царствующая особа — настоящая царь-баба — завоевала еще одно царство, вечное и в то же время преходящее, название которому «Мода». Правда, царствовала она в нем недолго.

Через два года после замужества Милагрос современные волшебники моды — Молино, Ворс, Чапарелли, Ланвэн — подбили счета и, приняв во внимание, что только на меха она потратила миллион франков, признали ее «самой элегантной женщиной в мире», оставившей далеко позади герцогиню Кентскую.

На оловянный пьедестал, сработанный индейцами из боливийских рудников, взошла белая королева — чудо элегантности и красоты, а рядом примостился смуглый метис, сотворивший это чудо. Несмотря на внешний лоск, бронзовая кожа Арнольдо выдавала в нем потомка индейцев, некогда порабощенных предками Милагрос. И теперь племя рабов через одного из своих отпрысков породнилось с господами-поработителями. Старый, затонувший было испанский галеон всплыл на поверхность. Плебейское олово, выцарапанное из земных недр грязными, мозолистыми руками, очищенное до дьявольского блеска, приобрело форму и цвет августейшей женской плоти.

Когда Тука Омонте была девочкой, ее считали дурнушкой. Это было время, в которое идеалом женской красоты считались классические формы и линии, но с переориентацией на египетскую

моду, миндалевидные глаза Туки, ее прямой нос и широкие скулы пришлись как нельзя кстати. Мастера женской красоты, прилизав ей волосы и удлинив глаза чуть ли не до висков, еще больше подчеркнули восточный тип ее лица.

Через несколько лет она получила первую премию на выставке-конкурсе автомобилей в Биаррице и охотно позировала перед фотографами со своей моделью. На карточках она выглядела еще более стильной. Однако не на этом автомобиле, а на самом обыкновенном выезжала она обычно из своего дома на авеню Фош и по пути забирала к себе в машину юношу — он ждал ее у дверей кафе — с черными-пречерными глазами, с бородкой клинышком и с ямочками на щеках, делавшими его лицо не столь суровым. Молодого уругвайца — по материнской линии он был французом — звали Манолито Фуэнтес Бетанкур. Родители Туки запрещали ей встречаться с ним.

Однако он нравился девушке. В ожидании богатства, которое, как он говорил, должно было свалиться ему по наследству, юноша не смел открыто примкнуть к золотой молодежи, увивавшейся вокруг миллионерши-боливийки. Именно поэтому он не мог последовать за нею и в Биарриц, где она проводила летний сезон,

наступивший сразу же после бракосочетания Арнольдо с Милагрос.

Тука совершала прогулки верхом, играла в рулетку, купалась в море. Растянувшись на пляже, она смотрела на небо, на воду. Рядом, словно гусеницы, копошились мужчины и женщины, а она лежала, задумчивая, безразличная ко всему, — переживала разлуку с героем своего романа.

— Твой отец прав, — сказала ей однажды донья Антония, — прав, что возражает против ухаживаний этого южноамериканца. Все они порядочные барахольщики: воображают, что это мы для них старались. Ты можешь выбирать и должна быть разборчивой.

Конечно, Тука могла выбирать. Выбор огромный: вот этот, например, с моноклем — граф де Англада, или вот тот прилизанный, упитанный — сын португальского посла, или тот — французский барончик с торсом атлета, и так далее и тому подобное.

Но Туке больше всех нравился уругваец, похожий на француза. Он не носил монокля, не прилизывал маслом волосы, не обладал никаким титулом. У него было суровое лицо и темные глаза.

Она вспомнила разговор с отцом:

— Я готов потакать тебе во всем, но об одном прошу: не водись с проходимцами. Этот тип гоняется за моими деньгами.

— Все гоняются за твоими деньгами, — отвечала Тука, глядя на него своими миндалевидными глазами.

— Ты можешь подыскать кого-нибудь получше. Бери пример с твоего братца…

По возвращении в Париж Тука стала еще более задумчивой. Она возненавидела французов, мужчин и женщин. Девушка по-прежнему уходила из дому, чтобы встречаться с Манолито, и однажды учинила скандал детективу, увязавшемуся за ней.

Тогда дон Сенон приказал раскопать какие-нибудь материалы, компрометирующие родню обольстителя или его самого. Ровно через месяц он смог положить на ночной столик Туки в ее спальне документ, в котором говорилось:

«Я, нижеподписавшийся, получил от братьев Готинских взаймы пятьдесят тысяч франков под проценты — в размере двадцати процентов месячных — и обязуюсь погасить долг полностью через тридцать дней. Упомянутый срок начинает отсчитываться со дня моего бракосочетания…»

Прогуливаясь по саду своего дома, Тука рас-

сеянно помахивала распиской и смотрела на желтые каштановые листья, рассыпанные по земле, словно золотые монеты. Она разорвала бумажку сначала надвое, потом — на четыре части, потом на шестнадцать, потом на тридцать две и пустила клочки по ветру.

Вскоре она отправилась в Канны, а оттуда — в Грецию. Через три месяца вернулась в Париж и здесь вышла замуж. Но не за графа де Англада, не за барончика и не за сына португальского посла, а за маркиза Джованни Карло Стефаничи, потомка Мюрата, владельца конюшен и виноградников в Италии, откуда на его имя как из рога изобилия сыпались деньги. Белесый усатый маркиз весенним утром вышел, утопая в море белых роз, из церкви Мадлен и предстал перед парижской публикой со своей супругой, умилившей всех скромным букетиком фиолетовых орхидей, который она держала в руках, простотой своего подвенечного платья и отсутствием всяких украшений.

Омонте заплатил парижскому муниципалитету неустойку за временное прекращение движения перед его дворцом на авеню Фош, фасад которого был сплошь украшен белыми розами, доставленными по такому случаю из Италии.

Перед мраморными львами у входа толпились репортеры и фотографы. В доме гостей встречали дон Сенон с супругой. Но все взоры были обращены на Туку и на Милагрос.

По случаю торжества с мебели были сняты чехлы и демонтированы-деревянные щиты, закрывавшие гобелены стоимостью в два миллиона франков. На витрине был выставлен свадебный подарок Омонте — чек на миллион франков и перевязанная Шелковой ленточкой дарственная на замок в Руане. Мать подарила бриллиант «Рекс», некогда принадлежавший австрийской императрице. От имени больного брата, находившегося на лечении в Швейцарии, молодой супруге был подарен жеребец по кличке Негус, завоевавший на скачках в Лоншане Гран При. Гости могли полюбоваться Негусом в саду, где конюший выгуливал его, держа под уздцы.

XV

Рудник приходит в упадок

В этом году, как и в последующие, недра той горы оказались почти беззащитными... большая часть работы выпала на долю индейцев... и они не покладая рук выбирали остатки металла, вели подземные работы и тем поддерживали не только этот город, но и всю страну Перу.

Баутиста Кучальо, бежавший из поселка после забастовки, вернулся на новое предприятие, теперь уже входившее в объединенную компанию. Для удобства эксплуатации службы предприятия были переброшены на другую сторону горы Сан-Хуан-дель-Иермо, и разработки рудников «Провидение», «Орко-сунтинья» и «Голубой» велись через старую штольню Англо-чилийской компании, слившейся теперь с «Омонте тин».

Длинными рядами домишек вытянулся поселок. Городок Льяльягуа тоже разросся и, соединившись с хижинами поселка под цинковыми крышами, стал одновременно похож и на факторию, и на индейскую деревушку. Но прогресс их

не коснулся: жители городка и поселка не получили электричества. По решению компании, ток прошел мимо, высоко над ними.

Кучальо приехал в один из зимних дней и увидел совершенно новую для него панораму: навесы и трубы обогатительной фабрики тянулись вдоль искусственной горной цепи бело-голубого цвета, образовавшейся из шлака и пустой породы. Вдали, у подножья горы, виднелся зеленый треугольник дамбы. Несколько ближе — крыши селения, а на склоне — симметрично выстроившиеся хижины рабочих. Но комендант поселка послал его не туда, а загнал на самый верх, на гору Сан-Хуан-дель-Йермо, где лепилась группа жалких домишек. По мере того как он поднимался, ему становилось видно, что так называемые жилища представляют собой не что иное, как квадратик земли, огороженный четырьмя каменными степами. Он продолжал подъем, пока не добрался до поселка Кальяперия, расположенного на высоте четырех тысяч двухсот метров, у линии железной дороги, на самом краю ущелья, заваленного отбросами.

Вверху он увидел людские фигуры, карабкавшиеся на четвереньках от одной пещеры к другой, словно привидения о четырех ногах.

Это были странные жилища. Над тропинкой, высеченной в скале, где зияли входы давно заброшенных штолен, угрожающе нависал огромный каменный козырек. Кучальо просунул голову в одну из пещер и чуть не задохся от дыма, который шел от жаровни, пристроенной у самого входа. Он прошел дальше и наткнулся на человека, лежавшего прямо на земле. Тогда он зажег спичку и при слабом свете пламени увидел скопище странных пещерных существ, окутанных черными клубами дыма. То были мужчины и женщины. Это был их дом.

Кучальо вышел из пещеры и балкой спустился вниз, к группе каменных домишек. Вместо крыши — листы жести, придавленные камнем: чтобы не сорвал ветер. На одной из латунных дверей была намалевана цифра 2003. Он сверил с бумажкой: это был его номер.

Несколько рабочих вышли из лачуг, дрожа от холода.

— Будешь здесь жить, товарищ?

— Да, здесь…

— Ты видел старые штольни, где живут рабочие?

В этот момент из пещеры вышла женщина в черной накидке. Она держала на руках ребенка,

второй цеплялся за юбку.

— Боже мой, а куда же я теперь денусь? — спросила она на кечуа.

Рабочие зашумели:

— Даже в пещерах не дают жить. Все здесь принадлежит компании. Бедная женщина.

— Как тебя зовут?

— Мария Нина…

— Ее муж умер неделю тому назад в больнице, и комендант поселка приказал ей убираться отсюда: компании нет до нее дела.

Было шесть часов пополудни. Дожди и ветер разъели верхний слой земли, оставив на склонах длинные желтые полосы, словно следы от слез. Кучальо посмотрел на женщину: она была толста, простоволоса, лицо заплакано.

— Куда же тогда мне идти? — сказал он. — Теперь уже поздно спускаться.

— Все равно сюда пришлют другого рабочего.

Кучальо лукаво улыбнулся и, обращаясь к женщине на кечуа, спросил:

— А где я буду спать? Там, где спал покойный?

Рабочие растянули в улыбке свои землисточерные рты. Кучальо подхватил узелок, пригнувшись, вошел в пещеру, постелил постель рядом с постелью женщины, улегся и закурил сигарету.

Мария Нина присела рядом.

Лоренсо Эстрада шел вверх по дороге, ведущей к Унсии. Там, на территории закрытой ныне обогатительной фабрики, был его дом. На повороте показался автомобиль главного управляющего и, поравнявшись с ним, остановился. Из машины выглянул толстый, рыжеватый, коротко подстриженный мужчина лет сорока пяти и сказал:

— Дон Лоренсо, вы домой?

— Да, мистер Бэкью, домой.

— Я подвезу вас. Ездил проверять сведения о заброшенной штольне Омонте. Садитесь.

— Благодарю. Хочу немного размяться.

— Тогда приходите в клуб. Каждое воскресенье мы играем в гольф.

— Благодарю. Я ничего не смыслю в гольфе.

— Good bye…[48]

Смуглый и сухопарый, несмотря на возраст, как всегда подтянутый, Эстрада посмотрел сквозь свои темные очки, насаженные на тонкий орлиный нос, вслед автомобилю, за которым тянулось облако пыли, оседавшее на склонах горы.

В Унсии работы сворачивались, добыча упала до минимума. Теперь функции Лоренсо Эстрады

---

[48] Примечания: 48
До свидания… *(англ.)*…

сводились к обязанностям простого управляющего рудником «Орко-сунтинья», а общее руководство объединенными рудниками директорат в Нью-Йорке поручил главному управляющему мистеру Альдоу Бэкью.

Неожиданно за поворотом дороги показался дом грубой постройки, подобие старинного каменного замка под цинковой крышей. Со времени забастовки там жила Марта. Будучи любовницей стареющего управляющего, чилийка разогнала всех соперниц, и Эстрада теперь совсем утихомирился. Его часто навещал врач. Подлаживаясь к привычкам своего пациента, он пил вместе-с ним, не забывая, правда, давать ему лекарство от печени.

От прежней Марты, теперь сильно растолстевшей, остались только глаза, такие же живые, огромные и черные; она продолжала подрисовывать их тушью. Марта стала домоседкой. Тихо и степенно жила со своим старым фавном, мило, но не без жеманства принимала по праздникам друзей, сама занималась в эти дни кухней, готовя свои знаменитые устрицы, угощенье, которого удостаивались избранные гости Эстрады.

Отношения между ними были довольно прохладные.

— Приходил кто-нибудь?

— Никто. Только машина главного управляющего проехала.

— Да, я его видел…

— Он говорил с вами?

— Всего два слова.

— Я думаю, это неспроста, он никогда не бывал в этих краях, а теперь я его второй раз вижу здесь с инженерами. Знаете, что мне сказали в городе? Что Омонте предложил вам оставить работу, уйти на пенсию.

— Ах вот как, так и сказали? Что ж, это правда.

Марта приготовила виски с содовой и подала Эстраде. Помолчав немного, он сказал:

— Я уже дал ответ. Я не хочу на пенсию, ибо не хочу получать, не работая. Пусть Омонте со своими гринго попробуют меня выгнать.

Эстрада фактически остался не у дел. Сердиться было бесполезно — от эмоций мало пользы. Олово упало в цене. Все предприятие оказалось в подчинении у мистера Альдоу Бэкью, крупного горного инженера, выпускника Гарвардского университета. Он реорганизовал производство, поставив во главе каждого участка опытного специалиста.

Бэкью был нанят на работу в Соединенных

Штатах, с окладом пять тысяч долларов в месяц, не считая оплаты за жилье, питание, прислугу, отопление. Кроме того, ему полагался трехмесячный отпуск и поездка за счет компании в Европу или Соединенные Штаты. Примерно на тех же условиях контракт подписали еще три инженера. За это Бэкью и его помощники обязались наладить добычу олова с минимальными затратами, что было особенно важно в период, когда залежи высокопробного металла истощались.

Директорат в Нью-Йорке счел расходы горнорудной группы слишком расточительными, имея в виду пособия пострадавшим от несчастных случаев, пенсии по инвалидности и единовременные пособия при увольнении.

Несчастные случаи превратились в настоящую эпидемию. И хотя они производили ужасное впечатление, все же смертельные исходы от них были реже, чем от шахтерской болезни, которую вызывали ядовитые газы, скапливающиеся в штольнях, металлическая и силикатная пыль, возникающая при бурении в шахтах или при работе грохотов на обогатительной фабрике.

Бэкью и его помощники разработали целую систему мер по технике безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев, вводились следу-

ющие меры предосторожности: для улавливания пыли монтировались специальные решетки, минимальная длина бикфордова шнура определялась в четыре фута, для получения искры в отсеках устанавливались электробатареи, динамитные шашки окрашивались в красный цвет, который предупреждал рабочих об опасности.

Некоторые штольни срочно нуждались в деревянных креплениях, а спусковые колодцы — в предохранительных решетках. Необходимо было также обнести специальной оградой электрокабели, обязать электриков пользоваться изоляционными перчатками, а всех забойщиков — противоударными касками.

Однако введение всех этих новшеств требовало высокой дисциплины труда; наладить же ее — особенно среди низкооплачиваемых и изнуренных рабочих — компания не сумела.

Технический отдел предложил компании также целый ряд мероприятий по снижению стоимости производства. В реализации этого плана должны были параллельно участвовать медицинский и юридический отделы.

Результаты деятельности этих двух отделов хорошо почувствовали на себе Баутиста Кучальо и Мария Нина. Медпункт рудника выдал Баути-

сте Кучальо стандартную справку, из которой следовало, что он страдает начальной формой силикоза, устраняя тем самым всякую возможность квалифицировать эту болезнь как профессиональное заболевание, приобретенное здесь, на руднике. Правда, предоставлялась возможность пострадать от несчастного случая, но об упразднении этого пункта своевременно позаботился юридический отдел.

Когда общий сын Баутисты Кучальо и Марии Нины был крещен, они поженились. Болезнь Баутисты Кучальо, которой наградил его медицинский отдел, не прогрессировала, поскольку он орудовал теперь буром новой конструкции под названием «телескоп», сменившим старую «трещотку». Старый бур кое-где еще применялся, производя смертоносную силикатную пыль. Новый же устанавливался на треногу, не требовал нажима грудью и не поднимал пыли, поскольку струя воды, проходившая под давлением через отверстие в бураве, превращала ее в грязную жижу. «Телескопы» обшаривали глубокое трехмерное небо, выискивая оловянные звезды в каменном универсуме.

Чета Кучальо со всеми своими детьми перебралась в одно из жилищ второго поселка; Мария

Нина завела торговый лоток, приспособив для этой цели старые деревянные ящики, установила его у самой дороги, соединяющей городок с поселком, и стала торговать чичей и кофе, поджидая рабочих, которым мимоходом захотелось бы выпить чашечку кофе, если на этот случай у них оказывались деньги.

Отсюда женщина могла видеть устье шахты. Однажды — помнится, день тогда был ветреный — она заметила непривычное оживление и услышала звук сирены, которым обычно вызывают машину «скорой помощи». Вскоре мимо нее, преодолевая легкий подъем, в сторону рудника проследовала санитарная машина и остановилась у входа, похожего на узкий лаз в муравейнике. Через короткое время машина проехала в обратном направлении с каким-то тюком, покрытым одеялом.

Примерно через час от людского муравейника отделились двое рабочих, и, когда они подошли к Марии Нине, один из них сказал:

— Ведь это твой муж. На машине лежал твой муж. Разве ты не видела?

Прошло уже много времени с тех пор, как машина пронеслась мимо нее и, поднимая клубы пыли, проследовала в сторону больницы. Мария

Нина собрала свой скарб, подхватила на руки одного малыша, взяла за руку другого и побежала к больнице. Четырехлетний мальчик, быстро семеня ножками, едва успевал за матерью, бежавшей туда, где скрылась машина.

Неужели там, в машине, лежал ее муж, Баутиста Кучальо, залитый кровью, с раскроенной головой, с искромсанным лицом, похожим на раздавленную сапогом маску? Неужели это был он? И Мария Нина, словно в бреду, повторяла те же слова, которые она произносила тогда, когда в больнице умер ее первый муж.

Ее душераздирающие крики бились о стены домов. Похороны Кучальо состоялись на следующий день. Его везли по выжженной солнцем дороге, пролегавшей между равнодушными древними горами. Через день после похорон Мария Нина получила боны в лавку на пятнадцать боливиано и столько же деньгами по ведомости, которую она в присутствии трех свидетелей «подписала», поставив под ней отпечаток большого пальца.

Мистер Бэкью сидел за письменным столом, держа в зубах потухшую сигару, которая казалась продолжением его вытянутого вперед лица. Он подписывал письма, направляемые вице-президенту компании «Омонте тин» в Ла-Пас.

«Чтобы приучить рабочего к осторожности, необходимо беспощадно штрафовать его: только тогда он будет выполнять инструкции, развешанные в шахтах…

С другой стороны, поскольку частой причиной небрежности, которая приводит к несчастным случаям и подрывает здоровье рабочего, является пьянство, следует запретить продажу спиртных напитков в пульпериях и просить правительство о запрещении продажи чичи и других алкогольных напитков в ближайших селениях…»

Раз, два — подписано.

«Согласно полученным данным горнорудного отдела «Омонте тин», проба олова в среднем достигает одной целой и семнадцати сотых процента. Но и эту среднюю цифру следует считать чисто теоретической, поскольку потери при обработке руды, осуществляемой на основе самой передовой техники, составляют двадцать пять процентов. Необходимо довести до сведения правительства, что в этих условиях средняя стоимость очищенного олова в двести — триста фунтов за тонну компании прибыли не приносит».

Раз, два — подписано.

Он снял очки, которые надевал только для чте-

ния, достал и накинул на себя теплое пальто из верблюжьей шерсти.

— Машину сеньору главному управляющему!

Он поехал домой. Здесь, в гостиной; сидя у столика, заставленного цветами и бутылками виски, его ждала постылая супруга. Она сидела подле камина и, нацепив на нос свои дурацкие очки в перламутровой оправе, читала журнал «Вог» на английском, не забывая при этом прикладываться к виски с содовой.

— Послушай, — сказала она ему, — дочь сеньора Омонте получила за своих русских борзых первую премию в Довиле.

На роскошной цветной фотографии мистер Бэкью увидел молодую женщину, державшую на поводке двух огромных псов с острыми, словно шпаги, мордами. Она позировала на фоне здания, которое, как гласила подпись, было излюбленной резиденцией графини Омонте Стефаничи Мюрат в Довиле.

— Можно было бы и поскромнее, — сказал Бэкью, усаживаясь в кресло и раскрывая книгу.

— Почему поскромнее? Разве у них нет лишних денег?

— Цена на олово упала до ста пятидесяти фунтов. Рудники приходят в упадок.

— Однако сеньор Омонте богатеет с каждым днем. А правда ли, что богатства Омонте превышают богатства всей Боливии?

— Надо полагать. Поэтому правительство и говорит, что если государство не может содержать предприятие, то Омонте должен содержать государство.

Постукивая очками по журналу, старая дама продолжала:

— Поскольку рудники Омонте находятся на территории боливийского правительства…

Бэкью оторвался от чтения, откинулся в кресле и сказал:

— Рудники ничего не стоят, если нет сбыта. Единственное, что определяет стоимость боливийских залежей, — это спрос на олово в Лондоне.

— А фабрика?

— Фабрика — это продукт мировой науки и техники; ее ценность — в акциях компании «Омонте тин» и зависит от нью-йоркской биржи.

— А пять тысяч рудокопов?

— Работа индейцев сама по себе ничего не стоит. Стоимость их труда, равно как и тех, кто работает на поверхности, определяют скупщики металла. Кажется, латиноамериканские прави-

тельства ни о чем подобном даже не думают. Но руководители предприятий разбираются во всем этом и всегда располагают необходимыми данными, чтобы регулировать спрос и предложение. Олова слишком много. Правительство не имеет деловых связей за границей и не может его сбыть. Такие товары, как кофе или пшеница, при избытке производства сжигаются. Понимаешь? На Кубе, например, сахарным тростником откармливают акул.

— Но, дорогой мой, олово не сожжешь и не выбросишь в море…

— . Именно поэтому, дорогая, компания должна иметь необходимую автономию и следить за тем, чтобы месячное производство металла было не столь велико, чтобы превышать квоту, определяемую международным пулом, и не столь мало, чтобы наносить ущерб прибылям Омонте и других крупных горнопромышленников Боливии.

— Но ведь… но ведь ты сам сказал, что рудники пришли в упадок и что цены на олово низки. Неужели есть такие горнопромышленники, которые в этих условиях могут конкурировать с Омонте?

— Сопротивляться могут лишь те, кто владеет большим капиталом. Но пора переодеваться. Ты

не забыла, что мы пригласили к обеду мистера Кенна?

— Ах да. Извини, дорогой. Он сменит Эстраду?

— Да, уже пришло распоряжение Омонте.

Управление снизило выпуск продукции. Рассчитало старых рабочих, набрало новых, законтрактовав их на месячный срок, чтобы не платить выходного пособия. Девальвация денег автоматически уменьшила заработную плату. В пульпериях был введен режим экономии: боны стали выдаваться рабочим и служащим в строго ограниченном количестве — на приобретение самого необходимого. Во избежание спекуляции товары отпускались без упаковки. Каждая банка консервов, поступившая в продажу, пробивалась гвоздем.

Экономия на материале, экономия на рабочей силе, максимум продукции при минимальных затратах. Регламентация в большом и в малом.

В малом: Марии Нине полагалось получить пособие в сумме двух тысяч боливиано, и она обратилась за ним. Ее вытолкали из кассы, показав ей ее собственную расписку.

Доктор Марискаль, местный адвокат и родственник семьи Кучальо, предъявил компании иск. Сославшись на то, что закон запрещает со-

глашения такого рода, он выиграл дело в суде первой инстанции. Компания опротестовала судебное постановление, указав, что никакого соглашения не было: она добровольно сделала вдове денежный подарок, поскольку речь шла не о несчастном случае, а о преднамеренном самоубийстве в состоянии опьянения. Поверенный Марии выиграл дело и во второй инстанции. Тогда компания через своих адвокатов обратилась в верховный суд Ла-Паса и одержала победу, оставшись при своих двух тысячах боливиано, на которые покушалась Мария Нина. И женщина по-прежнему торговала чичей и кофе, стоя на холодном ветру, с детьми, в окружении древних равнодушных гор, чьи недра содержали самые богатые залежи олова в мире.

Впрочем, они не были уже столь богаты, как прежде, — утверждали шахтовладельцы, которые при помощи достижений геологической науки открыли новые залежи и оспаривали у Омонте права на национальную монополию, желая принять участие в доле производства олова, установленной для Боливии мировым картелем, который был создан в Лондоне под названием «Оловянный пул» и определял для каждой страны квоту, во избежание кризиса перепроизводства.

Правительство Боливии подписало соглашение, подготовленное пулом. Однако именно «Омонте тин» вкупе с некоторыми другими предприятиями составляли тот международный аппарат, который должен был регулировать производственные взаимоотношения между местными промышленниками и шахтовладельцами Малайи и Голландской Индии, поскольку и те и другие подчинялись мировому картелю. Так осуществлялись координация работы горнорудных предприятий и контроль над цепами. Речь шла не о том, чтобы добиваться максимума выпуска продукции, а о подвижном минимуме, который давал бы возможность широкого маневра в экономической политике: так можно показать' правительству, что снижение налогов пошло бы ему на пользу, ибо в этом случае выпуск продукции несколько возрос бы, что увеличило бы и денежные отчисления; можно было бы также потребовать у правительства согласия на повышение квоты, представив ему при этом доказательства преимуществ своего собственного предприятия перед всеми остальными.

Благодаря планам Бэкью, реализованным усилиями адвокатов и доверенных лиц сеньора Омонте, с одной стороны, и его конкурентами,

с другой, — ведь они выступали сообща против государства, — процент обязательных отчислений государственному банку уменьшился; эти отчисления фигурировали в отчетах компании в графе «убытки».

К числу крупных мероприятий следует отнести осуществленное Бэкью снижение стоимости не только подземных, но и наземных работ. Производственный механизм предприятия, словно дистанционно управляемый робот, приспосабливал свои действия к деятельности организма всей страны. При помощи переключателя можно было слегка ускорить или притормозить темпы добычи, открыть или закрыть разработки, дозифицировать периодические денежные поступления в государственную казну — в соответствии со сложными расчетами, производимыми в зависимости от пробы экспортируемого металла, величины квоты, котировки акций до определения налога или после того, как погашались счета за продажу очищенного олова в Лондоне, отчислений правительству, валютных перерасчетов и так далее.

В некоторые месяцы квота, определяемая международным пулом, использовалась полностью. При частичном использовании квоты компания терпела убытки, которые восполнялись, однако,

за счет поставок предприятий Малайи и Голландской Индии. Все это регулировалось мистером Бэкью, человеком-роботом.

Эстрада ехал в машине в Мачакамарку, где работал теперь начальником железной дороги. Путь его лежал по самому дну ущелья, зажатого угрюмыми горами. — Вспоминая последние слова врача, он смотрел сквозь свои темные очки на старое речное русло, и на душе у него было мрачно.

Блестела лысина врача, блестели никелированные инструменты в медпункте шахтерской больницы. «Ваша длительная борьба, злоупотребление… стимулирующими средствами…»

Его даже передернуло от отвращения. Орлиный профиль еще больше заострился, рот принял жесткое выражение.

«Высокое содержание мочевины. Отсюда — головные боли. Нужно переходить на молочную и овощную пищу. Строжайшая диета…»

«Молоко и овощи — еще чего!» Вечерело. Над скалами быстро сгущались тени. В западной стороне горизонта над горами клубились облака, словно дым из вулканов.

Марта ждала его на застекленной веранде, служившей в доме чем-то вроде гостиной. Хотя

она привыкла к обществу стареющего Эстрады, ее часто охватывало ленивое раздумье, и думала она о том, что силы в отчаянной борьбе за жизнь израсходованы, а желанного покоя нет, и подсознательно росло убеждение, что все ее усилия были напрасны.

Эстрада приехал в семь часов вечера. Марта велела накрыть на стол, и они молча сели.

— Ветрено сегодня, — сказала Марта, услышав, как стучат цинковые листы на крыше.

— Да, — отозвался Эстрада.

— Вы ничего не едите?

— Нет.

Снова воцарилось молчание. Эстрада поднял голову и услышал свой тихий голос:

— Ты хотела вернуться в Чили? Ты не раз говорила мне об этом.

Марта вздрогнула.

— В Чили? Да, конечно.

Она ответила машинально, мысль о возвращении не коснулась ее сознания, ибо сама возможность осуществления этого заветного плана со временем потеряла свою привлекательность и угасла: так усыхает и гибнет зрелый плод, расклеванный птицами.

— Видите ли, раньше мне хотелось вернуться.

Но теперь с этим покончено. У меня никого нет в Чили. Я теперь боливийка, дорогой.

И она взглянула на него своими огромными черными глазами, стараясь увидеть при свете лампы выражение глаз Эстрады, скрытых за темными очками. Стряхивая пепел с сигареты, она спросила:

— Вы хотите отделаться от меня? Тогда Чили здесь ни при чем.

Эстрада ответил своим обычным тихим глухим голосом:

— Совсем нет.

— Откуда же такое предложение?

— Я тоже должен уехать. Я очень болен.

— Вы уезжаете из-за болезни?

— Да, и к тому же я устал…

— Я тоже. Если вы хотите уехать, то почему не сказать — куда?

— Далеко… в Соединенные Штаты.

Марта взяла бокал с вином.

— В Соединенные Штаты? И когда же?

— Не так скоро. Но если ты хочешь отправиться в путешествие, деньги к твоим услугам.

По губам Марты прошла нервная дрожь, и она почти выкрикнула:

— Благодарю за заботу! Но я никуда не собира-

юсь ехать!

Она вдруг осеклась, увидев, как мрачно уставились на нее два черных круга очков.

Снова донесся шум ветра, гулявшего по поселку. Оба молчали, сидя друг против друга. Марта осушила второй бокал, стряхнула пепел сигареты, встала и включила приемник— раздались бравурные звуки румбы.

Она налила Эстраде виски. Он отказался и ушел к себе в кабинет.

Когда Марта подняла голову, Эстрады уже не было в гостиной. Румбу сменило аргентинское танго. Она повернула ручку и поймала Сантьяго: «Средство обладает приятным запахом, делает кожу молодой и нежной». Когда-то она пользовалась этим кремом. Марта встала и взяла из бара бутылку хереса. В зеркале отразилось ее яркое платье. Неужели она так состарилась? Да, это Эстрада состарил ее, одним ударом разрушив ту призрачно-благополучную совместную жизнь, которая стала, однако, для них обоих важнее самой реальности. Реальность же состояла в том, что она — одинокое существо и оба они одиноки^ хотя и заключили на долгие годы этот странный союз, надеясь, что им удастся обмануть судьбу. И вот теперь, в старости, Эстрада покидает ее,

уезжает. Еще бокал хереса.

«А теперь послушайте…»

Да, он покидает ее тогда, когда она уже не может вернуться к прежней жизни. Сама того не желая, Марта стала его частью, а он отторгает ее от себя.

По-настоящему она любила только Сельсо Рамоса и должна была отказаться иметь от него ребенка. Их сыну было бы теперь — подумать только! — семнадцать лет. Вдруг время раздвинуло свои границы, и неизбывная тоска прежних лет заполонила комнату.

«Послушайте танго в исполнении певца…»

Раздались звуки гитар и банджо. Она снова выпила.

Как это страшно — чувствовать себя одинокой среди людей! Это чувство одиночества вдруг стало осязаемым, когда Эстрада бросил ее одну, с подрезанными крыльями: дорога, ставшая для нее привычной, оборвалась, дальше зияла пустота. У него тоже нет детей, он тоже один как перст и все же ищет еще большего одиночества — потому и порывает с нею. И хорошо делает. Каждый выбирает себе путь по вкусу.

Если помощь тебе нужна
и чей-то совет тебе нужен,

вспомни о друге своем…

Таким другом, единственным другом, мог бы стать ее сын, но он исчез, не успев родиться, и только душа его, не обретшая плоти, витала в ночи над телом теперь бесплодной женщины. Она чувствовала себя как путник, который выходит на незнакомой станции и вдруг видит, что поезд уже ушел, что он стоит один и некому даже взять его чемодан. Куда же идти?

Она размяла в пепельнице еще один окурок. И выпила еще один бокал вина. Почувствовала, что опьянела, и ей показалось, будто она вернулась в свою буйную молодость и готова принять любой вызов. Чей вызов? Все это в прошлом. Куда же ей теперь? Испытывала ли она страх? Но чего ей бояться? Бояться потерять эту вульгарную, нелепую, жестокую жизнь, которую может оборвать разлука? Или смерть?

Она подняла голову, обвела комнату воспаленными глазами — и не узнала ее. На столе — бутылка. За окнами — ветер, все тот же ветер, гуляющий по горам.

Теперь — еще бокал вина, а потом… потом — всего две таблетки, они разойдутся по жилам и — все кончено. Как просто! Ведь можно и так распорядиться своей жизнью.

Женский вокальный ансамбль исполнял бразильский марш «Чудесный город». Значит, он едет в Соединенные Штаты… Ну, а она дальше!..

Время пришло! Да, теперь — самое время. Резким движением она выключила приемник, встала, возбужденно заходила по комнате, бледная, с горящими глазами.

…Звук выстрела потряс воздух.

Женщина застыла, прислушиваясь к шуму, который мог объяснить этот выстрел, но ничего не услышала. Бегом бросилась через гостиную к кабинету. Дверь была заперта изнутри.

— Эстрада, Эстрада, откройте!

Слуга и горничная помогли ей взломать дверь.

Лоренсо Эстрада лежал на вертящемся кресле, закинув далеко назад, голову. Левая рука его прижимала к животу зеркало. Правая свисала на пол. Из открытого рта змеилась струйка крови, сползала по шее и красной нитью тянулась к полу. Пуля пробила нёбо и вышла через затылок, оставив кровавую рану.

На письменном столе рядом с зажженной лампой поблескивали темные стекла очков…

XVI

Совет управляющих

1657 год. В этот год прибыл в Потоси сеньор епископ Крус де С ант а-Мариа, член апостольского ордена, который пытался избавить индейцев Потоси от налога… Сеньор епископ, проявивший такое рвение в защите индейцев, однажды утром был найден в постели мертвым, хотя накануне ложился спать в добром здравии. Несмотря на это, вина легла на индейцев.

Верхние этажи домов на Ломбар-стрит, упиравшихся в медно-красное небо, скрылись в дымном смраде. Плотный воздух поглотил свет уличных фонарей. Среди карабкающихся в небо зданий толпы людей и вереницы автомобилей разлились по улицам-артериям и двигались, пульсируя, мимо меняльных контор, табачных лавок и кафе, наполняя воздух шумом голосов и кваканьем клаксонов.

Но ни человеческие голоса, ни гудки автомобилей не проникали сквозь стены мрачного здания, где на шестом этаже помещались кон-

торы «Интернейшнл смелтинг». В вестибюле — письменные столы, огороженные деревянными решетками. В следующей комнате — тоже стол и кожаные кресла, в углу — дверь с табличкой «Президент».

Стены комнаты отделаны дубом. Высокие зашторенные окна. Камин. На нем макет рудника «Провидение», сделанный из стекла, с красными прожилками штолен и штреков. Справа от камина — солидная высокая дубовая дверь.

За нею — зал совета управляющих; стены обшиты красным деревом, паркетный пол. Рядом с огромным камином — портрет короля Англии. На полу — красный ковер. В середине квадрата ковра — огромный отполированный до металлического блеска стол. Вокруг стола — двенадцать кресел с высокими спинками; против каждого места аккуратно положены блокнот, пресс-папье, папка для бумаг и ручка.

У камина — группа советников и экспертов. Они заняты разговором. Среди них: президент «Интер нейшнл смелтинг», англичанин; уполномоченный Омонте в компании «Истерн тин», англичанин; член директората. «Пенанг смелтинг», представляющий интересы Омонте, голландец; вице-президент «Интернейшнл тин»,

янки; адвокат Омонте в Париже, француз; управляющие: компании «Омонте тин» в Боливии, янки, «Компани де мин» в Боливии, швейцарец, «Боливиэн майнз оф Пулакайо», еврей.

Все заняли свои места. Голубоватые абажуры отбрасывали на стол мягкий свет, сливавшийся с неярким освещением всего зала. Над головой президента высились резные геральдические львы, готовые защитить своего хозяина.

Президент. Открываю заседание совета. Милостивые господа, с некоторых пор из колониальных стран стали поступать сведения, которые вызывают тревогу у руководителей мировой промышленности. Что касается олова, то можно сказать, что одна из опасных опухолей возникла на теле Боливии. В течение многих лет считалось, что все препоны на пути развития тамошней промышленности могут быть ликвидированы. Но теперь стало ясно, что автономное правительство Боливии вмешивается самым серьезным образом в промышленность, и если так будет продолжаться, то это явится дурным примером для других колониальных стран. Господа представители трех самых мощных предприятий Боливии прибыли сюда сегодня утром. Они проинформируют вас о положении дел.

Управляющий «Боливиэн майнз». Президент Боливии, на которого компания «Омонте тин» возлагала большие надежды, объявил войну горнорудным предприятиям. Специальным декретом он обязал предприятия отчислять на счет государственного банка сто процентов прибыли, полученной от экспорта продукции, мотивируя это необходимостью покрыть расходы по реализации товаров за границей. Кроме того, из общей прибыли от продажи двадцать пять процентов должны идти на уплату налогов. В довершение всего правительство создало государственный банк, предоставив ему монопольное право на контроль за экспортом металла. Действия президента, по его собственному выражению, — это крестовый поход с целью освободить государство от господства горнопромышленников. Он принял титул «Mallcu», что на языке тамошних индейцев буквально значит «кондор», а в переносном смысле — «глава», «начальник». В этом качестве он и выступает на народных сборищах, где возбужденные манифестанты требуют от него национализации предприятий. Их лозунг — «экономическую свободу Боливии», и я упоминаю об этом для того, чтобы вы, господа, представляли себе подлинный смысл этой кампании.

Перед фактом столь несообразных действий, — что является плодом возбужденного ума каудильо, лишенного всякого благоразумия, — мы должны быть очень осторожны. Поэтому нашим компаниям следует забыть о соперничестве и начать действовать единым фронтом. *У* меня имеется копия документа, содержащего претензии главе боливийского правительства.

Управляющий Бэкью. Этот документ, составленный нашими юристами в Боливии, содержит двадцать восемь страниц, и чтение его отняло бы слишком много времени. Если изложить коротко его содержание, то оно сводится к тому, что статьи 17, 23, 24, 28 и 179 конституции нарушены, равно как нарушены статьи 289, 290 и 291 гражданского кодекса и статьи 73, 76, 125, 126, 128, 149 и 152 горнопромышленного устава. В документе также доказывается, что правительство нарушает законоположения верхней палаты и не выполняет своих же собственных распоряжений о налоге на прибыль от горнорудных предприятий и о плате за эксплуатацию горных недр. Отмечается, что даже в России, где промышленность национализирована, ничего подобного нет. Это явствует из статей 54, 58, 59 и 70 советского кодекса, одобренного Всероссий-

ским Исполнительным Комитетом в 1922 году.

Представитель «Интернейшнл тин». Это все?

Управляющий Бэкью. Юристы считают, что защита конституционных гарантий и особенно прав собственности всегда полезна. Кроме того, мы устроили так, что наши агенты в правительстве имеют возможность продолжать наблюдение. Правда, они поклялись, что будут содействовать реализации декрета и очень этим смущены.

«Боливиэн майнз». Нужно заметить, что Каудильо ввел смертную казнь для управляющих и старших служащих, в случае если они будут саботировать выпуск продукции на рудниках.

Французский юрист. И он осуществляет этот декрет?

«Боливиэн майнз». Осуществляет. Поэтому обстановка там напряженная. Причина всего этого коренится во внутреннем положении страны.

Французский юрист. Я понимаю страх господ управляющих, вынужденных работать в сельве и иметь дело с дикими касиками.

Мистер Бэкью. Это не сельва. Рудники расположены в зоне вечных снегов.

Французский юрист. Извините. Всегда узна-

ешь что-нибудь новое. Я имею в виду духовную дикость. Но не в этом дело; чтобы избежать нежелательных столкновений, предприятия, как я полагаю, должны считаться с правительственными мерами. Между тем, чтобы дипломатическое давление было эффективным, следует распространить памятную записку в официальных кругах Вашингтона, а через прессу Соединенных Штатов и стран Латинской Америки нужно распустить слухи о существовании в Боливии коммунистического режима.

«Пенанг смелтинг». Лучше говорить о фашистском режиме. В связи с этим я предлагаю опустить в памятной записке упоминание о советском кодексе и намекнуть на сходство мер боливийского правительства с законом Муссолини о контроле над промышленностью.

«Интернейшнл тин». Согласен. Действительно, нужно упомянуть о фашизме, говорить о коммунизме слишком избито.

«Интернейшнл смелтинг». Это может иметь обратный эффект, так как в высших кругах Великобритании фашизм вызывает симпатии.

Мистер Бэкью. Сам сеньор Омонте и президент «Компани де мин» связаны с испанской аристократией, и оба они финансировали мятеж

генерала Франко.

Французский юрист. Вспомним басню Лафонтена и не будем терять времени. Пропаганда должна быть гибкой. Нужно квалифицировать боливийское правительство как фашистское в США и как коммунистическое здесь.

«Боливиэн майнз». Здесь нужно просто, говорить о защите конституции и свободе предпринимательства.

Мистер Бэкью. Каудильо — романтик, опирающийся на продукцию заводов Кольта[49].

«Интернейшнл тин». Поэтому в сегодняшней Боливии нужна умеренная политика. Политика за ее пределами — наша забота. В Боливии нужна тактика оттяжек и проволочек. В этом мы целиком полагаемся на наших технических экспертов: следует оставить некоторые разработки, сообщить, что не хватает моторов, и тогда можно будет не спешить с погрузками, уменьшить персонал и так далее. Полезна была бы мощная шахтерская забастовка.

Мистер Бэкью. Кроме того, что мы рискуем своими головами, есть опасность, что каудильо национализирует рудники.

---

[49] Примечания: 49

Кольт Самюэл (1814–1862) — американский инженер, основатель завода и компании по производству стрелкового оружия.

«Боливиэн майнз». Но можно поставить его на колени, и тогда он их возвратит компаниям.

«Интернейшнл смелтинг». Будем выражаться точно: это не частный спор между промышленниками Боливии и правительством. Мы защищаем здесь международные интересы. Кто бы ни был владельцем рудников, будь то Соединенные Штаты или Англия, все они заинтересованы в контроле над Боливией, основным поставщиком олова. Мероприятия Гитлера свидетельствуют о том, что готовится блицкриг. Мотор, который приводит в действие металлодобывающую промышленность, должен быть на ходу. Всякая политика, направленная на снижение прибылей горнорудной промышленности, понижает здоровые стимулы, и тем самым расшатывает само производство. Если боливийское правительство глухо к призывам разума, надо его свергнуть. Но осуществлять это нужно по этапам. В первый же месяц необходимо подорвать его моральный авторитет. Помимо всех тактических приемов, я прошу моих уважаемых коллег, собравшихся здесь, сделать заявления соответствующим агентствам о наступающем кризисе добычи олова. Я со своей стороны представлю в журнал «Американ металз» соображения по по-

воду предстоящего уменьшения квоты Боливии в «Оловянном пуле».

Французский юрист. Этот журнал — библия мировой промышленности.

«Интернейшнл смелтинг». Во второй месяц следует резко снизить производство и привести к краху экспортный банк.

«Боливиэн майнз». Используя наши связи в высших сферах, мы можем довести до всеобщего сведения две вещи: что страна остается без сентаво и что министр финансов разбогател в одну ночь.

Французский юрист. В большой прессе Боливии тоже есть разумные люди. Это с одной стороны, а с другой — клевета полезна: от нее всегда что-то остается. Так говорил не Макиавелли, господа, а Вольтер.

«Боливиэн майнз». На все это потребуется много денег.

«Интернейшнл смелтинг». Деньги найдутся. Даже на революцию.

«Пенанг смелтинг». Это проще простого.

«Боливиэн майнз». Не совсем. Массы возбуждены, а президент является главой армии.

«Компани де мин». Найдутся и другие.

«Интернейшнл тин». Сколько они нам будут

стоить?

«Боливиэн майнз». Пять миллионов.

Французский юрист. В прошлый раз мы истратили миллион, и еще остались деньги на пожертвования университету.

«Боливиэн майнз». Тогда генералы стоили дешевле.

«Компани де мин». Но и деньги котировались выше. Поэтому лучше всего вести расчеты в долларах.

Мистер Бэкью. Кроме того, генералы не рисковали головой. Теперь это приведет к гражданской войне, что для нас грозит разорением.

Французский юрист. А нельзя за эту же цену обойтись без революции?

«Пенанг смелтинг». Вы хотите сказать, убить его?

Французский юрист. Не будьте столь прямолинейным, милостивый государь.

«Интернейшнл смелтинг». Подвожу итог: мы будем действовать извне в постоянном контакте с представителями трех заинтересованных компаний. Они лучше всего могут решить, куда вложить деньги. Мы верим, что они понимают суть дела: речь идет о восстановлении в Южной Америке прав капитала на уважительное отно-

шение. Ставлю на голосование, господа: согласны ли вы, чтобы злокачественная опухоль на теле Боливии была уничтожена любыми средствами?

Десять — за. Управляющий «Боливиэн майнз» — против.

— Каковы мотивы голосования, господин управляющий?

— Мои коллеги из «Компани де мин» и «Боливиэн майнз» останутся в своем Буэнос-Айресе, вы преспокойно будете поживать здесь. Единственный, кто должен отправиться в Боливию, это я, да еще с риском быть расстрелянным.

— Очень сожалею, но нас большинство. Сообщите о результатах голосования господину Омонте.

Заседание закрылось. Все покинули зал, спустились в лифте вниз, вышли на улицу, где движение уже значительно уменьшилось. За углом их ждали Машины, они попрощались друг с другом и разъехались по улицам Лондона, кто куда.

Когда Омонте исполнилось семьдесят лет, он положил начало второй дюжине своих портретов в Париже, на этот раз кисти художника-сюрреалиста. Иконография магната росла как в количественном, так и в качественном отношении. Художники выжимали все возможное из

физиогномических и цветовых данных модели. В портретном исполнении Омонте выглядел ассиметричным. Внутреннее чувство довольства своей жизнью превращалось на портрете в явно выраженное довольство собственной персоной. При этом сеньор Омонте был очень похож на себя. Столь похожее и вместе с тем облагороженное изображение ужасно нравилось сеньору Омонте и его супруге. Портреты знаменитой супружеской пары украшали гостиные их домов в Париже, Ницце, Биаррице, дипломатическую миссию в Мадриде, а также замки зятя и невестки, где портреты были вывешены рядом с портретами знаменитых предков. Поток изображений магната захватил и Боливию: конторы горнорудных предприятий и залы советов в банках были украшены бесчисленными копиями кисти местных живописцев или репродукциями.

В мастерской французского художника Поля Пикаона, в прошлом кубиста, а ныне магического реалиста, на стуле с высокой спинкой сидел Омонте. Из широкого окна с приспущенными шторами лился мягкий свет. Позирование — дело утомительное, поэтому секретарь развлекал его, сообщая новости.

— Сеньор посол, его превосходительство дон

Арнольдо письменно уведомляет, что он летит сегодня из. Бургоса в Лондон.

— Угу… А что он пишет о жене?

— Что она не будет ждать его в Лондоне и сегодня же вылетает в Рим.

— Прекрасно придумано, просто прекрасно!..

Свет мешал ему, и он прикрыл веки. Когда он сбрил усы, его старческий рот с запавшей верхней губой оголился, и Омонте стал похож на старую безобразную обезьяну. Но художник видел его другим, он преобразил его лицо в некую маску, на которой расплылись пятна приглушенных тонов: две неровные кляксы на месте глаз, три фиолетовых пятна, долженствующих изображать нос и скулы, и все это — на фоне цветных треугольников и неясно нарисованных попугаев.

Художники старались глубже раскрыть личность Омонте. Медики пытались продлить его жизнь. Знаменитейшие врачи Европы придумывали для четы Омонте всякие необременительные телесные упражнения. И сама их драгоценная плоть подвергалась в клиниках тщательному осмотру; кажется, это были обычные человеческие тела, но, символизируя собой беспредельное материальное богатство и предельность физического бытия, они как бы являли

новое воплощение Будды.

Ограниченность ресурсов человеческой жизни вступала в противоречие с неограниченными денежными ресурсами. В этом конфликте чудесный дар существования был особенно чудесным для четы Омонте, ибо знаменовал собой высшую, сверхчеловеческую привилегию. Поэтому врачи — немец, два француза, поляк и испанец — неустанно хлопотали над тем, чтобы хранить, холить и нежить богоданную плоть, дабы обеспечить ей вечное блаженство за счет несметного количества золота, которое, как известно, не подвержено никаким болезням.

Доньей Антонией занимались самые разные клиники, и все сходились на том, что ее веснушки служили явным симптомом гепатита, осложненного атрофией клеток и расстройством функций желчного пузыря. «Сердце тоже не в порядке. Южноамериканский климат явно противопоказан. Рекомендуется зиму проводить на Лазурном берегу, лею — на севере Испании, осень — в Швейцарии, а весну — в Париже». По этим местам она и разъезжала, беря с собой врача, которого рекомендовал консилиум в качестве лучшего знатока указанных климатических зон.

Изношенное сердце Омонте каждую неделю

выслушивали крупнейшие специалисты: седовласые старцы в пикейных жилетах и полосатых брюках, с аккуратно подстриженными и надвое расчесанными бородками и благообразные длинноногие молодые люди. Знаменитый доктор Шарпентье, человек среднего возраста, ученик Воронова[50] и выдающийся специалист в области геронтологии, поставил тот же диагноз, что и остальные. «Вы в состоянии пробежать двести метров и не почувствовать усталости? Храпите ли вы? Есть ли у вас одышка после приема пищи? Итак, подробный анамнез дает право утверждать, что у вас начальная стадия сердечной недостаточности, которая может вызвать спазмы коронарных сосудов с последующим инфарктом миокарда. Нет ничего более опасного для вас, чем подъем на высоту даже в тысячу метров. Избегайте высоты! Избегайте сильных нервных напряжений!»

В Люцерне другое племя врачей хлопотало вокруг Тино Омонте в периоды, когда он испытывал приступы нервного возбуждения или депрессии. «Надо оберегать его от нервного напряжения».

В доме на Рю д'Эльдер, в холле, сеньора Омонте

---

[50] Примечания: 50

Воронов С. А. — русский ученый, занимавшийся в 20-е годы нашего века вопросами омоложения.

ожидают два секретаря, испанец и француз, и советник посольства, боливиец. Советник просматривает расписание приема.

— Дайте образец заявления о приеме для боливийцев.

Секретарь протягивает отпечатанную карточку.

«Я… по рекомендации… прошу его превосходительство сеньора Сенона Омонте принять меня по вопросу о… (Обязуюсь не использовать свидание с сеньором Омонте для просьб о взносах и пожертвованиях в благотворительных целях, о денежной помощи для себя лично; обязуюсь также не делать предложений о сотрудничестве, не предлагать проектов, изобретений, услуг по разведке залежей металлов.) Подпись просителя… Время аудиенции… минут».

— Отлично. Что это за документ? Нота государственного секретаря Ватикана? Отлично. Посмотрим, не уравновесит ли это все другие сообщения.

— Идет… Делает разнос шоферу.

Двери открыты настежь. Гигант с жирным затылком, поставленным прямо на плечи, медленно шествует через анфиладу комнат, стараясь держаться прямо. Вытягиваются по стойке

смирно привратники, слуги, грумы, секретари, машинистки и стенографистки. Два секретаря и советник с вытянутым вперед подбородком почтительно следуют за ним, трепеща от страха перед очередным приступом бешенства.

У него принимают шляпу, кашне и пальто. Он усаживается в огромное кресло перед письменным столом, украшенным бронзой, прямо под своим собственным портретом, на котором художник изобразил его во фраке.

— Что у нас сегодня?

Образец карточки с просьбой об аудиенции утверждается. Далее следует нота государственного секретаря Ватикана *С* уведомлением о том, что его преосвященство жалует возлюбленному сыну своему дону Сенону орден Григория VII и индульгенцию на сто тысяч дней.

— Не густо за те деньги, что я им дал.

Муниципалитет Кочабамбы в обращении, подписанном группой социалистов, почтенными горожанами, епископом, несколькими важными дамами и студенческой федерацией, просит прославленного земляка распорядиться о бесплатной выдаче со своей фермы тридцати литров молока ежедневно на нужды приюта для сирот, жертв войны в Чако.

Прикрыв глаза, Омонте молчит и вдруг взрывается:

— Чьи там подписи? Что у них — нет фамилий?

Советник зачитывает фамилии.

— Гм… Эта война мне и так дорого стоила. А теперь молоко… Но молоко идет на масло для служащих. И сами подписавшиеся болтали, что мои коровы больны бруцеллезом. Оставить без ответа.

Письмо уполномоченного в Боливии сообщало, что «Компани де мин» и «Боливиэн майнз» просят правительство об увеличении квоты на вывоз олова в связи с тем, что «Омонте тин» не использовала свою квоту на прошлое полугодие из-за полного истощения запасов руды на рудниках.

Омонте побагровел:

— Знаю я эти еврейские штучки! Мои рудники всегда были самыми богатыми. Всегда!

— Сеньор посол, мистер Бэкью должен был утверждать обратное, чтобы избавиться от дополнительного налога. Говорят, что правительство имеет намерение заполучить аванс золотом в счет налога.

— Ах, вот как! Они хотят воевать со мной. Напишите нашему управляющему, чтобы он дал

аванс на самых выгодных условиях. И пусть эти евреи подавятся. Пошлите каблограмму. Нет, вот как нужно сделать: мы возьмем на один пункт меньше, чем эти свиньи, и тогда они лопнут. Что там еще?

Советник погладил свой гробовидный подбородок.

— Ваше превосходительство, художник просит десять тысяч франков.

— Ха, ха… Право, это даже смешно. Он намалевал какое-то чудовище, я сам на себя не похож, и еще требует с меня десять тысяч. Не смешно ли? Ни одного сантима! Пусть забирает себе этот шедевр.

Советник делает глотательное движение:

— Но, сеньор, есть одно обстоятельство… деликатное обстоятельство…

Магнат даже заморгал.

— Что еще за обстоятельство? Говорите же наконец!

— Художник говорит, что в случае неуплаты он выставит портрет в салоне «диких»[51]. Это очень посещаемый салон.

Омонте вскакивает, хватается за голову, рвет

[51] Примечания: 51

«Дикие» — одно из течений во французской живописи начала XX века.

ворот рубашки, обегает письменный стол.

— Опять воровство, опять шантаж! Все поголовно — воры, всюду — ворье. Придется все же заплатить. Десять тысяч франков — на ветер, прямо на ветер!

Персонал замер и почтительно слушает.

— Не хочу больше ничего знать! Все это грабеж. Ни одной приятной новости.

Ему подают кашне, шляпу, помогают надеть пальто, провожают к выходу, потом возвращаются и, стоя под портретом, испускают вздох облегчения.

— Хорошо еще, что он не знает последней новости: сеньора Милагрос де Сальватьерра-и-Габсбург Омонте разводится.

— Неужели разводится?

— Да, и просит немедленно назначить ей ежемесячную пенсию в десять тысяч долларов.

Агентство Гавас сообщило: «Президент Боливии покончил жизнь самоубийством».

— Это должно было случиться, должно было случиться.

— Да, он был настоящий дикарь.

— Не пообедать ли нам?

Из автомобиля с задернутыми шторками Омонте выходит на залитый солнцем тротуар

Вандомской площади; через стеклянную дверь, которую распахивает перед ним привратник в униформе бутылочного цвета, он попадает в застекленный вестибюль отеля «Ритц», где должен состояться обед с представителями «Интернейшнл смелтинг».

Снова застывают в поклоне слуги, грумы, метрдотели. В шуме голосов и шарканье ног едва слышна музыка; приглушенные звуки оркестра плывут над коврами, окнами, цветами и столиками, отраженными в зеркалах. «Ваше превосходительство, обед — на втором этаже. Сюда, пожалуйста».

Омонте медленно движется сквозь толпу надушенных женщин, элегантных мужчин. Проходит за спинками стульев в центре зала. В углу пенится белыми хризантемами огромная амфора. Он останавливается. Ему нравится здесь: женские фигуры, улыбки, зеркала, голубые дымки сигарет, плывущие в сизоватом воздухе к деревянной полированной лестнице, на которой мужчины и женщины — если смотреть снизу — кажутся особенно высокими.

Он усаживается в кресло. Совсем близко от него, за столиком возле стены, где изображена стайка лимонно-желтых амуров на фоне голубого

неба, сидит девушка и пишет. Время от времени она поднимает свои светлые глаза и задумчиво смотрит, потом снова склоняется над столом и продолжает писать. Кажется, будто Пикассо единым движением прочертил эту изящную ломаную линию: фетровая шляпка с пером, бюст, бедра, ножки со сдвинутыми вместе носками. Она встает и подходит к окошечку компании «Вестерн юнион». И стоит теперь спиной: коротенькая юбка, крепкие икры, тонкие щиколотки, каблучки вместе. Рассыльный слегка задевает ее пакетом. Медноволосая девушка поворачивает тонкую шейку и встречается глазами с Омонте. Потом делает полуоборот и, словно самолет, разрезая воздух, плавно движется к выходу.

Ее зовут Жоржетта. Она замужем за французом, который ведет какие-то темные дела с испанскими республиканцами на франко-испанской границе. На следующий день, во вторник, она узнает, что у нее объявился поклонник; в среду, что этот поклонник — миллионер, что он южноамериканец, но человек весьма достойный; в четверг ей хочется узнать, в чем состоит могущество этого человека, перед которым трепещут управляющие, метрдотели, портные и служанки, а в семь вечера того же дня она приходит в

отдельный кабинет на четвертом этаже отеля «Ритц». Привычный ко всему служащий в черном пиджаке и в полосатых брюках ведет ее от лифта в полутемный коридор, устланный ковром, дважды стучит в дверь, открывает ее, просит даму войти и удаляется. В маленькой прихожей — зеркало во всю стену. Дальше — бледно-голубого цвета гостиная с белыми шторами на окнах. На стенах — белые фарфоровые канделябры с хрустальными колпачками. Софа и кресла обиты нежно-голубым шелком. От плафона исходит мягкий рассеянный свет и падает на фигурки Будды на стеклянной подставке, обтекает какую-то темно-синюю, почти черную глыбу, из которой торчит голова старой гориллы.

Когда у царя Соломона истощился запас сладкозвучных песен и он сделался старым, ему пришлось искать благоуханных юных дев с волосами, тонкими, как аравийское золотое руно, дабы своими телами они согревали кости страдающего бессонницей старца.

Их двое: Жоржетта и этот старый сеньор. Тайное свидание — только и всего. Гарантированная оплата по исполнении контракта. Соблюдение меры по предписанию медиков.

Даже не взглянув на него, она начинает раз-

деваться и делает это с профессиональным безразличием, но не без изящества. Когда она наклоняется, чтобы спустить чулки с округлых колен, ее медно-красные волосы рассыпаются по белоснежным плечам и падают на грудь. Кожа у нее нежная, гладкая, без единого пятнышка, без единого изъяна, бархатистая, как лепесток цветка, движения плавные, даже робкие. Вдруг она вспоминает об условиях контракта, становится посередине комнаты, закидывает руки за голову и, приподнявшись на носках, медленно поворачивается, демонстрируя перед толстым сопящим последователем царя Соломона выпуклости, изгибы, складки, линии своего тела.

«О, ужасное вожделение, которое нельзя насытить!»

Париж затемнен. Город погрузился в вязкую тьму, как некогда в древности; люди снова ждут нашествия и снова призывают богов, чтобы они совершили чудо и спасли Париж. Но теперь молится не святая Женевьева, а премьер-министр Поль Рейно. Его молитва передается по радио, и зеленый огонек приемников едва освещает лица французов, слушающих символ веры министра:

«Только чудо может спасти Францию, и я верю

в это чудо».

Сенон Омонте тоже слушает, хотя это бесполезно, ибо он туговат на ухо, да к тому же не знает французского языка. И хорошо, что не знает: лучше не ведать о нашествии, которое грозит разрушением его замку неподалеку от Реймса. Нет, нельзя жить в этой ужасной стране, где небесный свод, опирающийся на жерла зенитных пушек, буквально разрывается на части и ежеминутно грозит обвалиться.

Пали Бельгия, Голландия, Люксембург, запад Франции, Фландрия, Арденны, Реймс. Да — и Реймс. Немцы наступают неудержимо, словно саранча заполняя дороги, селения, овраги и поля. Коричневые волны набухают, вздуваются и катятся дальше, разливаясь огромными зловещими пятнами по французской земле. Небо дырявят шляпки ядовитых цветов и, раскрываясь на глазах, сыплются вниз губительным дождем.

— Надо бежать, сеньор Омонте.

— Надо бежать, Сенон.

Но куда? Коричневое пятно, словно чернила на промокательной бумаге, расползается по всему континенту. В Испанию? Часть сотрудников уже уехала туда. Паспорта с подписью Омонте получили в качестве членов дипломатической

миссии секретари-космополиты, французские слуги, испанские горничные и Жоржетта. Теперь его очередь. И вот «паккард» с боливийским флажком на радиаторе — шофер и секретарь-испанец впереди, Омонте и донья Антония сзади — пересекает оцепеневший Париж.

По обеим сторонам дороги тихо и ритмично кружатся зеленые нивы, и кажется, что они плывут туда же, куда устремились легковые машины, грузовики, беженцы. Людям трудно: военные машины теснят их с дороги, гонят на обочины, в канавы. Толпа беженцев растет, возникает давка. Автомобили выстроились в ряд, словно на ярмарке и медленно, единым потоком движутся к узкому горлу испанской границы. Движутся денно и нощно, пересекая города, забитые солдатами. А дороге нет конца.

Несколько солдат приказывают машинам свернуть на другую дорогу.

— Я везу сеньора посла Боливии.

— Катись к черту со своим послом! Сворачивай!

Машина вот-вот свалится в кювет. Рычат моторы военных грузовиков, едущих навстречу. Часа через три «паккард» получает возможность двигаться дальше. У гостиницы кипит людской

водоворот. Вереница машин, постепенно заглушая моторы, останавливается. Мужчины, женщины, дети устремляются в дом, наполняют его шумом, суют деньги растерявшемуся хозяину; тот воздевает руки к небу и кричит;

— У меня ничего нет! Все кончилось! Кончилось!

— Но вино-то еще есть!

— Дайте сандвич! Хоть один сандвич! Сто франков за сандвич!

Передние машины начинают двигаться. По звукам клаксонов Омонте и его супруга понимают, что надо смириться; их автомобиль, частичка многокилометровой металлической гусеницы, тоже сдвинулся с места. Путь к испанской границе продолжается.

Вдали уже виднеется голубая полоска моря. Шофер нервничает: кончается бензин, скоро кончится и вот кончился.

С лица доньи Антонии сползли все краски, и оно становится грубым. Сеньора Омонте зло выговаривает шоферу:

— Болван! Не мог запастись бензином.

— Но, сеньора, сеньор, мотор работал с тройной нагрузкой.

— Молчать! — рычит Омонте. — Марш за бен-

зином!

Секретарь и шофер пытаются остановить ползущие мимо машины.

— Продайте бензину! Сто франков за литр!.. Двести франков!.. Для сеньора посла Боливии.

— Ах вот оно что! Пусть попробует получить из своей Боливии.

— Нам не до шуток: тысячу франков за литр!

Приближается машина, из которой высовывается маленький человечек с остреньким, как минутная стрелка, носом.

— Вам нужен бензин? Лишнего нет, но я вас подвезу. Ожерелье сеньоры, ее кольца и перстень сеньора. Примите в расчет, что я вынужден буду оставить свои вещи. Согласны?

Он выволакивает из машины узлы и ящики, освобождая место для Омонте, его жены и секретаря. Шофер остается.

Томительно медленно, рывками, метр за метром, автомобили движутся вперед. Ширится голубая лента моря с белым кружевом пены. Вдали уже можно видеть кедры, растущие на скалах.

Наконец — Эндайя, наконец — испанская граница. Перед Ирунским мостом скопились сотни машин. Кваканье клаксонов сливается в единый

гул. Автомобиль можно купить всего за тысячу франков, а то и за пятьсот. Между машинами снуют бледные, растрепанные люди с детьми на руках. На мост бегут пограничники, прижимая рукой кобуру с пистолетом, и образуют там заслон. Никого не пускают.

— Это посол Боливии. Пропустите меня к телефону.

Но к зданию таможни тоже не пускают.

— Мне нужно переговорить с губернатором Сан-Себастьяна. От имени посла Боливии.

Невозмутимые пограничники молчат. Секретарь в отчаянии. Наконец взятка возымела действие, и его пропускают.

— Пойдемте пешком.

Смеркается. Посол и его супруга выходят из машины. Сзади — секретарь с чемоданами. Сеньора несет в маленьком чемоданчике свои драгоценности. В руках у Омонте тоже чемодан. Подходят к таможне. Здесь много солдат. Сначала их останавливают. Секретарь куда-то запропастился.

— Мы — посольство Боливии! — кричит сеньора.

Их пропускают в зал ожидания, где уже сидят люди, пристроившись на своих чемоданах, обездоленные, всеми забытые, словно пассажиры с

поезда, потерпевшего крушение в пустыне.

Сесть негде, и супруги Омонте тоже вынуждены устроиться на своих чемоданах.

Возвращается секретарь.

— Где вы пропадали? — рычит Омонте.

— Позволят пройти только пятидесяти человекам. Таков приказ испанского правительства. Связи пока нет, но скоро наладят. Никуда не уходите отсюда.

Медленно тянутся минуты. Какое это тягостное наказание ждать здесь, в зале, набитом до отказа мужчинами, женщинами, детьми, чемоданами, плачем, криками.

— Мост откроют завтра! Связи с Сан-Себастьяном нет. Переговорить с официальными лицами по ту сторону моста нет никакой возможности.

— Разве им не сказали, что я Омонте?

— Я все время твердил им это, но они прогнали меня прикладами.

Сеньора — в обморочном состоянии. Секретарь идет раздобыть сандвичи, дает каким-то парням деньги, те Забирают их и скрываются.

— Ночь лучше всего провести в машине.

— Нет. Нужно подогнать ее сюда, поближе, чтобы проехать первыми, как только откроют мост.

Секретарь приобрел несколько шерстяных оде-

ял у испанских басков и сандвичи у французских. Прямо на полу у стены он устраивает нечто вроде ложа для сеньоры и сеньора Омонте. Сеньор упрямится и продолжает неподвижно сидеть на чемодане, жалкий и поникший.

Одиннадцать часов вечера. Снаружи слышатся голоса. Это прошли пограничники. Раздаются звуки клаксонов. Вдруг солдаты входят в зал, но тут же покидают его, громко переговариваясь. Омонте вспомнил — это было тысячу лет назад, — как он застрял на почтовой станции Сан-Хосе-де-Оруро и вынужден был ночевать с чужими людьми в душном помещении, заставленном корзинами с кокой, мешками с овсом, конской упряжью. Тогда, как и теперь, всюду сновал народ, не обращая на него никакого внимания, а в соседней комнате горланили погонщики мулов. И дети ревели так же, как этот белобрысый младенец, что сидит на коленях у женщины в меховом пальто.

Чем он так прогневал судьбу? Что теперь с его акциями, с его дворцом, с его замком? Может быть, в нем устроили казармы? Или разбомбили? Машина потеряна в дороге. Британское правительство задерживает золото. Что делается в Малайе? А вдруг бомбы разрушили плавильни «Вильямс Харвей»?

Кто-то надсадно кашляет. Снаружи слышны крики и рев мотора. Донья Антония опит. Уже много лет он не видел ее спящей рядом с собой.

— Посол Боливии! Сеньор посол Боливии.

Светает. Входит секретарь с помятым лицом и будит Омонте, который спит, прислонившись к стене.

Есть приказ пропустить его превосходительство дона Омонте. Сеньора Омонте тоже встает. Секретарь берет чемоданы.

Они идут первыми. Поблескивает река. На ней покачиваются маленькие лодчонки. Кордон из солдат и пограничников расступается, чтобы пропустить двух помятых, растрепанных стариков и секретаря. В Ируне они не задерживаются и на машине следуют до Сан-Себастьяна. Их встречает мажордом. Сеньор Омонте готов надавать ему пощечин за то, что тот не проявил расторопности и не выехал им навстречу к границе. Потом он ложится отдыхать, но в два часа встает и велит соединить его с Мадридом. Нацисты уже в пригородах Парижа, а английские войска бегут к берегам Бретани.

Омонте смотрит на залив. По лазурному морю катятся волны с белыми гребнями и умирают, бросаясь на скалы. Весенний соленый воздух,

пахнущий рыбой, резко бьет в ноздри. Внизу он видит поросшую травой дорогу, сбегающую между двумя каменными стенами к берегу. Прямо напротив — зеленый остров Санта-Клара с белыми домиками.

Завтрак и ласковый ветер рассеивают мрачные воспоминания о прошлой ночи.

— Ваше превосходительство, Мадрид на проводе.

Через четверть часа он возвращается на террасу. В шезлонге сидит его жена и смотрит на море, на город, на островки, на зеленые холмы с белыми домиками.

— Что теперь будем делать?

— Ничего, — отвечает Омонте.

— Я имела в виду, останемся ли мы здесь?

— Нет. У меня много дел. Мои помощники сообщают, что Лондон просит меня поехать в Соединенные Штаты. Теперь боливийское олово будет стоить дороже, чем в минувшую войну.

XVII

Убийство, замышленное в Нью-Йорке

Кровавый ручей бежал по земле, питаемый кровью индейцев, и орошал берега.

Серый утренний свет разливается по голым горам, выхватывая из долин и расселин цинковые и соломенные крыши, лесные вырубки и проторенные тропы. На рудниках — никаких признаков жизни.

В чреве гор потухли карбидные звезды. Остановились вагонетки в галереях. На стальных тросах зависли клети. Погасли светофоры: стоят поезда во всех двадцати пяти горизонтах — их не о чем предупреждать. Молчит диспетчерская служба: вся дистанция длиной в сто шестьдесят километров погружена в темноту.

На дневной поверхности не слышно шума электростанции. Молчат турбины. Молчат дизеля. Бессильно повисли сотни приводных ремней в цехах обогатительной фабрики. Умолкли грохоты, движки рудничных насосов, сортировальные столы, решета, мельницы с коническими вал-

ками, сортировочные машины и центрифуги. Вагончики и подъемники не перевозят уже просеянную, отсортированную и очищенную руду. Железнодорожные платформы пусты. Не слышно паровозных гудков.

Все остановлено забастовкой, начавшейся три дня назад: рудник, фабрика, мастерские; бездействуют пакгаузы, склады древесины, труб, смазочных веществ, нефтехранилища, бензобаки. Все охвачено забастовкой: канатная дорога, сортировальные машины, фабрика, рудник, электростанция, пороховые погреба, поселок. Всеобщая забастовка.

По требованию предприятия лавочники объявили локаут.

Десять часов утра. Солнце высветило обширное пространство между горами. Стал виден перекресток дорог из Унсии и Льяльягуа. Слившись воедино, дороги вьются по склону горы вниз, к долине и дальше — в сторону обогатительной фабрики и поселка. Там их перерезает железнодорожная линия. На рельсах — одна-единственная забытая платформа.

Мир и покой. Мертвенно-бледная порода залита утренним светом. Ни ветерка, ни тени. В воздухе, насыщенном металлической пылью,

преобладают два цвета: цинковый цвет крыш — на фабрике и в поселке, задвинутых в ущелье, и серый — в отвалах пустой породы.

Обманчивая тишина: в размытых светом складках гор притаилось три сотни зарывшихся в землю солдат, вооруженных десятком пулеметов и двумя пушками.

Одиннадцать часов утра.

«Идут… идут!»

На дороге, которая спускается по склону горы в долину Барсолы, со стороны Льяльягуа, поднимается облако пыли. Внутри его — темная масса, похожая на фантастическое чудовище, выросшее прямо из подземелья. Ослепленное солнечным светом, оно медленно и тупо ползет навстречу собственной гибели.

«Идут… идут!»

Дистанция две тысячи метров. Гигантская неуклюжая гусеница увеличивается в размерах; она кажется неподвижной, но все же приближается, сползая вниз по пыльней дороге.

Дистанция тысяча шестьсот метров. Медно-красная масса, словно щебень из самосвала, вываливается с горы на равнину, заполняя неровности на каменистой земле.

Дистанция тысяча двести метров. Масса снова

стягивается, вползает на дорогу, заливает складки земли, и уже в облаках пыли можно различить очертания человеческих фигур: тысячи темных пончо, шерстяных шарфов, цветных юбок, белых широкополых шляп, фуражек. Над ними развевается трехцветное боливийское знамя.

Дистанция тысяча метров. Они проходят сквозь густые заросли и достигают перекрестка дорог, идут, спотыкаясь о камни, разбредаются, словно потревоженные муравьи, снова сбиваются в кучу.

Теперь они совсем близко: уже перевалили насыпь и длинной вереницей движутся вперед.

«Восемьсот метров… Огонь!»

Взрывы снарядов раздирают воздух в клочья, истерично заливаются пулеметы. Эхо выстрелов разносится по горам и долинам. Голодное чудовище вздрагивает и печально смотрит тысячами глаз туда, откуда летит смерть, — в сторону рудников.

«Огонь!»

Падают раненые, падают убитые. Падает знамя, прошитое пулеметной очередью, и укрывает своим полотнищем убитую женщину.

Гигантские стальные ножницы режут воздух. Сухим дождем сыплются пули, громом грохочут

пушечные выстрелы. Шуршит сухая трава под ногами бегущих мужчин и женщин. Они бегут за насыпь, валятся в ямы, многие остаются там лежать, другие бегут дальше от смертоносного шквала. Воздух сотрясается от выстрелов, криков мужчин, воплей женщин.

Толпа рассеивается. Те, кого миновала смерть, разбегаются по тропам, карабкаются вверх по склонам гор, бегут по дороге, не останавливаясь, не переводя дыхания, до самого поселка, гонимые огненным шквалом.

Из жилищ выходят люди, присоединяются к бегущим, таща на себе матрацы, белье, кур, волоча за собой детей.

Они ползут по склонам, выбираются на дороги, сбиваются в караваны, часами шагают в вечерних сумерках к горизонту, на запад, — прочь от рудников! — пока не скрываются за горным перевалом, где плотные облака черными глазницами смотрят, на них с холодного кроваво-красного неба.

В вечерних сумерках скалятся рядами золотых зубов окна небоскребов. Хлопья снега убелили сединой черную шапку Парк-авеню. Свет струится по тротуару перед «Уолдорф-отелем», отражаясь в стеклах витрин и дверей, освещая лица женщин.

Внутри мраморной пещеры, возле лифтов блестят золотые пуговицы на оливковых униформах белокурых грумов. Два дюжих журналиста в пальто нараспашку, в сдвинутых на затылок шляпах, с развевающимися галстуками подлетают к советнику с гробовидной челюстью и к адвокату с лошадиными зубами:

— Извините, извините… Одну минутку!

Они норовят войти в соседний лифт, но сталкиваются с двумя другими журналистами в пальто нараспашку, в сдвинутых на затылок шляпах, с развевающимися галстуками.

— Извините, извините… Мы хотели бы узнать, что произошло в Боливии.

Помощники Омонте переглядываются…

— Ничего особенного: самая обыкновенная забастовка…

— Причина забастовки — зарплата?

— Нет, с этим — в порядке.

— Тридцать сентаво в день — это называется «в порядке»?

— Нет… Зарплата значительно больше…

— Правда, что было триста убитых?

— Нет, конечно. Всегда нужно уменьшать в десять раз. Вы же знаете, люди любят преувеличивать…

— Правда ли, что сеньор Омонте одарил Боливию одним-единственным подарком — собственной статуей для мавзолея?

— Сказки, выдумка. Сеньор Омонте — человек умный, деятельный предприниматель и в этом смысле ничем не отличается от американцев. Трудно даже перечислить все, что он сделал для Боливии.

— И все-таки почему же вспыхнула забастовка?

Адвокат с лошадиными зубами моргает и смотрит на своего коллегу с гробовидной челюстью.

— Нацисты…

— Ах, так!

Четверо журналистов с блокнотами в руках буквально замерли.

— Да, это дело нацистов. Забастовкой руководили из Берлина.

— Забастовкой боливийцев?

— Разумеется! У нескольких рабочих нашли автографы Гитлера, у других — оружие, которое было доставлено германскими подводными лодками. Они хотели сорвать добычу олова, ведь это стратегический материал, сами понимаете.

— О да, из него делают фольгу для сигарет.

Четыре авторучки забегали по бумаге.

— У них обнаружили немецкие шифры. Между армией и штурмовиками-шахтерами завязалось ожесточенное сражение. Компания встала на защиту демократии.

— На них были коричневые рубашки?

— Именно… И они шли в бой с криками: «Хайль Гитлер! Долой демократическое правительство!» За рудники разгорелась ожесточенная битва.

— И при этом всего тридцать убитых? Удивительно. И ни одного убитого или раненого солдата?

— Трудно назвать точную цифру. Вы же знаете, что нацисты прячут трупы. А теперь — извините. Мы с большим удовольствием сообщим вам уточненные данные на Уолл-стрите.

— Можно повидать сеньора Омонте?

— Это невозможно. Он очень добр, очень обходителен, но очень устал. Он такой впечатлительный. В другой раз. Очень приятно, до свидания.

Лифт плавно ползет вверх.

— Как мы их, коллега?

— Здорово!

И вот они уже в апартаментах сеньора Омонте. Мягкий, неяркий свет от плафона и дрожащие, прыгающие блики от огня в камине освещают солидную мебель.

Опираясь на слугу, появляется миллионер. На нем — теплые фетровые сапоги, пиджак из толстой шерсти и фланелевые брюки.

Не ответив на приветствие своих советников, он садится к камину.

— Нет, плед не нужен…

Ставит ноги на низкую скамеечку.

— Что там?.. Опять морока.

— Они вели себя по-джентльменски…

— Кто они?

— Правители Боливии. Обещали дать примерный урок и выполнили обещание.

— Посмотрим, сколько они за это запросят… Каждый хочет стать президентом, ха-ха… (Кашляет.) Плохо они сработали. Очень много убитых.

— По официальным данным — только девятнадцать.

— А эта кретинка… Итак, пятьсот тысяч долларов за право по-прежнему ставить на визитных карточках мою фамилию… Не дурно. Это мысль! Что вы там бормочете? Шепчетесь?

Омонте ворочает челюстями, шамкает, будто что-то жует, и неотрывно. смотрит на пламя.

— Никак нет, сеньор.

— Это мысль… Полмиллиона долларов. Король Альфонс всегда меня высоко ценил. Но это ничто-

жество, она-то что обо мне думает? Все липнут ко мне, норовят ограбить. А тут еще газетчики… Все шпионят за мной. Вы тоже, наверное.

— Помилуйте, сеньор, сами заинтересованные лица все выбалтывают газетам.

— Я трачу деньги… Итак, девятнадцать долларов за девятнадцать убитых? Нет! Полмиллиона да полмиллиона — целый миллион! Моему сыну это никогда ничего не стоило… Пошли вон отсюда!

— Не убивайтесь так, сеньор, успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте.

— Я в порядке. Я еще могу любому вправить мозги.

Советники и слуга переглядываются. Поправляют плед. Омонте успокаивается. «Может быть, начать теперь?» — «Да, теперь».

— Сеньор, есть одно дело, не терпящее отлагательства, необходимо ваше распоряжение, — говорит адвокат.

Усталыми слезящимися глазами Омонте смотрит на своего мучителя.

— Сеньор… Сеньорита Жоржетта тоже требует…

— Кто?

— Сеньорита Жоржетта… Нам нужны некото-

рые данные, чтобы оградить вас… Другого выхода нет…

— Что значит, нет другого выхода? Что она хочет?

— Ежемесячно тысячу долларов.

— Пятьсот тысяч, тысячу раз тысяча… Кажется, она приходила… тогда… приходила… Никаких записок не было, да — не было… Я ей подарил, вы купили, пальто… Это вы?

— Нет, это не я, сеньор.

— Значит, вы… Ах, да — вы…

Советники переглядываются.

— Будем судиться! Судиться!.. Опротестуйте иск. Я никому ничего не должен. Я не позволю себя грабить. Никому!.. Ничего!..

Его душит кашель. Все трое стоят и смотрят. Один играет связкой ключей в кармане, другой перебирает пальцами, заложив руки за спину. Слуга стоит навытяжку, стараясь подавить зевоту.

Вдруг Омонте движением ноги отбрасывает плед, наклоняется вперед и хрипло кричит:

— Вон, вон отсюда, бездельники! Не хочу никого видеть!

Они бесшумно пятятся по мягкому ковру, кланяются, не сводя глаз с лица старика, на котором

играют отблески языков пламени, и оставляют его одного.

Невозможно, нет, просто невозможно побыть одному. Всюду его подстерегали фотокамеры, а штурмовики-газетчики нацеливали на него свои отточенные карандаши. Стоило ему где-нибудь появиться, как его сразу окружали какие-то праздные рожи: на переднем плане — белые, странно размытые, на заднем — краснокожие. Белые уроды напяливали на голову пестро размалеванные дьявольские маски и бешено плясали вокруг него, а индейцы колотили в барабан упрямо и монотонно, и это напоминало ему тягостные споры с правительством о налогах или о зарплате. Разве он не прорычал им: «Ничего не хочу знать! Вон, бездельники!»

Хотя он их и прогнал, бездельники должны были возвратиться, чтобы прислуживать ему. Впрочем, они не могли уберечь его от огорчений, оградить от докучливой шумихи. Будучи олицетворением всемирной оловянной компании, сеньор Омонте не мог не вызывать шума и тарарама, словно он волочил за собой целую связку пустых консервных банок, которые гремели при малейшем его движении.

Например, шум поднялся тогда, когда Милагрос,

помирившись с Арнольдо за полмиллиона долларов, задумала округлить сумму до миллиона и пошла на прямой грабеж, называемый компенсацией за неверность. Адюльтер был совершен втайне, по вся пресса Соединенных Штатов обсуждала его в мельчайших подробностях.

Милагрос была еще хороша собой, носила дорогие меха, нейлоновые чулки и такие драгоценности, что адвокаты знаменитой нью-йоркской конторы на углу Тридцать четвертой улицы готовы были пойти на большие издержки, понимая, что они выгодно помещают свой капитал. Они оплатили частных детективов и сутенеров, специалистов по таким делам. Сутенерам удалось подкупить слуг, грумов и подставную лошадку, брюнетку-манекенщицу, с которой Арнольдо должен был быть накрыт за прелюбодеянием.

В один прекрасный момент вспышки магния осветили спальню отеля и высветили полуголого дона Арнольдо в недвусмысленной позе и валящуюся навзничь манекенщицу с обнаженной грудью.

Своей элегантностью и самоуверенностью Милагрос затмила братца Фелипе, и ее фотографии — сидя и стоя — публиковались теперь в газетах миллионными тиражами.

Репортеры, беря интервью, не спускали глаз с ее ножек, и все репортажи свидетельствовали против сына миллионера.

— Да, он очень безобразен, и тем не менее именно он оставил меня.

— Подумайте, какое вероломство со стороны этого хама!

— Справедливость требует, чтобы он заплатил мне за причиненное огорчение…

— Разумеется! Позвольте сделать снимок, мадам. Вот так… юбку чуть повыше. Публика любит читать, когда видит хорошенькие ножки.

Урод Арнольдо, будучи боливийским послом в Италии, попытался было укрыться под сенью закона о дипломатической неприкосновенности. «Дипломат в Риме с постоянным местопребыванием в Палм-Бич!» — вопили газетчики и адвокаты. Суд высшей инстанции Манхеттена приговорил его к уплате пятисот тысяч долларов плюс судебные издержки.

Сеньору Омонте хотелось прожить жизнь свободным от нужды и свободным от страха, но едва он делал шаг, как раздавался сигнал тревоги, предупреждающий о новом вымогательстве. У него до сих пор шумело в голове от скандала, учиненного Жоржеттой. Покинутая восьмиде-

сятилетним кавалером, она чувствовала себя оскорбленной и требовала компенсации. Еще один лакомый кусок мяса для газетчиков! И это в то время, когда выдача мяса строго лимитирована. А тут еще семейные дела: его зять граф Стефаничи Мюрат, хрупкий и хилый, как все аристократы, от легкого толчка в машине вывихнул позвонки.

И хотя советники ходили на цыпочках, устанавливая глушители на все общественные выхлопные трубы, они не могли скрыть от магната, что рабочие его рудников, проголодав трое суток, выступили против локаута лавочников, требуя возобновить продажу продуктов, но были встречены пулеметными очередями и пушечными выстрелами, эхо которых докатилось до Вашингтона, подорвав доверие к тем демократическим лозунгам, которыми компания и правители Боливии пытались прикрыть свои темные делишки.

А позже пришло и это: «Восстание в Боливии!» Все газеты Соединенных Штатов сообщали о нем на первых страницах. И сеньора Омонте снова охватило крайнее раздражение, когда его информировали о том, что новое правительство не склонно издавать декреты под диктовку горнорудных компаний.

Массы поднимались на борьбу, и никто уже не мог спать спокойно — ни Омонте, ни «другие». Утомленные изнурительной бессонницей, они то и дело прислушивались: не прекратился ли шум машин, — ведь они должны работать круглосуточно! — и каждую минуту своего существования тратили на то, чтобы каждая минута жизни пролетария, черной магией капитализма превращенного в робота, тратилась на них.

XVIII

В этот год умер в Потоси тот старик богач… Несчастный умер ужасно. На следующую ночь он явился исповеднику и сказал ему, что обречен на вечные муки в аду.

Теперь мы снова вместе, Сенон Омонте. Я не видел тебя с тех пор, как встретился с тобой, мальчуганом-метисом, в каньоне Карасы. Ты стрелял тогда из рогатки в птиц и гонялся за местными девчонками.

С тех пор прошло шестьдесят лет. И вот я снова вижу тебя: ты дремлешь, сидя у камина, твоя жирная туша, кажется, заполонила всю квартиру на Парк-авеню, украшенную дорогими персидскими коврами; тебя все уважают и все боятся; ты превратился в легенду. Как ты изменился, кум! Но больше ты не изменишься, ибо время ничего не сможет сделать с твоим обликом, он уже отчеканен и таким будет фигурировать среди других магнатов капитализма в мрачной галерее, ведущей прямо в ад. Твое изображение из олова будет согреваться только адским огнем…

. . . . . .

Лицо Омонте — словно на него упал слабеющий луч света после вспышки магния — отпечаталось крупным планом на киноленте времени сетью морщин и складок; между верхней губой и носом, между скулами и провалами глазниц легли густые тени и дугами протянулись до височных костей, выступающих как два рога на опушенном сединой черепе. Ни дать ни взять — дьявольская маска в карнавальном шествии шахтерского города Оруро. Снимки ее не раз печатали газеты.

Да, газеты… На каждом шагу — газеты, и там его безобразный портрет. О чем они болтают? О расстреле рабочих? О восстании? Они шпионят за ним. И за его сыном. Угораздило же этого несчастного жениться на женщине, которая вовсе не герцогиня. И теперь — гони полмиллиона долларов! Она забирает их. Но не у этого дурака, который дал себя обольстить, а у него, его кровные денежки, из его кармана. «Я не позволю себя грабить. Никому не удавалось меня ограбить… Никогда. Где мои адвокаты? Где эти лакеи? Пусть войдут!»

. . . . . .

Кажется, они были и ушли. Да, ушли. Один из них, покидая комнату, едва не опрокинул фарфоровую Афродиту. Но она осталась невредима.

Купается в отсветах пламени; светлые блики играют на ее теле; она движется. Точно так же двигалась обнаженная Жоржетта, разрисованная полосками лучей, проникавших сквозь жалюзи.

. . . . . .

Одиннадцать вечера. Никто не смеет войти к нему. Все замерло в почтительном ожидании. Из глубин сознания, словно летучие мыши, выпархивают какие-то голоса, темные пятна заволакивают мозг, кружатся и, разрываясь, сменяются другими. Но что это за дыра? Кажется, это устье шахты, куда скрывается женщина, ведя за руку самоубийцу. А это кто? Неужели его больной сын? Проснись, Омонте! Тебе следует уплатить казначейству Соединенных Штатов налог на ренту в долларах. Да, именно в долларах. А раньше были фунты. Но теперь состояние измеряется в долларах. Они хранятся в пещерах из бетона и стали, в банках. Из земли пришло богатство и в землю уходит, в подвалы банков. Там оно в безопасности: надежно укрыто от тяжб, войн, революций. «Никто никогда его не отнимет у меня. Никогда!» Но хватит копить, кум, хватит тратить на графов, на лошадей, на шантажистов.

. . . . . .

Двенадцать часов ночи. Черное негритянское

небо осыпается белыми печальными хлопьями. Они медленно кружатся в нью-йоркском воздухе, заточенном в узкие щели-улицы из прокопченного бетона и железа. Но разве он может перестать накапливать богатства? Разве он не был пленен на всю жизнь этим многоруким чудовищем, которое выползло из штольни, некогда открытой Тахуарой, швырнуло в него пригоршни высокопробного олова, схватило за уши и ввергло в вечный долларовый ураган?

. . . . . .

Кажется, что свет на каминном экране погас. Но нет: просто миллионер закрыл глаза. Угли в свинцово-серой золе едва тлеют. На душу его оседают черные хлопья, словно в затухающем камине, где совсем недавно играли язычки пламени и сыпались огненные искры.

Он медленно опрокидывается в вязкую тьму, где нет уже никого из тех, кого он любил. И даже кровь рабочих Боливии не трогает его сердца. Но в золе еще мигают бесчисленные огоньки. Это — безмолвная толпа советников, компаньонов, директоров, управляющих, адвокатов, президентов компаний, банкиров, журналистов — все незнакомые лица, они яростно жестикулируют и волокут его оловянную душу по холодным,

выложенным изразцами туннелям, чтобы отдать дьяволу. В голове и в душе старого короля оловянной державы так сумрачно и тяжело, будто миллионы тонн металла, добытого из его боливийских рудников, давят на него своей тяжестью.

Здесь кончается повесть о жизни Сенона Омонте. Теперь очередь за дьяволом: пусть он явится и заберет его душу.



INFO

Сеспедес Аугусто.
С-33 Металл дьявола. Роман. Пер. с исп. Р. Линцер и Г. Степанова. Предисл. С. Мамонтова. Худ. Т. Кафьян. М., «Худож. лит.», 1974.
272 с. (Зарубежный роман XX века)

И(Латин)
С 70304-037/028(01)-74*193-74

Аугусто Сеспедес
МЕТАЛЛ ДЬЯВОЛА

Редактор С. *Шмидт*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор Г. *Лисенкова*
Корректоры *Л. Фильцер* и *Г, Цветкова*

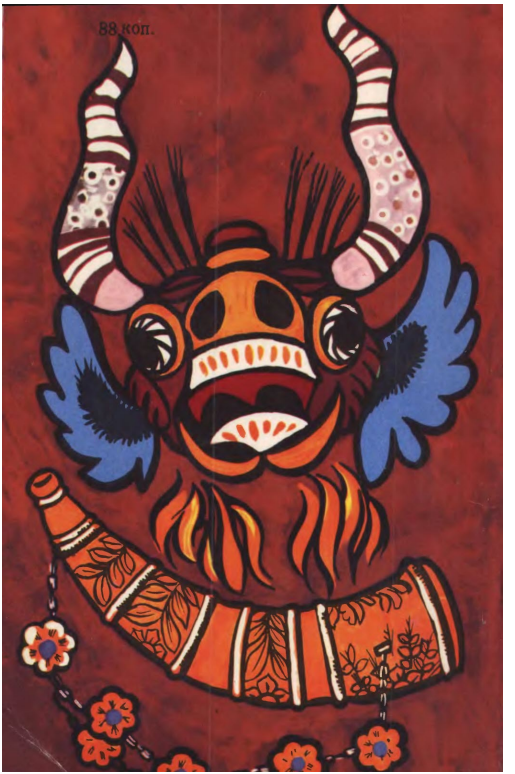
Сдано в набор 25/VII 1973 г. Подписано в печать 14/1 1974 г. Бумага типогр. № 3. 84x108 1/32. 8.5 печ. л. 14,28 усл. печ. л. 14,91 уч. изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 339. Цена 88 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат имени Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Минск, Красная, 23.

……

FB2 — mefysto, 2023


88 коп.